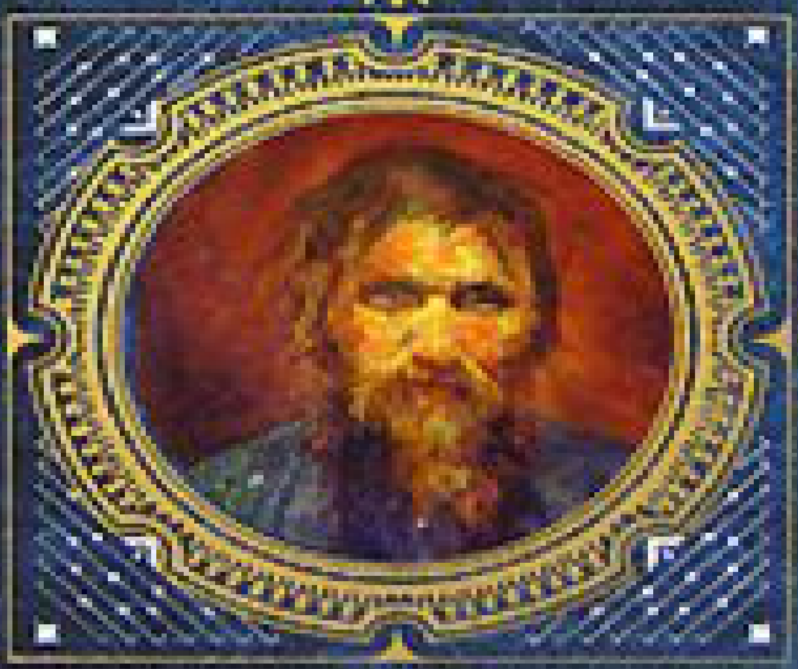
ФЕЛИКС ЮСУПОВ

Конец Распутина



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон младший (1887—1967) – родовитый аристократ, семейство которого владело колоссальнейшим состоянием. Он учился в Пажеском корпусе и в Оксфорде, женился на племяннице Николая II. Одно про него знают все – он убил Распутина. После большевистской революции князь счастливо избежал смерти и почти полвека провел в изгнании.

«Мемуары» напрочь лишены авторского тщеславия: князь Юсупов рассказывает о себе и о других с простотой и величием настоящего аристократа, которому не надо ни отчитываться, ни оправдываться. Ни в чем... У него цепкая память и живой ум, легкий слог и острый взгляд, причуды и странности, глубина и легковесность, юмор и обаяние, блеск и нищета. А за автопортретом без поблажек и комплексов проглядывает история и является Россия – пышная и порочная, безумная и достойная, парадоксальная и подлинная...

- Феликс Юсупов
  - Моим читателям
  - Книга первая
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
    - Глава 15
    - Глава 16
    - Глава 17
    - Глава 18
    - Глава 19
    - Глава 20
    - Глава 21

- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27

- Книга вторая
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19

Феликс Юсупов
Мемуары

Моим читателям

Это история старорусского семейства в типичной для него обстановке восточной дикости и роскоши. Начинается она у татар в Золотой орде, продолжается в императорском дворе в Санкт-Петербурге и оканчивается в изгнании.

В революцию наши архивы пропали, сохранились лишь дедовские записи от 1886 года. Это единственный документ, которым пользовался я, рассказывая о семейных истоках.

О своей собственной жизни говорю искренне, повествую о грустных и радостных днях, ни о чем не умалчивая.

О политике я предпочел бы не говорить, но жил я во времена беспокойные и, хоть и рассказывал уже о драматических событиях, в которых оказался замешан («Конец Распутина»), не могу и здесь обойти молчанием собственную роль в них.

Первая часть мемуаров рисует беззаботную жизнь, какой жили мы до войны 14-го и революции 17-го гг., вторая говорит о наших мытарствах в изгнании.

Пропасть разделяет оба периода. Глубочайшая вера понадобилась нам, чтобы не усомниться в справедливости Господа. Именно эта вера и помогла нам вынести испытания и не утратить надежды.

Книга первая
До изгнания (1887–1919)

Глава 1

Мои татарские предки – Хан Юсуф – Сумбека – Первые князья Юсуповы

Основателем нашей семьи назван в семейных архивах некто Абубекир Бен Райок, потомок пророка Али, племянника Магомета. Титулы нашего предка, мусульманского владыки – Эмир эль Омра, Князь Князей, Султан Султанов и Великий Хан. В его руках была вся политическая и религиозная власть.

Его потомки также правили в Египте, Дамаске, Антиохии и Константинополе. Иные покоятся в Мекке, близ знаменитого камня Каабы.

Один из них, именем Термес, ушел из Аравии к Азовскому и Каспийским морям. Захватил он обширные территории от Дона до Урала, где образовалась впоследствии Ногайская орда.

В XIV веке потомок Термеса Эдигей Мангит, слывший великим стратегом, ходил в походы с Тамерланом, основателем второй татаро-монгольской империи, бил хана-изменника Кыпчака, а потом ушел на юг к Черному морю, где основал Крымскую орду, иначе Крымское ханство. Умер он в глубокой старости, после его смерти наследники переругались и перерезали друг друга.

В конце XV века его правнук Муса-Мурза, владыка мощной Ногайской орды и союзник Великого князя Ивана III, захватил и разрушил Кыпчаково ханство, мятежную часть Золотой орды. Сменил Мусу его старший сын Шиг-Шамай, но скоро сам был сменен братом Юсуфом.

Хан Юсуф – один из самых сильных и умных правителей того времени. Иван Грозный, чьим союзником он был двадцать лет, почитал Ногайскую орду государством, а его самого – государем. Оба обменивались дарами, дарили друг другу седла, доспехи в алмазах и яхонтах, собольи и горностаевые шубы, шатры, шитые из дорогого шелка. Царь звал Юсуфа своим «другом и братом», а тот писал царю: «Имеющий тысячу друзей единого друга имеет, имеющий единого врага тысячу врагов имеет».

У Юсуфа было восемь сыновей и дочь Сумбека, казанская царица, которая славилась умом, красотой, была страстна и отважна. Казань переходила из рук в руки. Сумбека жаждала власти и брала в мужья очередного победителя. В 14 лет она вышла за Еналея. Еналея убил сын крымского хана Сафа-Гирей. Сафа-Гирея убил родной брат и в свою очередь стал казанским царем и мужем Сумбеки, но скоро был изгнан и бежал в Москву.

Несколько лет Сумбека царила одна, затем пошли распри у Ивана с Юсуфом. Русские осадили Казань. Превосходство их было бесспорно. Казанское царство пало, Сумбека сдалась. В честь взятия Казани в Москве был воздвигнут храм Василия Блаженного с восемью куполами в память о восьми днях осады.

Царь Иван был восхищен мужеством Сумбеки и оказал ей великие почести. На богато убранных судах велел доставить ее и сына ее в Москву, поселил в Кремле.

Не один Иван пленился пленницей. И бояр, и простой народ покорила прославленная царица.

А Юсуф тосковал по дочери и внуку и требовал их освобождения. Иван его угрозы не слушал, на письма не отвечал, а близким говорил: «Всемогущий хан серчает». Оскорбленный Юсуф готовился к войне, но был убит братом Измаилом.

А Сумбека в плену все еще жаждала власти. Уговаривала Ивана, чтоб позволил ей развестись с беглецом-мужем, жившим в Москве, и выйти за нового казанского царя. Позволения не получила. Так и умерла в плену в возрасте тридцати семи лет. А память о ней осталась. В XVIII и XIX веках Сумбека вдохновляла музыкантов и художников. Балет Глинки «Сумбека и взятие Казани» с Истоминой в главной партии в 1832 году в Петербурге имел огромный успех.

После смерти Юсуфа потомки его ссорились вплоть до конца XVII века. Юсуфов правнук Абдул Мирза был крещен, наречен Дмитрием и получил от царя Федора Иоанновича титул князя Юсупова. Новоиспеченный князь, известный своей отвагой, ходил с царем воевать Крым и Польшу. Походы завершились успешно, и Россия получила все, что потеряла ранее.

Тем не менее князь Дмитрий попал в немилость и был лишен половины имущества за то, что в постный день попотчевал московского митрополита гусем под видом рыбы.

Правнук Дмитрия, князь Николай Борисович, рассказывает, как однажды, ужиная в Зимнем дворце у императрицы Екатерины II, на вопрос ее, умеет ли он разрезать гуся, отвечал: «Мне ли того не уметь, заплативши столь дорого!» Императрица пожелала узнать историю и, узнав, очень смеялась. «Прадед ваш получил по заслугам, – сказала она, – а остатка имения на гусей вам хватит, еще и меня с семейством прокормите».

Сын же Дмитрия, Григорий Дмитриевич, был ближайшим советником Петра, строил флот, воевал, проводил реформы. За ум и великие способности государь ценил его и пользовал дружбой.

Сын Григория, князь Борис, продолжил отцовское дело. В двадцать лет был послан во Францию учиться у французов

морскому делу, по возвращении стал, подобно отцу, близким советником Петра и участвовал в реформах.

При Анне Иоанновне князь Борис был московским губернатором, а при Елизавете Петровне – начальником кадетского корпуса. Молодежь любила его, почитая и другом, и учителем. Из самых одаренных он набрал любительскую актерскую труппу. Играли классику и пьесы собственного сочинения. Один из них оказался особо талантлив. Это был будущий поэт Сумароков, предок мой по отцовской линии.

Елизавета, услыхав о труппе – новшестве во времена, когда в России русского театра не было и в помине, – пожелала видеть ее у себя во дворце. Государыня была ею столь очарована, что сама занялась костюмами для актеров. Выдавала платья и украшения игравшим травести.

По ходатайству того же князя Бориса Григорьевича в 1756 году подписала императрица и указ о первом публичном театре Санкт-Петербурга.

Искусство, однако, не мешало службе: князь занялся хозяйственными вопросами и разработал систему речного судоходства, в частности установил сообщение между Ладожским озером, Окой и Волгой.

У князя Бориса было четверо дочерей (одна из них вышла за герцога Курляндского, Петра, сына небезызвестного Бирона) и двое сыновей: старший, Николай Борисович – мой прапрадед. Он достоин отдельной главы.

Глава 2

Князь Николай Борисович – Поездки за границу – Женитьба – Архангельское – Князь Борис Николаевич

Князь Николай – лицо в нашем семействе из самых замечательных. Умница, яркая личность, эрудит, полиглот, путешественник, он водил знакомство со многими знаменитыми современниками, покровительствовал наукам и искусствам, был советчиком и другом императрицы Екатерины II и ее преемников императоров Павла, Александра и Николая I.

Семи лет он был записан в лейб-гвардейский полк, в шестнадцать стал офицером и со временем достиг высших государственных званий и регалий вплоть до алмазных эполет – принадлежности царских особ. В 1798 году получил звание командора орденов Мальтийского и Св. Иоанна Иерусалимского. Поговаривали даже о совсем особых императрицыных милостях.

Г-жа Янкова в своих «Воспоминаниях бабки» так пишет о нем:

> «Князь Юсупов – большой московский барин и последний екатерининский вельможа. Государыня очень его почитала. Говорят, в спальне у себя он повесил картину, где она и он писаны в виде Венеры и Аполлона. Павел после матушкиной смерти велел ему картину уничтожить. Сомневаюсь, однако, что князь послушался. А что до князевой ветрености, так причиной тому его восточная горячность и любовная комплекция. В архангельской усадьбе князя – портреты любовниц его, картин более трехсот. Женился он на племяннице государынина любимца Потемкина, но нравом был ветрен и оттого в супружестве не слишком счастлив...
>
> Князь Николай был пригож и приятен и за простоту любим и двором, и простым людом. В Архангельском задавал он пиры, и последнее празднество по случаю коронования Николая превзошло все и совершенно поразило иностранных принцев и посланников. Богатств своих князь и сам не знал. Любил и собирал прекрасное. Коллекции его в России, полагаю, нет равных. Последние годы, наскуча миром, доживал он взаперти в своем московском доме. Когда бы не распутный нрав, сильно повредивший ему во мнении общества, он мог быть сочтен идеалом мужчины».

Немало лет князь Николай Борисович провел за границей. Свел он там знакомство со многими людьми искусства и был в переписке с ними, даже и воротясь в Россию. В Европе покупал он предметы искусства и для Эрмитажа, и для личного своего музея. От папы Пия VI он добился разрешения изготовить в Ватикане копии рафаэлевских фресок. Выполнили заказ мастера Маццани и Росси. С открытием Эрмитажа копии поместили в особый зал, с тех пор именуемый Рафаэлевой лоджией.

Находясь в Париже, князь Николай был нередко зван на вечера в Трианон и Версаль. Людовик XVI и Мария Антуанетта были с ним в дружбе. От них получил он в дар сервиз из черного севрского фарфора в цветочек, шедевр королевских мастерских, поначалу заказанный для наследника.

Что сталось с сервизом, никто в семье не знал, но в 1912 году посетили меня два француза-искусствоведа, изучавших севрский фарфор. Пришлось мне заняться розысками прадедовского сервиза. Нашел я его в чулане. Более века пылился там подарок Людовика XVI.

Князь Николай мог похвалиться дружбой и с прусским королем Фридрихом Великим, и с австрийским императором Иосифом II. Беседовал с Вольтером, Дидро, Д'Аламбером и Бомарше. Этот последний посвятил ему оду. Что до фернейца, тот написал Екатерине, познакомившись с князем, что совершенно очарован его умом, сколь глубоким, столь и блистательным.

«Сударь, – отвечала императрица, – сколь вы очарованы сею особой, столь и особа сия очарована вами».

Передала Екатерина и князю отзыв о нем «фернейского безумца».

В 1774 году князь был в Петербурге на бракосочетании сестры Евдокии с герцогом Курляндским Петром. Венчались в Зимнем дворце в присутствии государыни. Екатерина надеялась, что союз их пойдет на благо курляндскому герцогству, что милая, кроткая Евдокия усмирит свирепого Петра, что он женится – переменится. Не тут-то было. Герцог стал еще свирепей и с женой груб нестерпимо. Государыня, узнав о том, под предлогом свадьбы сына, великого князя Павла, вызвала герцогиню Евдокию к себе. Прожив при государыне два года, Евдокия умерла. В память о ней герцог прислал шурину кресла и стулья из ее спальни – серебрёного дерева, резные, обитые лазоревым шелком. Мебель поставили в Архангельском, в зале с белыми мраморными колоннами и голубыми стенами. Залу назвали Серебряной комнатой.

В 1793 году князь Николай женился на Татьяне Васильевне Энгельгардт, одной из пяти племянниц князя Потемкина.

В младенчестве она уже покоряла всех. Двенадцати лет была взята императрицей и находилась при ней неотлучно. Вскоре завоевала двор и имела множество поклонников.

В то время посетила Санкт-Петербург английская красавица и оригиналка герцогиня Кингстонская, графиня Бристольская. Имелась у нее яхта с дорогими мебелями и обжедарами. На палубе был устроен экзотический сад, на ветвях распевали райские птицы.

В Зимнем герцогиня познакомилась с юной Татьяной и сильно к ней привязалась. Уезжая, она просила государыню отпустить Татьяну в Англию, где думала сделать ее наследницей своего огромного состояния. Государыня пересказала Татьяне просьбу. Татьяна, и сама горячо привязанная к англичанке, не захотела покинуть родину и государыню.

Двадцати четырех лет она вышла за князя Николая Юсупова. Тому было в ту пору более сорока. Поначалу все шло хорошо. Родился сын Борис. В Петербурге, в Москве, в летней усадьбе в Архангельском окружали их поэты, художники, музыканты. Близок к Юсуповым был Пушкин. Князь с княгиней предоставили его родителям квартиру в своем московском доме, где поэт живал в юные годы. Любил он бывать летом в Архангельском, даже и сочинял там. В оде, посвященной хозяину, пишет:

> ...К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
> Где циркуль зодчего, палитра и резец
> Ученой прихоти твоей повиновались
> И вдохновенные в волшебстве состязались.

Княгиня Татьяна оказалась домовита, толкова и хлебосольна, вдобавок обладала деловой сметкой. Хозяйствовала так, что и состояние умножалось, и крестьяне богатели. Была и кротка, и услужлива. «Испытания господни, – говорила она, – научают терпеть и верить».

Княгиня была дельным человеком и думала о красе ногтей. Особенно любила украшения и положила начало коллекции, впоследствии знаменитой. Купила она брильянт «Полярная звезда», брильянты французской короны, драгоценности королевы Неаполитанской и, наконец, знаменитую «Перегрину», жемчужину испанского короля Филиппа II, принадлежавшую, как говорят, самой Клеопатре. А другую, парную к ней, говорят, царица растворила в уксусе, желая на пиру переплюнуть Антония. В память о том князь Николай велел повторить на холсте фрески Тьеполо из венецианского палаццо Лабиа «Пир и смерть Клеопатры». Копии и ныне в Архангельском.

Князь по-своему любил жену и оплачивал всякое новое ее приобретение. Он и сам отличался, одаривая ее. Однажды преподнес ей на именины парковые статуи и вазоны. Другой раз презентовал зверей и птиц для зверинца, им же в усадьбе устроенного. Счастье, однако, длилось недолго. С годами князь стал распутничать и жил у себя как паша в серале. Княгиня, не терпя этого, переселилась в парковый домик «Каприз», ею построенный. Удалилась она от света и посвятила себя воспитанию сына и делам благотворительности. Мужа пережила на десять лет и умерла в 1841 году в возрасте семидесяти двух лет, сохранив до конца знаменитые свои ум и шарм.

Объездив за годы Европу и Ближнюю Азию, князь Николай наконец воротился в Россию и целиком отдался трудам на благо искусства. Занялся устройством Эрмитажа и собственного музея в Архангельском, которое только приобрел. В усадебном парке построил театр, завел труппу актеров, музыкантов и танцовщиков и давал представления, о которых долго помнили москвичи. Архангельское стало художественным центром, куда ездили и свои, и чужие. Наконец, Екатерина поручила ему все императорские театры.

Близ парка поставил князь две фабрики – фарфора и хрусталя. Выписал мастеров, художников, материалы севрской мануфактуры. Все изделия фабрик дарил друзьям и почетным гостям. Вещи с клеймом «Архангельское 1828– 1830» нынче на вес золота. Фабрики были уничтожены пожаром. Сгорели корпуса, и продукция, и даже бесценный севрский сервиз «Баррийская роза», купленный прежде в Париже.

В 1799 году князь вернулся в Италию и несколько лет провел там посланником и в Риме, и на Сицилии, и при дворах Сардинском и Неаполитанском.

Последний раз побывав в Париже в 1804 году, часто видался с Наполеоном. Был вхож в императорскую ложу во всех парижских театрах. А уезжая, получил в дар от императора две гигантские севрские вазы и три гобелена «Охота Мелеагра».

По возвращении князь продолжал устройство архангельского имения. В парке в честь боготворимой государыни воздвиг храм с надписью «Dea Caterina» на фронтоне. Внутри на пьедестале высилась бронзовая статуя императрицы в образе Минервы. Перед статуей стоял треножник, на нем – курильница с пахучими смолами и травами. В глубине на стене прочитывалось итальянское: «Tu cui concede il cielo e dietti il fato voler il giusto e poter cio che vuoi». То есть: «Ты волею неба жаждешь правосудия, ты волею судьбы творишь его».

Когда восточный шах пожелал познакомиться с

Архангельским и его владельцем, князь воздвиг перед храмом стену, чтобы скрыть его от гостя и не допустить неверного в святилище. Говорят, в два дня соорудили князевы холопы это чудо с башенками в азиатском вкусе.

Главным управляющим служил у князя француз некто Дерусси. Барину он подчинялся во всем, но с крестьянами был жесток до крайности. Те ненавидели его и однажды вечером столкнули с крыши, а труп выбросили в реку. Виновников схватили. Им дали по пятнадцать ударов кнутом. Потом им вырвали ноздри и выжгли на лбу клеймо «убивец». После всего заковали и сослали в Сибирь.

Уход за парком требовал немалых усилий. Князь Николай, желая превратить Архангельское в райский сад, всякое землепашество запретил. Зерно для крестьян покупал у соседей, так что все князевы люди были заняты на работах в садах.

Парк был разбит на французский манер. Три террасы с мраморными статуями и вазами спускались к реке. Грабы окаймляли зеленый ковер посередке. Всюду – рощицы и фонтаны. У воды – четыре домика, вкруг каждого – двухсотметровая оранжерея. В Зимнем саду – мраморные скамьи, мраморные фонтаны меж апельсиновых деревьев и пальм. Тропические цветы и птицы говорят о вечном лете, а в окнах – в парке всё в снегу.

В зоологическом саду – редкостные животные, выписанные князем из-за границы. Государыня Екатерина подарила ему целое семейство тибетских верблюдов. Когда везли их из Царского в Архангельское, особый курьер ежедневно сообщал князю о состоянии их здоровья.

Как рассказывают, ровно в полдень из сада к барскому дому всякий день вылетал орел, а прудовые рыбки в жабрах имели по золотой серьге.

В 1812 году князь, бросив усадьбу, сидел в Турашкине, куда отступили гонимые французом войска. Долгое время известий о своем добре не имел. По окончании войны он вернулся в Москву. Оказалось, что московский дом цел и невредим, а Архангельское в состоянии плачевном. Статуи разбиты, деревья поломаны. Увидав, что боги с богинями безносы, князь воскликнул: «Свиньи-французы заразили сифилисом весь мой Олимп!» В доме ставни и двери были сорваны, вещи перебиты и валялись на полу вперемешку. Гибель всего того, что так любовно он собирал, потрясла князя, даже заболел он от горя.

В Архангельском князь вел жизнь праздную. Охота, балы, театральные представления сменяли друг друга. Колоссальное состояние позволяло любую прихоть, и тут он тратил без оглядки. Зато в быту был странно скуп, а скупой платит дважды. Экономя

на дровах, он велел топить опилками. В один прекрасный день вспыхнул пожар. Дом загорелся и выгорел изнутри целиком.

Один из московских его приятелей писал в письме: «А на Москве такие вести: дворец в Архангельском сгорел по милости старого князя. Сей из скупости приказал топить опилками вместо дров. А это верный пожар. Погибла вся библиотека и живописи немало. Спасая от огня картины с книгами, кидали их прямо из окон. Знаменитой скульптуре Кановы „Амур и Психея“ отбили руки и ноги. Бедняга Юсупов! И почто скупердяйничал? Мое мнение: не простит ему Архангельское разора напрасного, а еще и позора, то бишь гарема шлюх и танцорок...».

Вся Москва обсуждала скандальную жизнь старика князя. Давно живя раздельно с женой, он держал при себе любовниц во множестве, актерок и пейзанок. Театрал-завсегдатай Архангельского рассказывал, что во время балета стоило старику махнуть тростью, танцорки тотчас заголялись. Прима была его фавориткой, осыпал он ее царскими подарками. Самой сильной страстью его была француженка, красотка, но горькая пьяница. Она, когда напивалась, бывала ужасна. Лезла драться, била посуду и топтала книги. Бедный князь жил в постоянном страхе. Только пообещав подарок, удавалось ему угомонить буянку. Самой последней его пассии было восемнадцать, ему – восемьдесят!

Князевы путешествия были целой историей. Когда ехал, непременно брал с собой близких друзей, любовниц, холопов, музыкантов, не говоря уж о любимых псах, обезьянах, попугаях и части библиотеки. Сборы длились неделями, для князя и свиты наряжалось не менее десяти повозок, с шестеркой лошадей каждая. Так прибывал он из Москвы в летнюю усадьбу, и пушечная пальба встречала и провожала его.

Умер он в 1831 году в возрасте восьмидесяти лет и был похоронен в своем подмосковном имении Спасское. Незадолго до смерти он подарил Санкт-Петербургу один из своих петербургских домов. Это был роскошный особняк с парком. В парке росли вековые деревья, в пруду отражались статуи и вазы из дорогого мрамора. Особняк отдали сановнику, а парк превратили в общественный сад, и зимой к пруду сходились любители пофигурять на коньках.

Даже коротко рассказав о князе, нельзя не описать его любимую усадьбу. «Архангельское, – повторял он, – не для наживы, а для растрат и услад».

Повидал я немало дворцов и особняков, видел и пышней, и

роскошней. Но гармоничнее – никогда. Нигде искусство не сочеталось так счастливо с природою. Собственно архитектор нам неизвестен. Поначалу поместье принадлежало князю Голицыну, он и затеял постройку дворца. Потом, разорясь, продал землю князю Юсупову, тот продолжил строительство, внеся изменения. Первые чертежи подписал французский архитектор Герн, однако в России он не бывал, и работу за него, надо думать, закончили русские.

Правда, очень вероятно, что, купив Архангельское, князь Николай самолично руководил работами, взяв в советчики итальянца Пьетро Гонзаго, архитектора и театрального декоратора, тогдашнюю знаменитость. В Петербурге сей часто бывал у князя, делал декорации для Князева театра. Видимо, под конец помог в устройстве и отделке архангельского дворца.

Тому, кто желает представить себе сей шедевр, дам описание. Опишу, как застал.

Прямая аллея вела сквозь сосны и выходила к круглой площадке с колоннадой. Бельэтаж – колоссальные залы с колоннами, потолочной росписью, мраморными скульптурами, картинами знаменитых мэтров. Два зала посвящены особо – Тьеполо и Юберу Роберу. Но выглядят залы уютно, почитай интимно, благодаря старинной мебели и цветам в кадках. Срединная зала для торжеств – круглая, выходит в парк, открывая изумленному гостю террасы и в окаймлении статуй зеленый ковер вплоть до синеватой лесной дымки на горизонте.

В левом крыле на первом этаже были столовая и родительские комнаты, на втором – наши с братом плюс комнаты для гостей. В правом крыле залы для приемов и библиотека в 35 тысяч томов, из них 500 «эльзевиров» и Библия 1462 года издания, ровесница книгопечатания. Все книги имели первичный переплет и экслибрис «Ex biblioteca Arkhangelina».

В детстве я боялся подойти к библиотеке, потому что в ней сидела за столом заводная кукла в костюме и с лицом Жан Жака Руссо. Заведешь – движется.

Во флигеле помещалось собрание старинных экипажей. Особенно помню карету резного дерева с позолотой, с боками, расписанными Буше, и пурпурными бархатными диванами. Под одной из подушек был стульчак. Князь Николай заказал его себе, когда, больной, отправился на коронацию Павла I.

В 1912 году я устраивал в жилых комнатах современные удобства и некоторое время жил тут же. Потому стал разбираться в кладовых и чуланах и открыл сокровища. На чердаке в театре нашел пыльный рулон холста – это были декорации Пьетро Гонзаго. Я развернул их и вывесил на сцене – так они смотрелись

лучше.

Тогда же нашел ящики с фафором и хрусталем архангельских фабрик. Посуду я отвез в Петербург и украсил ею шкафы в столовой.

После смерти князя Николая Архангельское наследовал его сын Борис. На отца он нисколько не походил, характер имел совсем иной. Независимостью, прямотой и простотой нажил более врагов, чем друзей. В выборе последних искал не богатство и положение, а доброту и честность.

Однажды ожидал он у себя царя с царицей. Церемониймейстер вычеркнул было кое-кого из списка гостей, но встретил решительный отпор князя: «Коли оказана мне честь принять государей моих, она оказана и всем близким моим».

Во время голода 1854 года князь на собственные средства кормил своих крестьян. Те души в нем не чаяли.

Унаследовав громадное состояние, дела он вел как мог. По правде, отец его долгое время колебался, оставить ли Архангельское сыну либо завещать казне. Видно, чувствовал, что князь Борис все переменит в нем. И действительно, после смерти старого князя, при молодом, имение стало не для «растрат и услад», а для прибыли. Почти все картины и скульптуры перевезли в Петербург. Зверинец продали, театр разогнали. Император Николай вмешался было, но поздно: что случилось, то случилось.

По смерти Бориса наследовала ему вдова его. Женат он был на Зинаиде Ивановне Нарышкиной – впоследствии графиня де Шово. Единственный их сын – князь Николай, мой дед, отец моей матери.

Глава 3

Мое рожденье – Матушкино разочарование – Берлинский зоологический сад – Моя прабабка – Дед с бабкой – Родители – Брат Николай

Родился я 24 марта 1887 года в нашем петербургском доме на Мойке. Накануне, уверяли меня, матушка ночь напролет танцевала на балу в Зимнем, значит, говорили, дитя будет весело и склонно к танцам. И впрямь по натуре я весельчак, но танцор скверный.

При крещении получил я имя Феликс. Крестили меня дед по матери князь Николай Юсупов и прабабка, графиня де Шово. На крестинах в домашней церкви поп чуть не утопил меня в купели, куда окунал три раза по православному обычаю. Говорят, я насилу очухался.

Родился я таким хилым, что врачи дали мне сроку жизни – сутки, и таким уродливым, что пятилетний братец мой Николай закричал, увидев меня: «Выкиньте его в окно!».

Я родился четвертым мальчиком. Двое умерло во младенчестве. Нося меня, матушка ожидала дочь, и детское приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, даже, напротив, гордился. «Смотрите, – кричал я прохожим на улице, – какой я красивый!» Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер.

Из самых ранних детских воспоминаний – поход в берлинский зоосад, когда оказался я в Берлине с родителями.

На мне была матроска, купленная накануне, на макушке шикарная бескозырка с лентами, в руке – тросточка. Вела меня няня, очень моим видом довольная.

У входа в зоопарк стояли страусы с экипажиками. Я захотел прокатиться, няня согласилась. Страус пошел хорошо, но вдруг без видимой причины взволновался и бешено погнал по дорожкам. Я сидел ни жив ни мертв в легкой колясочке. Страус остановился только у своей клетки. Служители и перепуганная няня добежали и вытащили меня. Я обезумел от страха и потерял бескозырку. Чтобы успокоить и утешить меня, няня повела меня ко львам. Эти сидели к нам спиной. Я пощекотал одного тросточкой, чтоб оглянулся. Ноль внимания и фунт презрения, даром я был хорош в новом костюмчике...

Учась в Оксфорде, я, проездом в Берлине, интереса ради зашел в зоопарк. Огромная обезьяна-самка Мисси, которую я

угостил арахисом, вдруг воспылала ко мне такой дружбой, что сторож пригласил меня войти с ним в клетку. Я вошел неохотно. Мисси, однако, безумно обрадовалась, обняла меня длинными руками и крепко прижала к мохнатой груди. Мне это было неприятно, и я хотел уйти. Но, едва я отошел, обезьяна пронзительно закричала, и сторож попросил меня погулять с ней. Я предложил руку новой подруге и пошел с ней по дорожкам зоопарка. Прохожие хохотали и фотографировали нас.

Потом, всякий раз бывая в Берлине, я навещал приятельницу. Однажды клетка оказалась пуста. «Мисси умерла», – со слезами сказал служитель. Горе его было трогательно. Больше в берлинском зоопарке я не бывал.

В детстве посчастливилось мне знать прабабку мою, Зинаиду Ивановну Нарышкину, вторым браком графиню де Шово. Она умерла, когда было мне десять лет, но помню я ее очень ясно.

Прабабка моя была писаная красавица, жила весело и имела не одно приключение. Пережила она бурный роман с молодым революционером и поехала за ним, когда того посадили в Свеаборгскую крепость в Финляндии. Купила дом на горе напротив крепости, чтобы видеть окошко его каземата.

Когда сын ее женился, она отдала молодым дом на Мойке, а сама поселилась на Литейном. Этот новый ее дом был точь-в-точь как прежний, только меньше.

Впоследствии, разбирая прабабкин архив, среди посланий от разных знаменитых современников нашел я письма к ней императора Николая. Характер писем сомнений не оставлял. В одной записке Николай говорит, что дарит ей царскосельский домик «Эрмитаж» и просит прожить в нем лето, чтобы им было где видеться. К записке приколота копия ответа. Княгиня Юсупова благодарит Его Величество, но отказывается принять подарок, ибо привыкла жить у себя дома и вполне достаточна собственным имением! А все ж купила землицы близ дворца и построила домик – в точности государев подарок. И живала там, и принимала царских особ.

Двумя-тремя годами позже, поссорившись с императором, она уехала за границу. Обосновалась в Париже, в купленном ею особняке в районе Булонь-сюр-Сен, на Парк-де-Прэнс. Весь парижский бомонд Второй Империи бывал у нее. Наполеон III увлекся ею и делал авансы, но ответа не получил. На балу в Тюильри представили ей юного француза-офицера, миловидного и бедного, по фамилии Шово. Он ей понравился, и она вышла за него. Купила она ему замок Кериолет в Бретани и титул графа, а себе самой – маркизы де Серр. Граф де Шово вскоре умер,

завещав замок своей любовнице. Графиня в бешенстве выкупила у соперницы замок втридорога и подарила его тамошнему департаменту при условии, что замок будет музеем.

Каждый год мы ездили к прабабушке в Париж. Она жила одна с компаньонкой в своем доме на Парк-де-Прэнс. Поселялись мы во флигеле, соединенном с домом переходом, и в дом ходили по вечерам. Так и вижу прабабку, как на троне, в глубоком кресле, и на спинке кресла над ней три короны: княгини, графини, маркизы. Даром что старуха, оставалась она красавицей и сохраняла царственность манер и осанки. Сидела нарумяненная, надушенная, в рыжем парике и снизке жемчужных бус.

В иных вещах проявляла она странную скупость. К примеру, угощала нас заплесневелыми шоколадными конфетами, какие хранила в бонбоньерке из горного хрусталя с инкрустацией. Я один их и ел. Думаю, потому она и любила меня особенно. Когда тянулся я к шоколадкам, которые никто не хотел, старушка гладила меня по голове и говорила: «Какое чудное дитя».

Умерла она, когда ей было сто лет, в Париже, в 1897 году, оставив моей матери все свои драгоценности, брату моему булонский особняк на Парк-де-Прэнс, а мне – дома в Москве и Санкт-Петербурге.

В 1925 году, живя в Париже в эмиграции, прочел я в газете, что при обыске наших петербургских домов большевики нашли в прабабкиной спальне потайную дверь, а за дверью – мужской скелет в саване... Потом гадал и гадал я о нем. Может, принадлежал он тому юному революционеру, прабабкиному возлюбленному, и она, устроив ему побег, так и прятала его у себя, пока не помер? Помню, когда, очень давно, разбирался я в той спальне в прадедовых бумагах, то было мне очень не по себе, и звал я лакея, чтобы не сидеть в комнате одному.

В прабабкином булонском доме долго никто не жил, потом его сдали, потом продали великому князю Павлу Александровичу, а после его смерти продали еще раз. Заняла его женская школа Дюпанлу, где позже училась моя дочь.

Дед мой по матери, князь Николай Борисович Юсупов, сын графини де Шово от первого брака, был человек замечательный и удивительный.

Блестяще закончив Петербургский университет, он поступил на государственную службу и всю жизнь служил отечеству.

В 1854 году во время Крымской войны на собственные средства он вооружил два артиллерийских батальона.

В войну русско-турецкую подаренный им армии санитарный поезд перевозил раненых из полевых лазаретов в госпитали

Петербурга. Благотворил князь и в гражданской жизни. Основал множество благотворительных фондов, занимался, в частности, институтом для глухонемых. Однако был он человек крайностей. Щедро давал деньги другим и ничего не тратил на себя. Когда путешествовал, останавливался в самых скромных гостиницах, в самых дешевых номерах. Уезжая, он выходил через служебный выход, чтобы не давать чаевых гостиничным лакеям. И, по натуре угрюмый и несдержанный, отпугивал от себя всех. Моя мать до смерти боялась ездить с ним. Дома в Петербурге, экономя на гостях, он запретил жечь свет в части комнат, и вечерами в освещенных гостиных было битком. Вдовствующая императрица, вспоминая дедовы странности, рассказывала, что на столе у него стояла серебряная посуда, но в вазах фрукты натуральные были перемешаны с искусственными. Однако пиры он задавал неслыханной роскоши. На одном из таких пиршеств в 1875 году состоялся исторический разговор между русским императором Александром III и французским генералом Ле Фло.

Бисмарк разозлился на Францию и объявлял во всеуслышание, что «покончит с ней». Перепуганные французы послали Ле Фло в Петербург просить царя уладить дело. Деду поручено было устроить прием, где могли бы переговорить царь с посланником.

В тот вечер в домашнем театре играли французскую пьесу. Было условлено, что после спектакля царь остановится у окна в фойе и француз подойдет к нему.

Когда дед увидал их вместе, он подозвал мою мать и сказал: «Смотри и помни: на твоих глазах решается судьба Франции».

Александр обещал помочь, и Бисмарка предупредили, что, если он не угомонится, в дело вмешается Россия.

Князь до страсти любил искусство и всю жизнь покровительствовал талантам. Обожал музыку и сам прекрасно играл на скрипке. В его коллекции скрипок были «Амати» и «Страдивари». Матушка, решив, что я унаследовал от деда способности к музыке, наняла мне консерваторского преподавателя. Но ни он, ни даже «Страдивари» не помогли. Преподавателя рассчитали, бесценную скрипку убрали в футляр.

Итак, коллекцию князя Николая-старшего продолжал князь Николай-младший, любя, как и дед, все изящное. В шкафах в его рабочем кабинете собраны были табакерки, хрустальные кубки, полные самоцветов, и прочие дорогие безделушки. От бабки Татьяны передалась ему страсть к драгоценностям. При себе он всегда носил замшевый мешочек с гранеными камнями, которыми любил поиграть и похвастаться. И рассказывал, что часто забавлял меня, ребенка, катая по столу цельную восточную

жемчужину: столь крупна и совершенна она была, что дырку в ней делать не стали.

Дед мой писал и книги о музыке, но главное – написал историю нашего семейства. Женат он был на графине Татьяне Александровне де Рибопьер. Я, впрочем, ее не знал, умерла она до матушкиной свадьбы. Здоровья бабка была слабого, потому часто ездила вместе с дедом за границу, на воды и в Швейцарию – там, на Женевском озере имели они дом. Но швейцарское имение не обогатило русских владельцев. Хозяйство было запущено, и родителям моим пришлось попотеть, чтобы восстановить его.

Дед умер в Баден-Бадене после долгой болезни. Там, помнится, в детстве я и видел его. По утрам мы с братом навещали больного в скромной гостинице, где проживал он. Сидел в вольтеровском кресле, покрыв ноги шотландским пледом. Рядом на столике с пузырьками и склянками непременно стояла бутылка малаги и коробка печенья. Там-то и вкусил я свой первый аперитив.

Бабки своей по материнской линии я не знал. Говорят, была она добра и умна. И, видимо, красива – судя по дивному портрету ее работы Винтергальтера. Окружали ее вечно приживалки, кумушки, в общем, никчемные, но в старинных семьях необходимые домочадки. Некая Анна Артамоновна всех и дел-то имела, что хранить бабкину соболью муфту в картонке. Когда Артамоновна умерла, бабка открыла картонку: муфты не было. Вместо муфты лежала записка, писанная покойницей: «Прости и помилуй, Господи, рабу твою Анну за прегрешения ее, вольные или невольные».

Бабка особо следила за воспитанием дочери. Семи лет матушка моя была готовой светской дамой: могла принять гостей и поддержать разговор. Однажды бабке нанес визит некий посланник, но та велела дочери, малому ребенку, принять его. Матушка старалась изо всех сил, угощала чаем, сластями, сигарами. Всё напрасно! Посланник ожидал хозяйку и на бедное дитя даже не смотрел. Матушка исчерпала всё, что умела, и совсем было отчаялась, но тут ее озарило, и она сказала посланнику: «Не желаете ли пипи?» Лед был сломан. Бабка, войдя в залу, увидела, что гость хохочет как сумасшедший.

По отцовской линии знал я только бабку. Дед – Феликс Эльстон умер задолго до моего рожденья. Говорят, отец его был прусский король Фридрих Вильгельм IV, а мать – фрейлина сестры его, императрицы Александры Федоровны. Та, поехав навестить брата, взяла с собой фрейлину. Прусский король так

влюбился в сию девицу, что даже хотел жениться. Одни говорят, что он и женился морганатическим браком. Другие утверждают, что девица отказала, не желая расставаться с государыней, но короля все же любила, и что плодом их тайной любви и был Феликс Эльстон. Тогдашние злые языки уверяли, что фамилия Эльстон – от французского «эль с'этон» (elle s'etonne – она удивляется), что, дескать, выразило чувство юной матери.

До 16 лет дед мой жил в Германии, потом уехал в Россию и вступил в армию. Позже командовал донскими казаками.

Женился он на графине Елене Сергеевне Сумароковой. Она была последней представительницей славного рода, и по сему случаю государь позволил Эльстону принять фамилию и титул жены. Та же честь была оказана моему отцу, когда женился он на последней из рода князей Юсуповых.

Бабушка, мать моего отца, была почтенной старушкой, круглой, как пышка, с миловидным лицом и добрым взглядом. Однако нередко чудила. К примеру, набивала карманы юбок всякой дребеденью и объявляла: «Прекрасные подарки друзьям». «Прекрасными подарками» были щетки для зубов, пантуфли, лекарства, туалетные принадлежности, порой весьма интимные. Все это она вываливала перед гостями и жадно следила за выражением лиц, силясь угадать, кому что понравится. Поэтому родители, когда являлись гости, искали предлог увести ее от гостиной подальше.

Были у нее две страсти: она собирала марки и разводила шелковичных червей. Черви заполонили дом. Они покрывали все кресла, и гости, садясь, давили их и пачкали платье.

В бытность нашу в Крыму бабушка увлеклась садоводством. Она и тут чудила. Уверила себя, что улитки – лучшее удобрение для сада, и собирала их по всему имению, а потом давила ногами то, что собрала, и сию клейкую кашу сдавала садовникам. Садовники кашицу выбрасывали, но, не желая огорчать бабушку, две-три недели спустя приносили ей отборные цветы и фрукты, ращенные, как заверяли они, на «улитках».

Но щедрость ее не знала границ. Когда раздала все, что имела сама, умоляла друзей помочь бедным. Нас с братом она очень любила, хотя частенько и становилась жертвою наших с ним розыгрышей. Любимой нашей шуткой было посадить ее в лифт и остановить его меж этажами. Бедная старушка пугалась и звала на помощь, а мы являлись и якобы спасали ее, за что получали вознаграждение. То же мы проделывали и с гостями, с теми, кого не терпели, но уж их-то мы не спасали. Выручали их слуги, прибежав на крики.

Своим страстям бабушка осталась верна до конца. Умирая,

она потребовала шелковичных червей, поглядела на них и умерла умиротворенной.

«Прямою дорогой» – таков девиз Сумароковых. Мой отец оставался всю жизнь верен ему. И нравственно был выше многих людей нашего круга. Собой он был очень хорош, высок, тонок, элегантен, кареглаз и черноволос. С годами он погрузнел, но статности не утратил. Имел более здравомыслия, чем глубокомыслия. За доброту любили его простые люди, особенно подчиненные, но за прямоту и резкость порою недолюбливало начальство.

В юности захотелось ему воинской карьеры. Он поступил в гвардейский полк и впоследствии командовал им, а еще позже стал генералом и состоял в императорской свите. В конце 1914 года государь отправил его с миссией за границу, а по возвращении назначил московским генерал-губернатором.

Отец не готов был управлять колоссальным матушкиным состоянием и распоряжался им очень неудачно. Со старостью он тоже стал чудить, весь в мать, графиню Елену Сергеевну. С женой они были совсем разные, и понять он ее не мог. По природе солдат, ее ученых друзей не жаловал. Но из любви к нему матушка пожертвовала привычками и привязанностями и лишила себя многого, в чем могла бы найти радость жизни.

В отношениях наших с отцом всегда была дистанция. Утром и вечером мы целовали ему руку. О нашей жизни он ничего не знал. Ни я, ни брат разговора по душам никогда с ним не имели.

Матушка была восхитительна. Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образованна, артистична, добра. Чарам ее никто не мог противиться. Но дарованиями своими она не чванилась, а была сама простота и скромность. «Чем больше дано вам, – повторяла она мне и брату, – тем более вы должны другим. Будьте скромны. Если в чем выше других, упаси вас Бог показать им это». Руки ее просили знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать супруга по своему вкусу. Дед мечтал увидать дочь на троне и теперь огорчался, что она не честолюбива. И уж совсем расстроился, узнав, что она выходит за графа Сумарокова-Эльстона, простого гвардейского офицера.

Матушка от природы имела способности к танцу и драме и танцевала и играла не хуже актрис. Во дворце на балу, где гости одеты были в боярское платье XVII века, государь просил ее сплясать русскую. Она пошла, заранее не готовясь, но плясала так прекрасно, что музыканты без труда подыграли ей. Ее вызывали пять раз.

Знаменитый театральный режиссер Станиславский, увидав ее на благотворительном вечере в «Романтиках» Ростана, звал ее к себе в труппу, уверяя, что подлинное ее место – сцена.

Всюду, куда матушка входила, она несла с собой свет. Глаза ее сияли добротой и кротостью. Одевалась она изящно и строго. Не любила драгоценностей, хотя обладала лучшими в мире, и носила их только в особых случаях.

Когда тетка испанского короля инфанта Эулалия приехала в Россию, родители дали обед в ее честь в своем московском доме. О впечатлении, произведенном на нее матушкой, инфанта в своих «Мемуарах» пишет так:

«Более всего поразило меня празднество в мою честь у князей Юсуповых. Княгиня была необычайно красива, тою красотой, какая есть символ эпохи. Жила среди картин, скульптур в пышной обстановке византийского стиля. В окнах дворца мрачный город и колокольни. Кричащая роскошь в русском вкусе сочеталась у Юсуповых с чисто французским изяществом. На обеде хозяйка сидела в парадном платье, шитом брильянтами и дивным восточным жемчугом. Статна, гибка, на голове – кокошник, по-нашему, диадема, также в жемчугах и брильянтах, сей убор один – целое состояние. Поразительные драгоценности, сокровища Запада и Востока, довершали наряд. В жемчужных снизках, тяжелых золотых браслетах с византийским узором, серьгах с бирюзой и жемчугом и в кольцах, сияющих всеми цветами радуги, княгиня была похожа на древнюю императрицу...».

В другой раз, однако, было иначе. Родители мои сопровождали в Англию великих князя и княгиню Сергея и Елизавету на торжества по случаю юбилея королевы Виктории. Драгоценности при английском дворе обязательны. Великий князь посоветовал матушке взять с собой лучшие брильянты. Рыжий кожаный саквояж с сокровищами поручили ехавшему с родителями лакею. Вечером, по прибытии в Виндзор, матушка, одеваясь к обеду, велела горничной принести кольца с ожерельями. Но рыжий саквояж пропал. На обеде матушка сидела в парадном платье без единого украшения. На другой день саквояж отыскался в багаже немецкой принцессы, чьи вещи спутали с нашими.

В раннем детстве моей самой большой радостью было видеть матушку в нарядных платьях. Помню до сих пор платье абрикосового бархата с собольей оторочкой, в каком красовалась она на приеме в честь китайского министра Ли Хунчжана, бывшего проездом в Петербурге. В пандан к платью матушка надела брильянтовое колье с черным жемчугом. На приеме, между прочим, узнала матушка, что такое китайская вежливость.

Под конец обеда двое лакеев с черными лоснящимися косицами степенно приблизились к Ли Хунчжану, неся серебряный тазик, два павлиньих пера и полотенце. Китаец взял перо, пощекотал в горле и изрыгнул все съеденное в таз. Матушка в ужасе повернулась к гостю слева, дипломату, долго жившему в Поднебесной.

– Княгиня, – отвечал тот, – считайте, что вам оказана величайшая честь. Своим поступком Хунчжан дает понять, что кушания восхитительны и он готов отобедать еще раз.

Матушку очень любило все императорское семейство, в частности сестра царицы великая княгиня Елизавета Федоровна. С царем матушка тоже была в дружбе, но с царицей дружила недолго. Княгиня Юсупова была слишком независима и говорила что думала, даже рискуя рассердить. Не мудрено, что государыне нашептали что-то, и та перестала с ней видеться.

В 1917 году лейб-медик, дантист Кастрицкий, возвратясь из Тобольска, где царская семья находилась под арестом, прочел нам последнее государево послание, переданное ему:

«Когда увидите княгиню Юсупову, скажите ей, что я понял, сколь правильны были ее предупреждения. Если бы к ним прислушались, многих трагедий бы избежали».

Политики и министры ценили матушкину прозорливость и верность суждения. Была она истинной правнучкой прадеда своего, князя Николая, могла бы держать политический салон. По скромности, однако, оставалась в тени, но тем вызывала к себе еще большее уважение.

Матушка не дорожила своим богатством и распоряжаться им поручила отцу, а сама занялась благотворительностью и попечениями о своих крестьянах. Выбери она иного супруга, возможно, сыграла бы свою роль не только в России, но и в Европе.

Пять лет разницы у нас с братом поначалу мешали нашей дружбе, но, когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы сблизились. Николай учился в Петербурге, закончил Санкт-Петербургский университет. Как и я, не любил он армейской жизни и от военной карьеры отказался. По характеру был скорее в отца и на меня не походил. Но от матери унаследовал склонность к музыке, литературе, театру. В двадцать два года руководил любительской актерской труппой, игравшей по частным театрам. Отец этим его вкусам противился и дать ему домашний театр отказался. Николай и меня пытался затащить в актеры. Но первая проба стала и последней: роль гнома, какую дал он мне,

оскорбила мое самолюбие и отвратила от сцены.

Николай был высоким, стройным юношей. Брюнет, темные глаза выразительны, брови густы, а губы крупны и чувственны. Имел красивый баритон и пел, сам себе подыгрывая на гитаре.

С годами стал властен и резок, уважал лишь свое мнение и делал что хотел. Терпеть не мог наших гостей, как, впрочем, и я. Люди эти были важны и лицемерны. В их обществе мы, борясь со скукой, придумали объясняться движением губ. И столь понаторели в этой азбуке, что откровенно насмехались над гостями в их же присутствии. Правда, в конце концов были разгаданы и нажили себе немало врагов.

Глава 4

Коронование Николая II – Празднества в Архангельском и нашем московском доме – Мария, жена румынского престолонаследника – Князь Грицко

В 1896 году по случаю восшествия на престол императора Николая II уже с мая мы находились в Архангельском, принимая многочисленных гостей, прибывших на коронационные торжества. В числе приглашенных был румынский престолонаследник с супругой княгиней Марией. В их честь родители мои выписали из Москвы модный в то время румынский оркестр. Стефанеско, музыкант оркестра, игравший на цимбалах, стал впоследствии моим частым спутником. Я то и дело брал его в поездки. Очень я любил его слушать, и порой он играл для меня ночь напролет.

Великий князь с княгиней, Сергей и Елизавета, тоже принимали с утра до вечера друзей и родню у себя в Ильинском в пяти верстах от нас. Часто бывали они и в Архангельском. Появлялись и царь с царицей у нас на балах, по блеску не уступавших дворцовым.

Ожил домашний театр. Из Петербурга отец с матерью выписали итальянскую оперу с Маццини и Арнольдсон и танцовщиков. Однажды давали «Фауста».

За минуту до начала матушке передано было, что г-жа Арнольдсон петь отказывается потому-де, что в сцене в саду поставили у рампы цветы с неприятным для госпожи певицы запахом. В считанные секунды цветы заменили зеленью. Помню и другой фокус: зрителей рассадили в ложи, а партер уставили чайными розами, и зал благоухал, как розарий.

После спектакля собирались на террасе. Столики с канделябрами в середине были накрыты к ужину. Вспыхивал фейерверк, и огненная феерия столь потрясала меня, ребенка, что идти спать я ни за что не хотел.

Веселье продолжалось в Москве, куда родители с гостями отправились за несколько дней до коронования. Московский наш дом хранил отпечаток эпохи: широкие сводчатые залы, мебель XVI века, богатая узорчатая утварь. Пышность в византийском вкусе, то, что надобно для подобных приемов. Принцы-европейцы клялись, что ничего пышней не видали.

Для таких празднеств мы с братом оказались слишком малы и оставлены были в Архангельском. Однако ж в день коронования привезли в Москву и нас. И сегодня, стоит закрыть глаза, вижу

ярко освещенный Кремль, красно-зеленые крыши теремов и золотые купола храмов.

Утром из Большого Кремлевского дворца шествие двинулось в Успенский собор. После церемонии царь и обе царицы в коронах и царских мантиях, сопровождаемые всею царской семьей и иностранными принцами, из собора направились во дворец обратно. Золото, брильянты, рубины сверкали в тот день на солнце ярче самого солнца. Только в России могло иметь место подобное зрелище! Царь с царицей, представшие перед толпой, были и впрямь помазанники Божьи! И кто бы мог подумать, что двадцать два года спустя от всего великолепия и величия останется одно воспоминание?

Рассказывают, что, одевая царицу к коронации, одна из ее женщин уколола палец о застежку мантии, и капля крови упала на горностай.

Три дня спустя была ходынская трагедия. Вследствие плохой организации на раздаче народу царских подарков случилась чудовищная давка. Тысячи людей были растоптаны. Кое-кто усмотрел в том мрачное предзнаменование для нового царствования.

Почти все коронационные торжества были после того отменены. Однако нашлись у Николая дурные советчики. Царь уступил и в день Ходынки явился на бал к французскому послу. Меж великими князьями вспыхнула ссора. Трое братьев великого князя Сергея Александровича, тогдашнего московского генерал-губернатора, желая приуменьшить катастрофу, за какую был немало ответствен их брат, заявили, что программу торжеств изменять не должно. Им решительно возразили четверо Михайловичей (великий князь Александр, мой будущий тесть, с братьями), и были обвинены в интриганстве против родных.

После коронации родители с гостями вернулись в Архангельское. Румынские князь с княгиней, Фердинанд и Мария, также продолжали гостить. Фердинанду дядей приходился румынский король Кароль I. Помню короля частым матушкиным гостем. Он был красив и величествен, седовлас и с орлиным профилем. По слухам, он любил политику и деньги и не любил жены. Супруга его, княгиня Виде, писала романы под псевдонимом Кармен Сильва. Детей у них не было. Фердинанд, таким образом, наследовал трон. Этот был малым добрым, но вполне заурядным, застенчивым, вялым и в семье, и в политике. Мог бы сойти за красавца, не будь лопоух. Женат он был на старшей дочери княгини Марии Саксен-Кобург-Готской, сестры нашего Александра III.

Княгиня уже прославилась красотой. Глаза ее имели столь

поразительный серо-голубой оттенок, что, один только раз глянув в них, помнили их вечно. Она была стройна и тонка, как стебель. Я был покорен. Ходил за ней, как тень. По ночам не спал и думал о ней. Однажды она меня поцеловала. Я был так счастлив, что вечером отказался умываться. Она, услышав об этом, очень смеялась. Много лет спустя в Лондоне на обеде у австрийского посланника я вновь встретился с княгиней Марией. Я заговорил с ней об этой истории. Она ее помнила.

В те дни еще один случай потряс мое детское воображение. Однажды, обедая, услыхали мы топот копыт в соседней комнате. Дверь распахнулась, и явился нам статный всадник на прекрасном скакуне и с букетом роз. Розы он бросил к ногам моей матери. Это был князь Грицко Витгенштейн, офицер государевой свиты, красавец, известный причудник. Женщины по нему с ума сходили. Отец, оскорбясь его дерзостью, объявил ему, чтобы не смел он впредь переступать порог нашего дома.

Я поначалу осудил отца. Верхом несправедливости показались мне его слова – кому! – истинному герою, идеальному рыцарю, какой не побоится выразить любовь свою поступком, исполненным изящества.

Глава 5

Мои детские болезни – Товарищи по играм – Аргентинец – Выставка 1900 года – Генерал Бернов – Клоун – Путешествия воспитывают

В детстве переболел я всеми детскими болезнями и долго был слабым и чахлым. Худобы своей очень стыдился, не знал, что сделать, чтоб растолстеть. С надеждой прочел я рекламу «Восточных пилюль». Тайком принялся их глотать, но без толку. Лечивший меня врач, заметив коробочку у меня на тумбочке, спросил, в чем дело. Когда я сознался, он захохотал и велел мне их выкинуть.

Наблюдало меня несколько докторов, но более других любил я доктора Коровина, которого за фамилию прозвал дядя Му. С постели заслышав его шаги, я мычал, и он немедленно мычал в ответ. Как все старые доктора, он слушал меня через салфетку. Я обожал запах его лосьона для волос и долго считал, что волосы у докторов всегда сладко пахнут.

Оказался я с характером. И теперь без стыда не вспомню, как мучил я воспитателей. Первой была няня-немка. Сперва она растила моего брата, потом перешла ко мне. Несчастная любовь к секретарю отца свела ее с ума. Думаю, мой дурной нрав довершил дело. Отец с матерью, насколько помню, поместили ее в лечебницу для умалишенных, где пребывала она, пока не выздоровела. Меня же поручили старой матушкиной гувернантке мадемуазель Версиловой, женщине замечательно доброй, преданной, ставшей отчасти членом семьи.

Учился я плохо. Гувернантка думала подхлестнуть меня, взяв соучеников. Но я все равно зевал, ленился и дурным примером заразил товарищей. К старости м-ль Версилова вышла замуж за швейцарца мсье Пенара, братнина учителя, доброго и знающего, о нем вспоминаю с любовью. Сейчас ему девяносто шесть лет. Живет он в Женеве. Иногда пишет мне. Его письма навевают далекое прошлое, когда я столь часто испытывал его доброту и терпение.

Близкой родни у матушки не было. Кутузовы, Кантакузины, Рибопьеры и Стаховичи – седьмая вода на киселе. Мы дружили на расстоянии. Двоюродный брат с сестрой Сумароковы, Елена и Михаил, были не ближе. Отец их болел, и жили они с ним за границей почти постоянно. Приятелями нашими, товарищами игр, сделались дети отцовой сестры Миша, Володя и Ира

Лазаревы да две дочери дяди Сумарокова-Эльстона, Катя и Зина.

Влюблены мы все были в Катеньку, красотку. Сестра была попроще, но ее мы любили за доброе сердце. Старший Лазарев, Миша, ровесник более моему брату, был острослов и умница. Володя немного нелеп, но в этом, казалось, особая прелесть. Выразительно-живое лицо и нос картошкой делали его похожим на клоуна. Он был неутомим и меж нас заводилой. Благороден, но легкомыслен, он ни к чему не относился всерьез. Все ему потеха. Одна игра на уме. Вместе с ним мы отчаянно шалили, и воспоминание об этих шалостях до сих пор вгоняет меня в краску. У сестры его Ирины был столь же веселый нрав, а ее египетский профиль и длинные зеленые глаза уже покорили немало сердец.

В нашу компанию входили также дети министра юстиции Муравьева и государственного секретаря Танеева. В воскресные дни мы собирались на Мойке.

Раз в неделю модный учитель танцев мсье Троицкий являлся посвятить нас в тайны вальса и кадрили. Тонкий, жеманный, напомаженный и надушенный. Седеющая бородка с прямым пробором посередине. Приходил, подпрыгивая, в костюме безупречной кройки, лаковых туфлях, белых перчатках и с цветком в бутоньерке.

Моей постоянной партнершей была Шура Муравьева, девочка милая и умная. Танцор я вышел никудышный. Она кротко терпела мою неуклюжесть и не сердилась, хотя на ноги наступал я ей то и дело. С Шурой мы стали друзьями навечно.

По субботам бывали танцевальные вечера у детей Танеевых. Проходили они шумно и весело. Танеева-старшая, рослая, сильная девица с толстым лоснящимся лицом, была напрочь лишена обаяния. Ума за ней тоже не водилось. Только хитрость да жир. Охотников танцевать с ней не было. Кто бы мог подумать, что толстуха Анна сблизится с царской семьей да еще сыграет столь роковую роль! Головокружительному восхождению Распутина помогла Танеева также.

Я достиг возраста, когда всё непонятно, и приставал с вопросами к взрослым. Когда спрашивал я, откуда все взялось, мне отвечали: от Бога.

– А кто такой Бог?

– Незримая сила на небесах.

Ответ неопределенный, разъяснял мало, и долго я всматривался в небо, надеясь узреть там что-то или хоть как-то уточнить объяснение.

Но чем больше я пытался разъяснить тайну происхождения людей, тем меньше меня удовлетворяли даваемые ответы. Мне говорили об Адаме и Еве, объясняли таинство Христово, а потом

сказали, что мал я еще для таких вещей, что вырасту и сам все пойму. На этом я, разумеется, не мог успокоиться. Пришлось решать вопрос самому, и решил я его по-своему. Представил я, что Бог – царь царей и сидит средь облаков на золотом троне в окружении придворных-архангелов. А птицы, думал я, – поставщики двора Его Небесного Величества, и оставлял им на окне на тарелке часть своего обеда. Еда с тарелки исчезала, и я радовался, что царь царей принял подношение.

А что до вопроса, откуда берутся дети, тут я тоже долго не гадал. Решил, что, к примеру, несомое курицей яйцо – петушиная частица. Она отпадает от петуха и становится новым петухом, и так же происходит и у людей. Сей любопытный вывод сделал я, заметив некоторое различие у мужских и женских статуй, а также внимательно рассмотрев собственные анатомические особенности.

Этим представлением я и довольствовался, пока не предстала мне однажды грубая действительность. Произошло это в результате случайной встречи в Контрексевиле, где матушка проходила курс лечения. Было мне тогда лет двенадцать. В тот вечер я вышел после ужина на прогулку в парк. Идучи мимо ручья, в окнах беседки увидел я, как смуглый юноша прижимает к себе хорошенькую девицу. По всему, получали они сильное удовольствие. Непонятное чувство овладело мной. Я подошел, чтобы исподтишка рассмотреть.

Вернувшись, я рассказал матушке о том, что увидел. Она смутилась и поспешила заговорить о другом.

В ту ночь я не мог заснуть. Эта сцена стояла у меня перед глазами. Назавтра в тот же час я вернулся к беседке – никого. Я хотел было уйти, но заметил на аллее того смуглолицего типа. Он направлялся в беседку. Я подошел и прямо спросил, не свидание ли у него с той барышней. Сначала он посмотрел с удивлением, но потом засмеялся и осведомился, что мне за дело. Я объяснил, что видел их накануне, и он сказал, что свидание у него с барышней позже, у него в номере, и пригласил меня прийти. Судите сами, как взволновался я.

Дома все устроилось мне на руку. Матушка, устав, легла рано, отец ушел играть в карты с приятелями. Гостиница, куда я был зван, – рядом. Смуглолицый ждал меня, сидя на ступеньках. Он похвалил меня за точность и увел в номер. Когда явилась барышня, я уже знал, что он – аргентинец.

Не помню, сколько я пробыл у них. Вернувшись к себе, я не раздеваясь бросился на постель и заснул как убитый. В тот вечер вдруг разъяснилось для меня все. За два-три часа наивное и невинное дитя приобщилось ко взрослым тайнам. А что до самого

аргентинца, приобщившего меня, он исчез на другой день, и никогда более я не встречал его.

Поначалу я хотел во всем признаться матушке, однако не решился от стыда и от страха. Отношения между мужчиной и женщиной так поразили меня еще и потому, что прежде я ни о чем таком и думать не думал. Теперь же, благодаря откровениям аргентинца, я представлял себе знакомых господ и дам в самых немыслимых положениях. Неужели они все ведут себя так? От этих диких картин моя детская голова пошла кругом. Вскоре я рассказал об этом брату, но тот, к моему удивлению, выслушал все равнодушно. Тогда я замкнулся в себе и ни с кем более об этом не заговаривал.

В 1900 году наша семья поехала в Париж на Всемирную выставку. Выставку помню очень смутно. Таскали меня на солнцепеке с утра до вечера по скучным павильонам. Я устал и выставку возненавидел. Однажды днем, когда особенно изнемог, я заметил неподалеку пожарную кишку. Я схватил ее и направил на толпу, усердно поливая всякого, кто хотел ко мне подойти. Народ закричал, поднялась суматоха, даже паника. Прибежали полицейские. Они вырвали у меня кишку и препроводили и меня, и семейство мое в участок. После долгих споров удалось убедить блюстителей порядка, что у меня легкое помрачение рассудка, исключительно от жары, и нас отпустили, заставив, однако, уплатить штраф. В наказание родители запретили мне ходить на выставку, не зная, что их наказание мне – великая награда. После этого я разгуливал по Парижу в свое удовольствие, заходил в бары и знакомился с кем ни попадя. Когда же я привел новых знакомцев к нам в отель, родители ужаснулись и впредь запретили мне гулять одному.

А вот Версаль и Трианон поразили меня. Историю Людовика XVI и Марии Антуанетты знал я очень приблизительно. Когда же узнал я во всех подробностях об их трагическом конце, я буквально устроил культ обоим мученикам. Повесил у себя в комнате их портреты и всякий день ставил перед портретами свежие цветы.

Когда отец с матерью отправлялись за границу, с ними непременно ехал кто-нибудь из друзей. На этот раз с нами поехал генерал Бернов, которого все звали неизвестно почему «тетя Вотя». Толстый и некрасивый, с предлинными усами, которыми гордился, он был похож на тюленя. А на деле – добряк, чистый генерал Дуракин. Подчинялся всем отцовым прихотям, а отец без него не мог ни минуты. Было у генерала любимое выражение «ну-

ка стой», какое в разговоре вставлял он дело не по делу. Притом никто не знал, к чему именно оно относится. Эта его присказка сослужила ему однажды плохую службу. Как-то на параде вел он гвардейский полк и перед царской трибуной должен был погнать галопом и с саблями наголо. Отдавая приказ: «В галоп!», он крикнул свое «ну-ка, стой» и помчал во весь опор, не заметив, что гвардейцы его, остановленные странной командой, не стронулись с места.

Русские офицеры всегда, даже не находясь на службе, носили военный мундир. К штатскому платью они не привыкли и выглядели в нем странно, а порой сомнительно. Вот почему отец со своим приятелем-генералом вызвали подозрение у ювелира Бушрона, когда принесли ему в починку матушкины украшения. Завидев бесценные брильянты в руках двух подозрительных субъектов, ювелир поспешил предупредить полицию. Ошибку свою он признал тогда лишь, когда предъявили они бумаги, удостоверявшие личность. Тут уж ювелир рассыпался в извинениях.

Однажды мы с матушкою оказались на рю де ля Пэ и встретили торговца собаками. Рыжый песик с черной мордочкой по кличке Наполеон так мне понравился, что я стал упрашивать матушку купить его. Матушка, к моей радости, согласилась. А вот собачью кличку я счел кощунственной и переименовал его в Клоуна.

Восемнадцать лет Клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Очень скоро он стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным. А если у него пучило живот, он подходил к камину и совал туда зад с виноватым видом, точно прося прощения.

У Клоуна были свои симпатии, а также свои антипатии, совершенно неодолимые. Не любил – непременно задирал ногу на брюки или юбку врага. К примеру, так возненавидел одну матушкину приятельницу, что пришлось его запирать, когда та приходила к нам. Однажды она явилась в восхитительном вортовском платье розового бархата. К несчастью, Клоуна запереть забыли. Едва приятельница вошла, он бросился к ней и облил ей весь подол. С дамой случилась истерика.

Клоун мог бы выступать в цирке. В жокейском костюмчике он забирался на пони и с трубкой в зубах изображал курильщика. Был он и охотником неплохим и приносил дичь, как настоящая охотничья собака.

Однажды заехал к матушке обер-прокурор Святейшего синода и, на мой взгляд, слишком засиделся. Решил я действовать при помощи Клоуна. Густо набелил и нарумянил его, как старую кокотку, напялил на него парик и платье и выпустил в таком виде в гостиную. Клоун понял, чего от него ждут, и вызывающе, на задних лапках, прошел к гостю. Тот, скандализованный, немедленно удалился. Мне только того и надо было.

С Клоуном мы не разлучались. Он ходил за мной всюду, а ночью спал рядом на подушке. Когда Серов писал мой портрет, то просил, чтоб и Клоун сидел при мне непременно: говорил, это лучшая его модель.

Прожив восемнадцать лет, Клоун умер, и я похоронил его в саду нашего дома на Мойке.

Великий князь Михаил Николаевич и сын его великий князь Алексей каждое лето приезжали на несколько дней погостить в Архангельское. Великий князь Михаил был последним сыном императора Николая I. Он участвовал в Крымской, Кавказской и Турецкой войнах и двадцать два года оставался императорским наместником на Кавказе, а по возвращении получил пост главного инспектора артиллерии и должность председателя Государственного совета.

В детстве моем великий князь Алексей, старше меня на десять лет, непременно привозил мне игрушки. Помню, в частности, надувного Арлекина – в надутом виде вдвое больше меня. Очень я ему обрадовался. Однако радость была недолговечна: белка Типти очень скоро в клочки растерзала его.

Великий князь Михаил любил смотреть, как мы с братом играем в теннис. Усевшись в глубокое кресло, мог часами наблюдать за игрой. Игроком я был никудышным, мячи посылал во все стороны и однажды угодил великому князю в глаз. Удар оказался столь сильным, что пришлось вызвать окулиста, московскую знаменитость, дабы великий князь сохранил глаз.

Оплошность подобного рода я совершил еще раз в Павловске, в летнем доме великого князя Константина Константиновича. Там же находились сестра его, греческая королева Ольга, и мать, великая княгиня Александра Осиповна, почтенная пожилая особа, которую в кресле на колесах катали по саду. Все ее очень почитали. Когда ее этак вывозили в сопровождении родных, казалось, движется шествие с церковным пастырем во главе.

Однажды каталку с великой княгиней вывезли из дворца, когда младший сын королевы Ольги, принц Христофор, и я играли в мяч на дворцовой лужайке. С обычной своей неловкостью я сильно ударил по мячу. Мяч полетел в сторону

кресла и попал почтенной даме прямо в лицо.

В Петербурге великий князь Константин жил в Мраморном дворце – роскошном здании из серого мрамора, построенном Екатериной II для фаворита своего графа Орлова. Я хаживал туда играть с великокняжескими детьми. Однажды вздумалось им поиграть в похороны президента Феликса Фора, моего тезки. Всю игру я усердно изображал покойника. Однако, не успели меня вытащить из «могилы», я, разозленный, наставил своим «могильщикам» фонарей под глазом. С тех пор ни в Мраморный дворец, ни в Павловск меня не звали.

До пятнадцати лет я страдал лунатизмом. Как-то ночью в Архангельском я очнулся верхом на балюстраде одного из балконов. Разбудил меня, видимо, птичий крик. Увидав, что внизу пропасть, я до смерти перепугался. На мой крик прибежал лакей и выручил меня. Я был так благодарен ему, что упросил родителей дать мне его в услужение. С тех пор Иван находился при мне неотлучно, и я считал его скорее другом, нежели слугой. Оставался он со мной вплоть до 17-го года. Когда стряслась революция, он был в отпуске. Обратно доехать до меня ему не удалось, и я навсегда потерял его след.

В 1902 году отец с матерью отправили меня в путешествие по Италии со старым преподавателем искусства Адрианом Праховым. Шутовской вид старика учителя тотчас бросался в глаза. Коротенький и большеголовый, с шапкой волос и рыжей бородой, он походил на клоуна. Мы решили звать друг друга «дон Адриано» и «дон Феличе». Начали вояж мы в Венеции, кончили Сицилией. Учитель научил меня, однако, не совсем тому, чему должен был.

Я изнемогал от жары, и художественные красоты Италии созерцал неохотно. Зато дон Адриано бегал по церквам и музеям неутомимо и весело. Часами простаивал у картин и каждому встречному-поперечному рассказывал о них по-французски с чудовищным акцентом. Туристы, пораженные его эрудицией, ходили за нами толпами. Что до меня, я терпеть не мог коллективного обучения и проклинал этих потных субъектов с фотографическими аппаратами, постоянных наших преследователей.

Одевался дон Адриано очень, по его мнению, подходяще к тамошнему климату: носил белый шелковый костюм, соломенную шляпу и зонтик на ярко-зеленой подкладке. По улице за нами вечно бежали мальчишки. Как ни мал я был, а понял, что не с ним бы плавать в венецейской гондоле.

Прибыв в Неаполь, мы сняли номер в гостинице «Везувий». Жарко было нестерпимо, и до вечера я и носа на улицу не казал.

Учитель целыми днями бегал по своим неаполитанским знакомым, коих имел много, а я скучал в гостинице. На закате, когда жара спадала, я выходил на балкон и смотрел на прохожих. Иногда заговаривал с кем-нибудь, но по-итальянски говорил через пень-колоду, и беседы не получалось. Однажды у гостиницы остановился фиакр. Из него вышли две дамы. Кучер был славный на вид юноша, к тому ж понимал по-французски. Я признался ему, что скучаю в Неаполе, что хочу погулять по городу ночью. Он вызвался быть моим провожатым в тот же вечер и обещал заехать за мной в одиннадцать. В это время учитель мой уже засыпал. Приехал кучер точно, как обещал. Я на цыпочках вышел из номера и, ничуть не заботясь, что иду без гроша, уселся в фиакр. Мы поехали. Миновав несколько безлюдных улочек, итальянец остановился у какой-то двери, впотьмах. Войдя в дом, я поразился: с потолка свисают на веревках чучела животных, в том числе огромный крокодил. На миг мне почудилось, что я в зоологическом музее. Но понял, что это не музей, когда увидел накрашенную толстуху в фальшивых брильянтах. В гостиной, куда толстуха провела нас, стояли красные плюшевые диваны и сплошь зеркала. Я оробел, но вожатый мой, ничуть не смущаясь, потребовал шампанского и сел подле меня. Хозяйка заведения устроилась тут же. Мимо прохаживались красотки. Пахло потом и дешевыми духами. Красавицы были всех мастей, даже чернокожие. Иные в чем мать родила. Иные одеты как баядерки. Кто-то в матроске, кто-то в детском платьице. Они прохаживались, вихляя бедрами и кокетливо поглядывая на меня. Я совсем смутился, даже испугался. Кучер с хозяйкой то и дело прикладывались к бутылке. Я тоже стал пить. Они чмокали меня, говоря: «Ке белло бамбино!».

Вдруг открылась дверь, и я обомлел: на пороге стоял мой старик учитель. Хозяйка бросилась навстречу и обняла как завсегдатая, своего человека. Я было спрятался за кучерову спину, но дон Адриано уже заметил меня. Радостно улыбаясь, он сжал меня в объятиях с воплем: «Дон Феличе! Дон Феличе!». Все смотрели онемев. Первый опомнился кучер. Он наполнил бокал шампанским, крикнул: «Ура, ура!», и все подхватили крик.

Уж не помню, когда все это кончилось, однако проснулся я на другой день с сильнейшей головной болью. Более в гостинице я один не сидел. После полудня, когда жара слабела, мы шли с учителем по музеям, а вечером начинали ночную гульбу с ним же и моим приятелем-кучером.

Однажды прогуливался я по набережной, любуясь морем и Везувием. Какой-то нищий схватил меня за руку, показал пальцем на вулкан и шепнул мне с таинственным видом: «Это Везувий».

Видимо сочтя, что продал ценное сведение, он попросил денег. Расчет его был неплох. Я оплатил щедро – не сведение его, а нахальство, развеселившее меня.

Из Неаполя поехали мы на Сицилию осмотреть Палермо, Таормину и Катанию. Жара была нестерпимой. А на макушке Этны лежал снег. Я, мечтая о прохладе, предложил учителю подняться к вершине. Дону Адриано не хотелось, но я уговорил его, и мы отправились, взяв ослов и проводников. Поднимались долго. Когда добрались до кратера, старик валился с ног от усталости. Только мы спешились, чтобы насладиться видами, как земля стала накаляться и местами выпускать пар. Мы перепугались, вскочили на ослов и пустились вниз. Но проводники наши засмеялись, позвали нас назад и сказали, что явление это обычное и бояться нечего. Ночь мы провели в укрытии и от холода не могли сомкнуть глаз. Наутро мы поняли, что все же пар костей не ломит, и решили немедленно вернуться в Катанию. На обратном пути чуть было не вышло трагедии. На тропинке вдоль кратера учителев осел оступился и скинул всадника. Тот полетел в пропасть. К счастью, он успел уцепиться за скалу, пока проводники бежали на выручку. Когда его вытащили, он был ни жив ни мертв со страху.

Перед тем как вернуться в Россию, несколько дней мы провели в Риме. Безумно жалею, что так дурно распорядился своим итальянским временем. Венеция и Флоренция необычайно впечатляли меня, но мал я еще был ценить красоту. В воспоминаниях о моей первой Италии художества – совсем иные!

Глава 6

Святой Серафим – Русско-японская война – Сестры-черногорки – Встречи в Ревеле

В 1903 году преподобный Серафим Саровский, почивший в Саровской пустыни тому лет семьдесят, был причислен к лику святых. Царь Николай вместе со всей императорской семьей присутствовал на церемонии обретения мощей и канонизации преподобного Серафима.

Хотя история сего святого не связана ни со мной, ни с семейством моим, хочу рассказать ее, ибо в моем детстве она не прошла бесследно, к тому ж о канонизации этой много говорилось в дни моего шестнадцатилетия.

Старец родился в 1759 году в Курске в семье купца Мошнина. Родители его были честны и набожны. Сам Серафим с детства также отличался благочестием, часами молился перед иконами.

Однажды, взойдя с матерью на недостроенную колокольню, он упал с башни и, пролетев пятьдесят метров, рухнул на землю. Мать сбежала вниз вне себя от горя, считая его уже мертвым. Каковы же были ее изумление и радость, когда она увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Весть тотчас облетела город, и в дом к Мошниным повалил народ. Все желали видеть чудо-дитя. Впоследствии ему не однажды еще грозила смертельная опасность, но чудесным образом всякий раз бывал он спасен.

Восемнадцати лет вступил он в Саровскую обитель. С годами, однако, монастырская жизнь показалась ему суровою недостаточно, и он удалился в пустынь. Пятнадцать лет он жил отшельником в посту и молитвах. Тамошние жители приносили ему еду, но все почти он скармливал птицам и зверям, с коими был дружен. Игуменья из соседней обители, когда зашла к нему, обмерла от страху, увидав на пороге лежащего медведя. Старец заверил ее, что зверь безобидный, что ему, старцу, он друг и всякий день приносит из лесу мед. Чтобы окончательно успокоить мать-настоятельницу, он послал медведя за медом. Медведь пошел и вскоре вернулся, неся в лапах медовые соты. Серафим вручил их изумленной матушке.

Говорят, сто один день и сто одну ночь он простоял на скале, подняв к небу руки и твердя: «Господи, помилуй нас, грешных!».

В другой раз в хижину к нему явились грабители и потребовали денег. Когда он сказал, что ничего не имеет, они избили его палками и, решив, что убили, ушли. Люди нашли его

без сознания, в крови, с проломленным черепом и сломанными ребрами. Неделю он был на грани жизни и смерти, однако всякое лечение принимать отказывался. На восьмой день явилась ему Богородица. Он почувствовал себя лучше и вскоре поправился. После чего вернулся в обитель и заперся в келье, дав пятилетний обет молчания. Пять лет прошло, и он целиком посвятил себя помощи ближнему. Лицо его излучало благодать. К тому времени было ему семьдесят лет. Вся Россия знала и почитала его. Тысячи паломников стекались к нему отовсюду, прося его помощи и молитвы. И всех принимал он, утешал, наставлял, исцелял.

В 1825 году император Александр I явился к нему и имел с ним долгую беседу. После этого государь уехал в Таганрог. В Таганроге он якобы скончался. Смерть его, а вернее, исчезновение – загадка и по сей день.

Александр, видимо, знал о заговоре, затеянном, чтобы заставить отречься отца его, Павла I. Убийство Павла так потрясло его, что под конец жизни он решил оставить власть и уйти жить отшельником в сибирские леса. По одной версии, он уехал в Таганрог на Азовское море, где якобы умер. А по другой – переоделся нищим и ушел с этапом каторжников в Сибирь. В Сибири, как рассказывают, он отшельничал в лесу, и в тамошних местах все знали его под именем Федора Кузьмича.

Вторую версию считали легендой. Однако после смерти отшельника в убежище его нашли вещи с монограммой императора Александра, а, когда большевики вскрыли императорские гробницы в соборе Петра и Павла в Петербурге, Александрова оказалась пуста. Великий князь Николай Михайлович, автор интереснейших исторических записок и биографии Александра I, вторую версию отрицал. Я спросил его почему. Он сказал, что так было нужно, хотя сам считал вторую версию правдой. Еще одна загадка...

Однажды к старцу Серафиму некая княгиня привезла на носилках больного племянника, лечить которого врачи отказались. Старец встал на молитву. Вдруг бывшие рядом иноки увидали, что старец, молясь, парит, и сияет над ним ореол. Так оставался он все время молитвы. Затем оборотился к юноше и сказал: «Ты здоров». И тот действительно стал здоров. Состояние левитации наблюдали у старца и в других случаях.

Однажды его нашли бездыханным. Прибежали монахи, с плачем встали на колени. Однако блаженный открыл глаза и сказал: «Господь внял моим молитвам. Я молил Его приоткрыть мне завесу того света, и Он взял меня к Себе». Но описать то, что видел, Серафим не смог. Умер он в старости в 1833 году, в келье своей на молитве пред иконою Богородицы. В Саровской пустыни

похоронен. Могила его стала местом паломничества. Не одно чудо случилось на ней. В келье старца нашли рукописи, им писанные. Говорят, Святейший синод, ознакомясь с ними, постановил их сжечь. Почему – неизвестно. Один рукописный листок от 1831 года чудом уцелел и был сохранен монахами. В нем писал старец, что по смерти своей однажды в лето будет канонизирован в присутствии царя и семьи царской и что вскоре затем беды обрушатся на Россию и потекут реки крови. Несчастьями этими Господь пожелает очистить русский народ, избавить его от вялости. Ибо волею Господней назначена ему судьба особая. Миллионы русских будут рассеяны по миру и укрепят этот мир в вере, явив ему пример смирения и мужества. Россия очистится, возродится, станет великой державой, и вопрос о власти разрешится вселенским собором. «Начнется сие сто лет спустя смерти моей. Призываю всех людей русских приуготовиться к тем великим делам постом и покаянием».

Русско-японская война была тяжелейшей ошибкой правления Николая II. Привела она к гибельным последствиям и стала началом эпохи потрясений. Россия оказалась не готова к войне. Те, кто побудил царя объявить ее, – предали страну и династию.

Враги России, пользуясь всеобщим недовольством, настраивали народ против правительства. Начались забастовки. На членов царской семьи и министров были совершены покушения. Царю пришлось пойти на компромисс. Он объявил о создании Государственной думы и учреждении конституционного правления. Императрица воспротивилась решительно. Не осознавая всей важности ситуации, она полагала, что можно найти иной выход.

Открытие думы состоялось 27 апреля 1906 года. Ждали того с тревогой, ибо понимали, что решение это – обоюдоострое, может равно пойти на пользу и повредить.

В час пополудни члены царской фамилии торжественно вошли в Георгиевский зал Зимнего дворца. Впервые в этом зале открывалось столь пестрое собрание, где иные одеты были весьма непарадно. Прочитав «Отче наш», государь обратился к залу с приветственной речью. На самих собравшихся это первое собрание произвело впечатление тяжелое, и в том усмотрели плохое предзнаменование.

Будь депутаты истинными русскими патриотами, дума могла бы помочь правительству. Однако оказались в ней вредные и мятежные элементы. Они-то и превратили ее в рассадник крамолы. Атмосфера накалялась. Думу периодически разгоняли. Политических покушений становилось все больше.

Дело усугубилось, когда депутат от кадетов Гучков произнес зажигательную речь против великих князей и правительства. Он заявил, что недопустимо отдавать ключевые государственные посты членам царской фамилии. Неприкосновенность этих особ, убеждал он, позволяет их протеже и любовницам безнаказанно заниматься самыми темными махинациями.

Дочери короля Черногории, великие княгини Милица и Анастасия Николаевны, были в ту пору при дворе крайне влиятельны. Одна черногорка вышла замуж за великого князя Петра Николаевича, другая, быв сперва за герцогом Лейхтенбергским, вторым браком сочеталась с великим князем Николаем Николаевичем. В Петербурге черногорок звали «черным горем». Занимались они черной магией и водили дружбу с колдунами и гадалками. Они-то и привели ко двору шарлатана-француза Филиппа, а позже – Распутина. Дом их стал средоточием темных сил, увы, овладевших несчастным нашим государем и толкнувших отечество в пропасть.

Отец мой, прогуливаясь однажды на море в Крыму, встретил великую княгиню Милицу в карете с каким-то незнакомцем. Он поклонился ей, но она на поклон не ответила. Беседуя с ней двумя днями позже, он спросил почему. «Потому что вы не могли меня видеть, – отвечала великая княгиня. – Ведь со мной был доктор Филипп. А когда на нем шляпа, он и спутники его невидимы».

Одна из сестер ее рассказывала мне, что в детстве, прячась за гардиной, подкараулила приход Филиппа и обомлела, увидав, что все, кто был в гостиной, встали перед ним на колени и целовали ему руку.

В Библии в 20-й главе «Левита» сказано: «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их: то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее».

Поздно спохватились сестры-черногорки и не смогли, как ни старались, раскрыть глаза на обман государю с государыней.

Летом 1906 года в Петербург пришло известие, что премьер-министр Столыпин стал жертвой покушения в летней своей усадьбе.

Матушка в тот день после полудня уехала навестить его, и, пока она не вернулась, мы сходили с ума от волнения. Но покушение, как она, вернувшись, рассказала, случилось несколько минут спустя ее ухода. Не успела она сесть в карету, как раздался взрыв. Столыпин также не пострадал, но была тяжело ранена его дочь.

Позже прошел слух, что покушение было и на императорское

семейство. Государь с женой и детьми совершал всегдашнюю свою осеннюю морскую прогулку в финляндских фьордах на яхте «Штандарт».

Что случилось – толком никто не знает. Одни говорят, яхта нарвалась на мину, подложенную революционерами. Другие – что наскочила на скалу и не разбилась потому только, что медленно шла. Как бы там ни было, вернулись они целыми и невредимыми на «Полярной звезде», высланной за ними императрицей Марией Федоровной.

В то же лето ожидали визит английского короля Эдуарда VII и королевы Александры, которых государь император с императрицами Александрой Федоровной и Марией Федоровной должен был встретить в Ревеле. Прибыли английские монархи на «Виктории и Альберте». Предстоял прием у Николая II, на который Эдуарду полагалось явиться в русском военном мундире. Однако Эдуард, предварительно не примерив мундира, теперь еле влез в него. Вызвали портного, но расставлять удавку было поздно. За обедом у государя на «Полярной звезде» Эдуард сидел красный и злой.

Эта встреча Николая с Эдуардом сильно испугала немцев. Германия считала, что России не следует доверять Англии потому-де, что Англия – злейший враг России. Многие русские считали так же. Ругали они и договор, заключенный императором Александром III с Францией. Монархия, как говорили они, не имеет права объединяться с республикой против другой монархии. По их мнению, общий союз – между Россией, Германией и Францией – единственная гарантия мира.

Императорское семейство вернулось в Ревель принять г-на Фальера, французского президента. Принимал его царь, однако не столь пышно, как английского короля. Французы это заметили и, как говорят, были очень недовольны.

Глава 7

Наши жилища – Петербург – Мойка, слуги и хозяева – Ужин у «Медведя»

Наши зимние и летние переезды оставались неизменны: зимой Петербург – Москва – Царское Село; летом Архангельское, осенью на охотничий сезон усадьба в Ракитном. В конце октября мы выезжали в Крым.

За границу мы ездили редко, зато частенько брали нас с братом родители в поездки по собственным заводам и имениям. Они были многочисленны и рассеяны по всей России, а иные столь далеко, что доехать до них нам не удалось никогда. Одно из имений, на Кавказе, у Каспийского моря, простиралось на двести верст. Нефти там было столько, что она, казалось, хлюпала под ногами, и крестьяне наши смазывали ею колеса у телег.

На дальние поездки у нас имелся частный вагон, где устраивались мы с большим комфортом, нежели даже в собственных домах, не всегда готовых принять нас. Входили мы в вагон через тамбур-прихожую, какую летом превращали в веранду и уставляли птичьими клетками. Птичье пение заглушало монотонный перестук колес. В салоне-столовой стены обшиты были панелями акажу, сиденья обтянуты зеленой кожей, окна прикрыты желтыми шелковыми шторками. За столовой – спальня родителей, за ней – наша с братом, обе веселые, ситцевые, со светлой обшивкой, дальше – ванная. За нашими апартаментами несколько купе для друзей. В конце вагона помещение для прислуги, всегда многочисленной у нас, последняя – кухня. Еще один вагон, устроенный таким же образом, находился на русско-германской границе на случай наших заграничных поездок, однако мы никогда им не пользовались.

В каждом нашем путешествии нас сопровождала масса людей, без которых отец не мог обойтись. Матушка не любила многолюдья, но с отцовыми друзьями всегда была приветлива. Зато мы их ненавидели, ведь они отнимали у нас матушку. Честно говоря, ненависть была взаимной.

Петербург расположен в устье Невы, за что получил название Северной Венеции. Был он одной из красивейших европейских столиц. Невозможно передать, как хороша Нева с набережными розового гранита и блистательными дворцами вдоль... Всюду в

идеальном строе зданий очевиден гений Петра и Екатерины Великих.

Императрица Александра Федоровна заказала декоратору-немцу решетчатую ограду сада перед Зимним дворцом. Зимний построен был в начале XVIII века императрицею Елизаветой Петровной. Дворец сей – создание архитектора Растрелли. Решетчатая ограда порядком обезобразила здание, а все же шедевр остается шедевром.

Санкт-Петербург – город не исконно русский. Сказался вкус императриц и великих княгинь, родом иностранок, как правило, немок, на протяжении двух веков, а еще присутствие дипломатического корпуса. Немного оставалось семей, хранивших традиции старой Руси. Русские аристократы стали космополитами. Поклонялись они иностранщине и то и дело ездили за границу. Хорошим тоном было посылать мыть белье в Париж и Лондон. Почти все матушкины знакомые нарочно говорили только по-французски, а русский коверкали. Нас с братом это злило, и отвечали мы старым снобкам только по-русски. А старухи говорили, что мы невежи и увальни. Но мы и ухом не вели. Напыщенной знати предпочитали мы людей проще, безалаберных и веселых.

Что до чиновников – эти были, как и все чиновники, просто жадны и бессовестны. Льстили начальству и думали о наживе. Патриотизма в них не было ни на грош. А так называемая интеллигенция сама не знала, чего хотела. Ее разброд и анархия на пользу отечеству не шли. Интеллигенты-агитаторы настраивали народ против знати. Вдобавок знать и сама вызывала зависть и ненависть. Когда при Керенском она взяла власть, то оказалась ни на что не способной.

Патриотизма не было и в театре. На столичных императорских сценах вплоть до середины XVIII века русских пьес не ставилось вообще. Почти все актеры были иностранцы. Первый русский театр был основан только при Елизавете Петровне в 1756 году стараниями советника ее – князя Бориса Юсупова. Новый толчок – уже при Екатерине, поручившей прапрадеду моему все императорские театры. Можно сказать, князь Николай – основатель русской сцены, устоявшей вопреки всем историческим потрясениям. В России рухнуло все, кроме нее.

Первым открыл Европе русское искусство Сергей Дягилев, и благодаря ему наши опера и балет прославились во всем мире. Незабываемы их первые выступления в парижском Шатле в 1909 году. Дягилеву удалось собрать лучших артистов: был тут Шаляпин – незабвенный Годунов, художники Бакст и Бенуа, танцовщик Нижинский, балерины Павлова и Карсавина, и многие,

многие! Русские артисты мгновенно прославились в мире, как в России, у иных появились ученики, школа русского императорского балета сохраняется и по сей день. Правда, актеры наши, вообще русский драматический театр известен Западу мало. Только в России могли быть поняты наша классика и фольклор. Пьесы Островского, Чехова, Горького русские любили всегда. Мы с братом Николаем не пропускали ни одного хорошего спектакля и с иными замечательными актерами знакомы были лично.

В Петербурге мы жили на Мойке. Дом наш был особенно замечателен своими пропорциями. Прекрасный внутренний полукруглый двор с колоннадой переходил в сад.

Особняк этот подарила императрица Екатерина прабабке моей княгине Татьяне. Произведения искусства наполняли его во множестве. Дом был похож на музей. Ходи и смотри до бесконечности. К несчастью, дед затеял перестройку и многое, увы, испортил. Две-три залы, гостиных да галереи с картинами сохранили дух XVIII века. Галереи эти вели в домашний театрик в стиле Людовика XV. После спектакля ужинали прямо в фойе, если, разумеется, не было званого вечера, когда собиралось порой две тысячи гостей. Тогда ужин подавали в галереях, а в фойе накрывали стол для императорского семейства. Всякий такой прием потрясал иностранцев. Не верили они, что в семейном доме можно накормить стольких людей, и на всех хватит и горячих кушаний, и севрского фарфора, и столового серебра.

Павел, наш старый дворецкий, никому бы не уступил чести служить государю. Но был он уже очень стар, слаб глазами и часто проливал вино на скатерть. Наконец старик ушел на покой, и, когда государь приезжал последний раз на прием на Мойку, от Павла это скрыли. Государь заметил, что старого дворецкого нет, и с улыбкой сказал матушке, что на этот раз, надеется, скатерть будет чистой. Не успел он это сказать, как в дверях, точно призрак, возник старик Павел. В парадной ливрее и на дрожащих ногах он доковылял до государя и за креслом его простоял весь вечер. Николай, заботясь о чистоте матушкиной скатерти, бережно поддерживал руку старика, когда тот наливал ему вино.

Павел прослужил у нас более шестидесяти лет. Знал он всех знакомых отца и каждого обслуживал исходя из собственного к нему отношения, нимало не считаясь с чинами и титулами. Кого не любит – тому ни за что не нальет вина и не подаст десерта. Когда генерал Куропаткин, разбитый японцами в 1905 году, приехал к нам обедать, старик Павел, выказывая ему презрение, встал к нему спиной, плюнул и наотрез отказался обслужить его

за столом.

Помню старшего швейцара Григория с жезлом и в треуголке. К несчастному генералу он был более милостив. В войну 1914 года приехала к нам вдовствующая императрица. Григорий подошел и сказал ей: «Почему, ваше величество, не назначили в армию генерала Куропаткина? Ему теперь самое время искупить прошлое». Императрица пересказала разговор сыну. Две недели спустя мы узнали, что генерал Куропаткин получил дивизию!

Прислуга наша была преданна и усердна. В пору, когда знали одни свечи да масляные лампы, многие наши люди занимались только освещением. Когда изобрели электричество, старший лакей-«осветитель» так расстроился, что спился и умер.

Слуги были у нас всех мастей: арабы, татары, калмыки, негры щеголяли в своих пестрых платьях. Командовал всеми Григорий Бужинский. В полной мере доказал он, как верен, когда нас явились грабить большевики. Они велели ему показать, где мы прячем золото и ценности. Григорий умер от пыток, но ничего не сказал. Несколько лет спустя вещи нашли. Жертва его оказалась напрасной, однако ничуть не поблекла. И в этих записках хочу воздать должное героической его верности. Он умер ужасной смертью, но хозяев не предал.

Подвал в доме на Мойке был настоящим лабиринтом. Эти толстостенные с глухими дверьми помещения не боялись ни пожара, ни наводнения. Находились там и винные погреба с винами лучших марок, и кладовые с коробами столового серебра и драгоценных сервизов для званых вечеров, и хранилища скульптур и полотен, не нашедших место в картинных галереях и залах. Это «подвальное» искусство могло бы составить музей. Я потрясен был, когда увидел их в ящиках, в пыли и забвении.

В бельэтаже находились отцовские апартаменты, окнами на Мойку. Комнаты были некрасивы, но уставлены всякими редкостями. Картины, миниатюры, фарфор, бронза, табакерки и проч. В ту пору в обжедарах я не смыслил, зато обожал, видимо наследственно, драгоценные камни. А в одной из горок стояли статуэтки, которые любил я более всего: Венера из цельного сапфира, рубиновый Будда и бронзовый негр с корзиною брильянтов. Рядом с отцовым кабинетом помещалась «мавританская» зала, выходившая в сад. Мозаика в ней была точной копией мозаичных стен одной из зал Альгамбры. Посреди бил фонтан, вокруг стояли мраморные колонны. Вдоль стен диваны, обтянутые персидским штофом. Зала мне нравилась восточным духом и негой. Частенько ходил я сюда помечтать. Когда отца не было, я устраивал тут живые картины. Созывал всех слуг-мусульман и сам наряжался султаном. Нацеплял матушкины

украшения, усаживался на диван и воображал, что я – сатрап, а вокруг – рабы... Однажды придумал я сцену наказания провинившегося невольника. Невольником назначил Али, нашего лакея-араба. Я велел ему пасть ниц и просить пощады. Только я замахнулся кинжалом, открылась дверь и вошел отец. Не оценив меня как постановщика, он рассвирепел. «Все вон отсюда!» – закричал он. И рабы с сатрапом бежали. С тех пор вход в мавританскую залу был мне воспрещен.

Напротив отцовских апартаментов последней в анфиладе была музыкальная гостиная, где хранили коллекцию скрипок, но музыкою не занимались.

Матушкины покои с окнами в сад помещались на втором этаже. Тут же парадные залы, гостиные, ванные комнаты, галереи с картинами и в самом конце – театр. Бабушка, мать отца, брат мой и я жили на третьем этаже. Тут же находилась домашняя часовня.

Главный уют был в матушкиных комнатах. Излучали они тепло ее сердца, свет ее красоты и изящества. В спальне, обтянутой голубым узорчатым шелком, стояла мебель розового дерева с маркетри. В широких горках красовались броши и ожерелья. Когда случались приемы, двери были нараспашку, любой мог войти полюбоваться дивными матушкиными брильянтами. Эта спальня была со странностью: порой раздавался оттуда женский голос и всех окликал по имени. Прибегали горничные, решив, что зовет их именно хозяйка, и пугались до смерти, увидав, что спальня пуста. Мы с братом тоже слыхали не раз эти странные зовы.

Мебель малой гостиной когда-то принадлежала Марии Антуанетте. На стенах висели картины Буше, Фрагонара, Ватто, Юбера Робера и Грёза. Хрустальная люстра прибыла из будуара маркизы де Помпадур. Бесценные безделушки стояли на столах и в горках: табакерки с эмалью и золотом, аметистовые, топазовые, нефритовые в золотой оправе с брильянтовой инкрустацией пепельницы. В вазах всюду цветы. Матушка обыкновенно сидела именно в этой гостиной. Когда никого не было, вечерами мы с братом здесь с нею ужинали. Круглый стол накрывали на три прибора и ставили хрустальные канделябры. В камине полыхало пламя, а огоньки свечей вспыхивали в перстнях на тонких матушкиных пальцах. Не могу без волнения вспомнить об этих счастливых вечерах в маленькой уютной гостиной, где прекрасно все – и хозяйка, и обстановка. Да, это были минуты настоящего счастья. Знали бы мы, какие несчастья придут за ним!

К Рождеству на Мойке начиналась суматоха. Готовились целыми днями, на стремянках вместе с прислугой наряжали

высоченную елку, до потолка. Сияние стеклянных шаров и серебряного дождя зачаровывало наших слуг-азиатов. Прибывали поставщики, доставляли нам подарки для друзей, и суматоха росла. В праздничный день являлись гости – почти все дети, наши ровесники, приносили с собой чемоданы, чтобы унести подарки. Подарки нам раздавали, потом угощали горячим шоколадом с пирожными и вели в игровой зал на «русские горки».

Было ужасно весело, но кончался праздник почти всегда потасовкой. Я был тут как тут и с наслаждением колотил ненавистных, к тому ж и мозгляков.

На другой день была елка для прислуги с семьями. Матушка за месяц до праздника опрашивала наших людей, кому что подарить. Молодой араб Али, сыгравший моего невольника в том памятном представлении в мавританской зале, попросил однажды «красивый штука». Этой «штукой» была диадема с бурмитским зерном и брильянтами, которую надевала матушка, едучи на балы в Зимний. Али оцепенел, увидя матушку, одетую всегда просто, вдруг в парадном платье и ослепительных драгоценностях. Видимо, он принял ее за божество. Он пал перед ней ниц. Насилу его подняли.

Пасху праздновали торжественно. Всю Страстную близкие друзья и почти вся прислуга были с нами на службе в нашей домашней часовне, а в субботу на Всенощную шли в большой храм. После разговлялись. Гостей собиралось множество. Начинался пир горой: молочные поросята, гуси, фазаны, реки шампанского. Вносились куличи в венчике из бумажных роз, обложенные крашеными яйцами. На другое утро мы мучились животами.

После пира отец с матерью и мы с братом шли в людскую. Матушка следила, чтобы людей кормили хорошо, и слуги ели почти все то же, что и хозяева. Мы поздравляли всех и христосовались.

У отца имелась прихоть: менять столовые. Чуть не каждый день мы обедали в новом месте, что прибавляло слугам хлопот. Мы с Николаем порой бежали по всему дому в поисках, где накрыто. И опоздать были рады-радехоньки.

Отец с матерью держали открытый стол. Сколько едоков соберется к обеду, в точности не знали. Многие являлись к столу целыми семьями, ибо нуждались и питались то в одном, то в другом достаточном доме. Этих извинить было можно, других – навряд. Одна богатая старуха домовладелица ела только в гостях. Приезжала с опозданием и, войдя, заявляла с апломбом: «Волки сыты, теперь поем спокойно».

Генерал Бернов, о котором я рассказывал выше, и матушкина приятельница княгиня Вера Голицына люто ненавидели друг друга и ругались при каждой встрече. Однажды вечером генерал был сильно не в духе и не захотел отвезти княгиню домой, хотя до ужина обещал. «Бог с вами, – сказала княгиня. – Дурак натощак и сытый – набитый». У Голицыной был артрит правого большого пальца, и она то и дело сосала его, говоря, что от этого болит меньше. И руку ее целовать я отказывался. Замуж она не вышла и о том жалела. «Жаль, что я старая девка, – твердила она матушке. – Так и не узнаю, как это бывает».

В Петербурге была у нас знакомая пожилая дама, вдова военачальника, вечно влюбленная – непременно в гвардейского генерала, командира полка. Мало, что верна, еще и страшна как смерть, о взаимности и думать нечего. Вдобавок ужасно белилась и румянилась и носила рыжий парик. Когда отца назначили на место генерала, вкупе с полком унаследовал он и непременную влюбленность дамы. Старуха ходила за ним по пятам, стояла у дверей клуба, где отец бывал после полудня, и, заметив его в окне, посылала ему воздушные поцелуи. Любовные письма ему она подписывала «твоя Фиалка». Летом в собственной карете она ездила за ним на маневры.

Великий князь Николай Михайлович был обожаем вдвойне – сразу двумя сестрами, старыми девицами. Каждое утро старухи прогуливались по набережной у его дворца. Одеты были одинаково, позади лакей в ливрее нес их меховые накидки, галоши, зонтики и двух облезлых мопсов. Когда великий князь выезжал и возвращался, старые идиотки делали глубокий реверанс.

Другие сестрицы, провинциалки, обе тоже незамужние, уродины и богачки, решили покорить Петербург. Вознамерясь принимать высшее общество, купили они в Петербурге блестящий особняк. Обставили его с крикливой роскошью, наняли модного повара и миллион слуг, одели их в яркие ливреи и немедленно разослали приглашения всей столичной знати. В пригласительном билете, полученном отцом с матерью, писано было: «Дорогие князь с княгиней, полноте сидеть дома да грызть сухари. Будьте к нам на ужин в субботу в восемь». Родители пошли смеха ради. Не мудрено, что встретили они там всех своих друзей.

Разумеется, петербургский свет состоял не из одних шутов. Заезжие иностранцы в один голос твердили, что в России полно даровитых и образованных людей, что беседовать с ними приятно и интересно. А стольких чудаков и клоунов я знал потому лишь,

что с ними весело было отцу. Дивлюсь матушкиным кротости и терпению: вечно принимай эту братию и всем улыбайся. Но тут я, признаться, весь в отца. Меня влекли, да и теперь влекут, всякие шуты гороховые, сумасброды и психопаты. По-моему, в их чудачествах – непосредственность и воображение, которых так не хватает людям порядочным.

Каждую зиму в Петербурге у нас гостила моя тетка Лазарева. Привозила она с собою детей, Мишу, Иру и Володю – моего ровесника. Я уже писал, как отчаянно шалили мы с ним. Последняя шалость разлучила нас надолго.

Было нам лет двенадцать-тринадцать. Как-то вечером, когда отца с матерью не было, решили мы прогуляться, переодевшись в женское платье. В матушкином шкафу нашли мы все необходимое. Мы разрядились, нарумянились, нацепили украшения, закутались в бархатные шубы, нам не по росту, сошли по дальней лестнице и, разбудив матушкиного парикмахера, потребовали парики, дескать, для маскарада.

В таком виде вышли мы в город. На Невском, пристанище проституток, нас тотчас заметили. Чтоб отделаться от кавалеров, мы отвечали по-французски: «Мы заняты» – и важно шли дальше. Отстали они, когда мы вошли в шикарный ресторан «Медведь». Прямо в шубах мы прошли в зал, сели за столик и заказали ужин. Было жарко, мы задыхались в этих бархатах. На нас смотрели с любопытством. Офицеры прислали записку – приглашали нас поужинать с ними в кабинете. Шампанское ударило мне в голову. Я снял с себя жемчужные бусы и стал закидывать их, как аркан, на головы соседей. Бусы, понятно, лопнули и раскатились по полу под хохот публики. Теперь на нас смотрел весь зал. Мы благоразумно решили дать деру, подобрали впопыхах жемчуг и направились к выходу, но нас нагнал метрдотель со счетом. Денег у нас не было. Пришлось идти объясняться к директору. Тот оказался молодцом. Посмеялся нашей выдумке и даже дал денег на извозчика. Когда мы вернулись на Мойку, все двери в доме были заперты. Я покричал в окно своему слуге Ивану. Тот вышел и хохотал до слез, увидав нас в наших манто. Наутро стало не до смеха. Директор «Медведя» прислал отцу остаток жемчуга, собранного на полу в ресторане, и… счет за ужин!

Нас с Володей заперли на десять дней в наших комнатах, строго запретив выходить. Вскоре тетка Лазарева уехала, увезла детей, и несколько лет Володи я не видел.

Глава 8

Москва – Наша жизнь в Архангельском – Художник Серов – Таинственное явление – Соседи – Спасское

Москву я любил больше Петербурга. Москвичей почти не затронуло чужеземное влияние, и остались они настоящими русаками. Москва была истинной столицей Святой Руси.

Древние дворянские роды в своих роскошных городских и деревенских усадьбах жили по старинке. Они почитали обычай и сторонились петербуржцев, называя их чужеземцами.

Богатое купечество, все от сохи, составляло в Москве особый класс. В купеческих домах, больших и красивых, имелись произведения искусства, порой ценнейшие. Купцы ходили в косоворотках, плисовых штанах и сапогах бутылками, а купчихи одевались у лучших парижских портных, носили брильянты и элегантностью могли поспорить с петербургскими гранд-дамами.

В Москве все дома были открыты. Гостя тотчас вели в столовую к столу с закусками и водками. Хочешь не хочешь – изволь угощаться.

У всех богатых семей было имение под Москвой. Жили там по-старинному хлебосольно. Гость приезжал на день и мог остаться навек, и потомков оставить на житье, до седьмого колена.

Москва была как двуликий Янус. Один лик – церкви яркие, златоглавые, море свечей в храмах у икон, толстые стены монастырские, толпы молельцев. Другое лицо – шумный, веселый город, место утех и нег, вертеп; на улицах пестрая толпа, едут тройки, звенят колокольчики, мчатся лихачи, дорогие извозчики с пышной упряжью, молодые, богато одетые, порой сводники и товарищи своим седокам.

Эта смесь благочестия и распутства – чисто московская. Москвичи грешили так грешили, а молились так молились.

Москва была не только торгово-промышленной: умов и талантов ей тоже не занимать.

Оперная и балетная труппы Большого были не хуже, чем в Петербурге. В Малом театре ставили то же, что и в Александринке, а играли – лучше. В московских актерских семьях традиции передавались из поколения в поколение. В конце прошлого века Станиславский основал Художественный театр. Помогали гениальному режиссеру не менее замечательные Немирович-Данченко и Гордон Крэг. Нюх на артиста помог Станиславскому собрать первоклассные силы. Великие актеры

исполняли у него ничтожные роли. На сцене нет условностей: жизненно все.

Я в Москве был страстным театралом. Езжал и к цыганам в Стрельну и Яр: пели там лучше, чем в Петербурге. Кто хоть раз слышал Варю Панину, никогда не забудет. До старости эта некрасивая, вечно в черном, цыганка брала публику за душу низким волнующим голосом. Под конец жизни она вышла за восемнадцатилетнего юнкера. Умирая, Панина просила брата сыграть ей на гитаре ее коронную «Лебединую песнь» и умерла, как только он доиграл.

Наш московский дом был построен в 1551 году царем Иваном Грозным. В ту пору вокруг был лес, и царь Иван стоял тут во время охоты. Подземный ход в несколько верст связывал дом с Кремлем. Строили дом зодчие Барма и Постник, они же построили потом собор Василия Блаженного, и царь, чтобы не повторили они подобного чуда, ослепил их, отрубил им руки и вырвал язык. Зверствовал царь Иван, а после вечно сокрушался и каялся. К тому же он был умен и тонкий политик.

Жил царь в сем лесном доме обыкновенно недолго. Пировал, а потом возвращался подземным ходом в Кремль. Ход расходился на несколько выходов, так что царь мог явиться в любое время в любом месте, где ожидаем не был.

Собрал он библиотеку, какой не было ни у кого в мире. Чтобы уберечь ее от пожаров, в те времена частых, он замуровал ее под землей. Историки свидетельствуют, что книги и по сей день там. Только пойди сыщи их после всех обвалов и оползней.

После смерти Ивана дом пустовал полтора столетия. В 1729 году Петр I подарил его князю Григорию Юсупову.

В конце прошлого века родители мои обновляли дом и обнаружили тот самый подземный ход. Спустившись туда, они увидели длинный коридор и скелеты, прикованные цепями к стенам.

Дом этот был в старомосковском вкусе крашен ярко-желтой краской. Спереди – парадный двор, сзади – сад. Залы сводчатые, с картинами на стенах. В самой большой зале коллекция золотых и серебряных вещей и портреты царей в резных рамах. Остальное – горницы, темные переходы, лесенки, ведущие в подземелье. Толстые ковры заглушали шаг, и тишина прибавляла дому таинственности.

Все тут напоминало о царе-изверге. На третьем этаже, на месте часовни, были раньше зарешеченные ниши со скелетами. В детстве я думал, что души замученных живут где-то здесь, и вечно боялся встретиться с привидением.

Мы не любили этого дома. Слишком живо было в нем кровавое прошлое. Подолгу мы в Москве никогда не жили. Когда отца назначили московским генерал-губернатором, мы заняли флигель, связанный с основным зданием зимним садом. Дом остался для балов и приемов.

Иные москвичи были большими оригиналами. Отец любил таких, с ними он не скучал. В основном это были члены всяческих обществ, коих отец был почетным председателем, – собачники, птичники. Были даже пчеловоды – все из секты скопцов. Главный у них, старик Мочалкин, часто приходил к отцу. Мне он внушал ужас бабьим лицом и тонким голосом. Но когда отец привел меня в их пчелиный клуб, оказалось совсем не страшно. Принять отца собралось человек сто. Угостили нас вкусным обедом, потом устроили концерт. Пели пчеловоды – сопрано. Словно сотня старушек в мужском платье распевает народные песни детскими голосочками. Было трогательно, и смешно, и грустно.

Помню еще чудака – толстый и лысый человек по фамилии Алферов. Прошлое его темно. Был он тапером в борделе, потом продавцом птиц и чуть не угодил в тюрьму за то, что продал как редкую птицу обычную курицу, раскрасив ее всеми цветами радуги.

Родителям моим он выражал величайшее почтение и, когда приходил, ждал на коленях, пока они не выйдут. Однажды слуги забыли доложить о нем, и Алферов простоял на коленях посреди залы час. Если к нему обращались за обедом, он вставал и на вопрос отвечал стоя. Меня это смешило, и я стал спрашивать его нарочно. К нам он надевал старый сюртук, когда-то, видимо, черный, а теперь – окраски неопределенной. Должно быть, в нем он играл когда-то ритурнели веселым девицам. Твердый высокий воротничок доходил ему до ушей. На груди висела большая серебряная медаль в честь коронации Николая II. Под ней – медали поменьше, полученные за якобы редких птиц.

Иногда отец водил нас к батюшке, державшему соловьев. Бесчисленные клетки были подвешены к потолку. Батюшка стучал какими-то собственного изготовления инструментами, и соловьи начинали петь. Он махал руками, как дирижер, мог остановить, продолжить и даже велеть петь по очереди. Никогда я не видел ничего подобного.

В Москве, как и в Петербурге, родители жили открытым домом. Была одна особа, известная скупердяйка. Напрашивалась ко всем на обед и питалась по гостям всякий день, кроме субботы. Хозяйке дома льстила до неприличия, хваля ее кушания, и просила позволения унести остатки, всегда обильные. Даже не

дожидаясь согласия, особа подзывала лакея и приказывала отнести еду к себе в карету. В субботу она созывала всех к себе и кормила их тем, что насобирала у них же в течение недели.

На лето мы уезжали в Архангельское. Многие друзья ехали проводить нас, оставались погостить и загащивались до осени.

Любил я гостей или нет – зависело от их отношения к архангельской усадьбе. Я терпеть не мог тех, кто к красоте ее был бесчувствен, а только ел, пил да играл в карты. Их присутствие я считал кощунством. От таких я всегда убегал в парк. Бродил среди деревьев и фонтанов и без устали любовался счастливым сочетанием природы и искусства. Эта красота укрепляла, успокаивала, обнадеживала. Иногда я доходил до театра. Забирался в ложу для почетных гостей и воображал, что сижу на спектакле, что лучшие артисты поют и танцуют для меня одного. Я представлял себя прапрадедом князем Николаем и полновластным хозяином Архангельского. Порой сам поднимусь на сцену и пою, будто для публики. Иногда до того забудусь, что думаю, меня слушают, затаив дыхание. Очнусь – смеюсь над собой, и в то же время грустно, что чары рассеялись.

Наконец у Архангельского нашелся обожатель в моем вкусе – художник Серов, в 1904 году приехавший в усадьбу писать с нас портреты.

Это был замечательный человек. Из всех великих людей искусства, встреченных мною в России и Европе, он – самое дорогое и яркое воспоминание. С первого взгляда мы подружились. В основе нашей дружбы лежала любовь к Архангельскому. В перерывах между сеансами я уводил его в парк, усаживал в лесу на свою любимую скамейку, и мы всласть говорили. Идеи его заметно влияли на мой юный ум. А впрочем, считал он, что, если бы все богатые люди походили на моих родителей, революция была бы ни к чему.

Серов не торговал талантом и заказ принимал, только если ему нравилась модель. Он, например, не захотел писать портрет великосветской петербургской красавицы, потому что лицо ее счел неинтересным. Красавица все ж уговорила художника. Но, когда Серов приступил к работе, нахлобучил ей на голову широкополую шляпу до подбородка. Красавица возмутилась было, но Серов отвечал с дерзостью, что весь смысл картины – в шляпе.

По натуре он был независим и бескорыстен и не мог скрыть того, что думает. Рассказал мне, что, когда писал портрет государя, государыня поминутно досаждала ему советами. Наконец он не выдержал, подал ей кисть и палитру и попросил докончить за него.

Это был лучший портрет Николая II. В 17-м, в революцию, когда озверевшая толпа ворвалась в Зимний, картину изорвали в клочки. Один клочок подобрал на Дворцовой площади и принес мне знакомый офицер, и реликвию эту я берегу, как зеницу ока.

Серов был доволен моим портретом. Взял его у нас Дягилев на выставку русской живописи, организованную им в Венеции в 1907 году. Картина принесла ненужную известность мне. Это не понравилось отцу с матерью, и они просили Дягилева с выставки ее забрать.

По воскресеньям после обедни приходили крестьяне с детьми. Дети угощались сластями, их родители излагали просьбы и жалобы. Крестьян внимательно выслушивали и почти всегда удовлетворяли.

В июле проходили народные праздники с хороводами и пением. Любили их все. Мы с братом были на них непременно и ждали их с нетерпением каждый год.

Простота наших отношений с крестьянами, наше братство при всей их почтительности поражало гостей-иностранцев. Гостивший у нас художник Франсуа Фламан был этим совсем потрясен. Архангельское так полюбилось ему, что, уезжая, он сказал матушке: «Княгиня, как покончу рисовать, позвольте наняться к вам на должность почетной архангельской свиньи!»

Однажды в конце лета мы с Николаем стали очевидцами таинственного явления, так никогда и не объяснившегося. Собирались мы с братом к ночному московскому поезду, уезжая в Петербург. После ужина простились с родителями, сели в тройку и поехали на вокзал. Дорога шла через Серебряный бор, глухой и безлюдный на версты и версты. Ярко светила луна. Вдруг посреди леса лошади встали на дыбы. Впереди показался поезд и тихо прошел сквозь деревья. В вагонах горел свет, у окон сидели пассажиры, лица их были различимы. Наши люди перекрестились. «Нечистая сила!» – шепнул один. Мы с Николаем обомлели: железной дороги поблизости не было и в помине. Но видело поезд нас четверо!

Часто сообщались мы с соседями, великими князем и княгиней, Сергеем Александровичем и Елизаветой Федоровной. Жили они в Ильинском. Усадьба их была устроена со вкусом, в духе английского сельского дома. В гостиных стояли кресла с кретоновой обивкой и многочисленные вазы с цветами. Свита великого князя проживала в парковых домиках.

В Ильинском, ребенком, встретился я с великим князем Дмитрием Павловичем и сестрой его, великой княжной Марией Павловной. Оба они жили у дяди с теткой. Мать их, греческая

принцесса Александра, давно умерла, а отцу, великому князю Павлу Александровичу пришлось покинуть Россию, когда заключил он морганатический брак с г-жой Пистолькорс, впоследствии княгиней Палей.

Двор великого князя Сергея Александровича был весьма пестр. Встречались личности удивительные. Из самых забавных – княгиня Васильчикова, гренадерского роста, весом в двенадцать пудов. Она говорила басом и ругалась, как извозчик. Хвасталась своей силой с утра до вечера. Случись кто рядом – схватит его и поднимет с легкостью, как младенца, под смех публики и самого «младенца». Отец постоянно становился ее жертвой, но шутки этой не любил. А вот князь и княгиня Олсуфьевы были милейшей четой. Княгиня, в ту пору гофмейстерина, походила на маркизу XVIII века. Супруг ее был лыс, пухл и глух, как тетерев. Когда надевал он, генерал, свой гусарский мундир, сабля его, больше, чем он сам, волочилась по земле с адским грохотом. Потому княгиня вечно тревожилась за его саблю в церкви. Вдобавок генерал не мог спокойно стоять на месте, обходил иконы – многочисленные в русском храме, – кои, как принято, перекрестясь, целовал. До каких не мог дотянуться, тем слал воздушный поцелуй. Нимало не смущаясь святостью места, он громовым голосом заговаривал с причтом и прихожанами. Все смеялись вместе с попом, а княгиня страдала.

Другими соседями были Голицыны, продавшие моему прадеду Архангельское. Княгиня Голицына, бабушкина сестра, приходилась отцу теткой. Родила она много детей, но рано овдовела. Сидела она всегда на террасе в кресле, внушительная и важная. Носила платье с дорогим кружевом и чепчик и даже в деревне надевала корсет и душилась. Когда я приходил к ней, любил взять ее руку и вдохнуть дивный аромат духов.

Они с бабушкой были совсем разные и спорили по каждому поводу. Бабушка, как я писал, была оригиналкой и с причудами. Сестра поминутно корила ее за небрежный вид и манеры сорванца. Бабушка в ответ называла ее сушеной мумией.

Еще одни соседи, князь с княгиней Щербатовы, принимали гостей на редкость радушно. Дочь их Мария, красавица и умница, вышла впоследствии за графа Чернышова-Безобразова. Она – из самых наших близких друзей. Ни ум, ни красота ее от времени нимало не поблекли.

Недалеко от Архангельского на холме стоял дом, похожий на рейнский замок, ничуть не сообразуясь с окружающей природой. Хозяйка дома была стройна, но лицом так уродлива, что звали ее

«обезьянья жопа». Всем и каждому она сообщала, что по утрам принимает ванны из роз.

Останкино и Кусково принадлежали графам Шереметевым, последним потомкам старинного русского рода. Время над этими усадьбами было невластно. Дворцы, бесценная мебель, вековые деревья, глубокие пруды остались такими, как были при первых хозяевах.

Одним из самых старых наших имений было подмосковное Спасское. Именно там жил князь Николай Борисович перед тем, как купил Архангельское.

Потом об имении словно забыли, не знаю почему. В 1912 году я побывал в нем. Оно было заброшенным совершенно.

На пригорке близ елового бора стоял дворец с колоннадой. Казалось, он прекрасно вписывается в пейзаж. Но как только я приблизился, то пришел в ужас: все сплошь – развалины! Двери сорваны, стекла разбиты. Потолки рушатся, на полу оттого груды мусора и щебенки. Кое-где остатки былой роскоши: мраморная штукатурка с лепниной, яркая настенная роспись, вернее, также остатки. Я прошелся по анфиладе. Залы – один другого прекрасней, а куски колонн лежат на полу, как отрубленные руки. Части деревянной обшивки эбенового, розового и фиолетового дерева с маркетри давали понятие о былом декоре!

Ветер гулял по залам, гудел у толстых стен, вызывая из развалин эхо. Он был тут как дома. Мне стало не по себе. Филины на балках таращились на меня круглыми глазами и словно говорили: «Смотри, что стало с домом предков твоих!»

Ушел я в тоске, думая, что от великого богатства случаются порой великие ошибки.

Глава 9

Своенравие – У цыган – Мой коронованный поклонник – Дебют в кабаре – Маскарады – Бурное объяснение с отцом

Характер мой портился. Матушка избаловала меня. Я стал ленив и капризен. Брату Николаю в ту пору исполнился двадцать один год, он учился в университете. Меня же родители решили отдать в военную школу. На вступительном экзамене я поспорил с батюшкой. Он велел мне назвать чудеса Христовы. Я сказал, что Христос накормил пять человек пятью тысячами хлебов. Батюшка, сочтя, что я оговорился, повторил вопрос. Но я сказал, что ответил правильно, что чудо именно таково. Он поставил мне кол. Из школы меня выгнали.

В отчаянии родители положили отдать меня в гимназию Гуревича, известную строгостью дисциплины. Звали ее «гимназия для двоечников». Директор всеми правдами и неправдами укрощал непокорных. Узнав о родительском выборе, я решил, что нарочно провалюсь, как в военном училище. Мне не повезло. Гимназия Гуревича была последней родительской надеждой. По их просьбе Гуревич взял меня без экзаменов.

Сколько хлопот я доставлял бедным отцу с матерью! Сладу со мной не было. Принуждения я не терпел. Если что хочу – вынь да положь; потакал своим прихотям и жаждал воли, а там хоть потоп. Я мечтал о яхте, чтобы плыть, куда вздумается. Конечно, мне нравились красота, роскошь, удобства, яркие благоуханные цветы, но тянуло меня к кочевой жизни далеких предков. Я словно предчувствовал тот неведомый, но втайне желанный мир. Только несчастье да еще благотворное влияние высокой души помогли мне войти в него.

Когда я поступил в гимназию, брат зауважал меня и стал относиться как к ровне. Мы заговорили по душам. У брата была любовница Поленька, девушка из простых, которую он обожал. Жила она в квартирке неподалеку от нашего дома. У нее мы проводили вечера в компании со студентами, артистами и веселыми девицами. Николай обучил меня цыганским песням, и мы с ним пели дуэтом. В ту пор голос мой еще не ломался, я мог петь сопрано. Здесь царила атмосфера юности и веселья, какой так не хватало на Мойке. Родительское окружение – в основном военные да всякие бездари и нахлебники – казалось нам смертельно скучным. Роскошный особняк был создан для балов и приемов. Но домашний театр и парадные залы открывались у нас

редко. В блестящей обстановке жили мы жизнью мрачной, в огромном доме теснились в нескольких комнатах. Не то у Поленьки. Скромная Поленькина гостиная с самоваром, водкой и закуской означала свободу и веселье. Новую шальную жизнь я полюбил и никаких бед от нее не ждал.

Однажды на одном из Полиных вечеров мы, напившись, вздумали продолжить гульбу у цыган. Я тогда обязан был носить гимназический мундир, потому испугался, что ночью меня ни в одно веселое заведение, тем более к цыганам, не пустят.

Поленька решила переодеть меня женщиной. В два счета она одела и раскрасила меня так, что и родная мать не узнала бы.

Цыгане жили отдаленно, особняком, в так называемой Новой Деревне в Петербурге и у Грузин в Москве.

Совершенно особая атмосфера царила у этих смуглокожих, черноволосых и яркоглазых людей. Мужчины носили красную косоворотку, черный кафтан с золотой вышивкой, галифе, высокие сапоги и черную широкополую шляпу. Женщины ходили в пестром. Надевали длинные широкие юбки в сборку, на плечи – шаль, голову обматывали платком. Вечером на публике – в том же, только накинут шаль подороже да нацепят дикарские побрякушки – мониста и тяжелые золотые и серебряные браслеты. У цыганок была легкая походка и кошачья фация. Многие – красавицы, но суровы: ухажеров признавали только обещавших жениться. Жили цыгане патриархальной жизнью, блюли обычаи. И ходили к ним не за приключениями, а за пением.

Цыгане принимали публику в зале с длинными диванами вдоль стен, креслами, столиками и стульями в несколько рядов посередке. Освещение яркое. Цыгане не любили петь впотьмах. Хотели они, чтоб видна была их мимика, очень к ним шедшая. Слушатели-завсегдатаи приходили с шампанским и сами назначали хор и певцов.

Цыганские песни не записывались. С незапамятных времен они передавались от поколения к поколению. Одни – грустные, чувствительные, ностальгические. Другие – веселые, залихватские. Когда пели застольную, цыганка обходила публику с серебряным подносом. На подносе – бокалы шампанского. Слушатель брал бокал и пил до дна.

Хор сменял один другой, и пели без передышки. Иногда пускались в пляс. Щелкание каблуков делало музыку еще зажигательней и ритмичней. Особый дух, создаваемый песнями, танцами и красавицами с дикими глазами, смущал душу и чувства. Околдованы бывали все. Зайдет человек на часок, застрянет на неделю и спустит все, что имеет.

Прежде я не слыхал цыган. Вечер стал для меня открытием.

Знал я, что хорошо поют, но не знал, что так чарующе. Понял я тех, кто разорялся на них.

А еще я понял, что в женском платье могу явиться куда угодно. И с этого момента повел двойную жизнь. Днем я – гимназист, ночью – элегантная дама. Поленька наряжала меня умело: все ее платья шли мне необычайно.

Каникулы мы с братом нередко проводили в Европе. В Париже останавливались в «Отель дю Рэн» на Вандомской площади, в комнатах на первом этаже. Входи и выходи в окно, не надо пересекать вестибюля.

Однажды на костюмированный бал в Оперу мы решили явиться парой: надели – брат домино, я – женское платье. До начала маскарада мы пошли в театр Де Капюсин. Устроились в первом ряду партера. Вскоре я заметил, что пожилой субъект из литерной ложи настойчиво меня лорнирует. В антракте, когда зажегся свет, я увидел, что это король Эдуард VII. Брат выходил курить в фойе и, вернувшись, со смехом рассказал, что к нему подошел напыщенный тип: прошу, дескать, от имени его величества сообщить, как зовут вашу прелестную спутницу! Честно говоря, мне это было приятно. Такая победа льстила самолюбию.

Прилежно посещая кафешантаны, я знал почти все модные песни и сам исполнял их сопрано. Когда мы вернулись в Россию, Николай решил, что грешно зарывать в землю мой талант и что надобно меня вывести на сцену «Аквариума», самого шикарного петербургского кабаре. Он явился к директору «Аквариума», которого знал, и предложил ему прослушать француженку-певичку с последними парижскими куплетами.

В назначенный день в женском наряде явился я к директору. На мне были серый жакет с юбкой, чернобурка и большая шляпа. Я спел ему свой репертуар. Он пришел в восторг и взял меня на две недели.

Николай и Поленька обеспечили платье: хитон из голубого с серебряной нитью тюля. В пандан к тюлевому наряду я надел на голову наколку из страусиных синих и голубых перьев. К тому же на мне были знаменитые матушкины брильянты.

На афише моей вместо имени стояли три звездочки, разжигая интерес публики. Взойдя на сцену, я был ослеплен прожекторами. Дикий страх охватил меня. Я онемел и оцепенел. Оркестр заиграл первые такты «Райских грез», но музыка мне казалась глухой и далекой. В зале из сострадания кто-то похлопал. С трудом раскрыв рот, я запел. Публика отнеслась ко мне прохладно. Но когда я исполнил «Тонкинку», зал бурно зааплодировал. А мое

«Прелестное дитя» вызвало овацию. Я бисировал три раза.

Взволнованные Николай и Поленька поджидали за кулисами. Пришел директор с огромным букетом и поздравлениями. Я благодарил как мог, а сам давился от смеха. Я сунул директору руку для поцелуя и поспешил спровадить его.

Был заранее уговор никого не пускать ко мне, но, пока мы с Николаем и Поленькой, упав на диван, покатывались со смеху, прибывали цветы и любовные записки. Офицеры, которых я прекрасно знал, приглашали меня на ужин к «Медведю». Я не прочь был пойти, но брат строго-настрого запретил мне, и вечер закончили мы со всей компанией нашей у цыган. За ужином пили мое здоровье. Под конец я вскочил на стол и спел под цыганскую гитару.

Шесть моих выступлений прошли в «Аквариуме» благополучно. В седьмой вечер в ложе заметил я родителевых друзей. Они смотрели на меня крайне внимательно. Оказалось, они узнали меня по сходству с матушкой и по матушкиным брильянтам.

Разразился скандал. Родители устроили мне ужасную сцену. Николай, защищая меня, взял вину на себя. Родителевы друзья и наши домашние поклялись, что будут молчать. Они сдержали слово. Дело удалось замять. Карьера кафешантанной певички погибла, не успев начаться. Однако этой игры с переодеванием я не бросил. Слишком велико было веселье.

В ту пору в Петербурге в моду вошли костюмированные балы. Костюмироваться я был мастер, и костюмов у меня было множество, и мужских, и женских. Например, на маскараде в парижской Опере я в точности повторил собой портрет кардинала Ришелье кисти Филиппа де Шампеня. Весь зал рукоплескал мне, когда явился я в кардиналовой мантии, которую несли за мной два негритенка в золотых побрякушках.

Была у меня история трагикомичная. Я изображал Аллегорию Ночи, надев платье в стальных блестках и брильянтовую звезду-диадему. Брат в таких случаях, зная мою взбалмошность, провожал меня сам или посылал надежных друзей присмотреть за мной.

В тот вечер гвардейский офицер, известный волокита, приударил за мной. Он и трое его приятелей позвали меня ужинать у «Медведя». Я согласился вопреки, а вернее, по причине опасности. От веселья захватило дух. Брат в этот миг любезничал с маской и не видел меня. Я и улизнул.

К «Медведю» я явился с четырьмя кавалерами, и они тотчас спросили отдельный кабинет. Вызвали цыган, чтобы создать настроение. Музыка и шампанское распалили кавалеров. Я

отбивался как мог. Однако самый смелый изловчился и сдернул с меня маску. Испугавшись скандала, я схватил бутылку шампанского и швырнул в зеркало. Раздался звон разбитого стекла. Гусары опешили. В этот миг я подскочил к двери, отдернул защелку и дал тягу. На улице я крикнул извозчика и дал ему Поленькин адрес. Только тут я заметил, что забыл у «Медведя» соболью шубу.

И полетела ночью в ледяной мороз юная красавица в полуголом платье и брильянтах в раскрытых санях. Кто бы мог подумать, что безумная красотка – сын достойнейших родителей!

Мои похождения стали, разумеется, известны отцу. В один прекрасный день он вызвал меня к себе. Звал он меня только в самых крайних случаях, потому я струсил. И недаром. Отец был бледен от гнева, голос его дрожал. Он назвал меня злодеем и негодяем, сказав, что порядочный человек мне и руки бы не подал. Еще он сказал, что я – позор семьи и что место мне не в доме, а в Сибири на каторге. Наконец он велел мне выйти вон. После всего он так хлопнул дверью, что в соседней комнате со стены упала картина.

Некоторое время я стоял как громом пораженный. Потом отправился к брату.

Николай, видя мое горе, попытался утешить меня. Тут я высказал все, что имел против него. Напомнил, сколько раз просил его помощи и совета, например в Контрексевиле, после истории с аргентинцем. Заметил ему, что они с Поленькой первые вздумали для смеха вырядить меня женщиной, что именно с того дня моя двойная жизнь началась и все не кончится. Николай признал, что я прав.

По правде, эта игра веселила меня и притом льстила самолюбию, ибо женщинам нравиться я мал был, зато мужчин мог покорить. Впрочем, когда смог я покорять женщин, появились свои трудности. Женщины мне покорялись, но долго у меня не удерживались. Я привык уже, что ухаживают за мной, и сам ухаживать не хотел. И главное – любил я только себя. Мне нравилось быть предметом любви и внимания. И даже это было не важно, но важно было, чтобы все прихоти мои исполнялись. Я считал, что так и должно: что хочу, то и делаю, и ни до кого мне нет дела.

Часто говорили, что я не люблю женщин. Неправда. Люблю, когда есть, за что. Иные значили для меня очень много, не говоря уж о подруге, составившей мое счастье. Но должен признаться, знакомые дамы редко соответствовали моему идеалу. Чаще очаровывали – и разочаровывали. По-моему, мужчины честней и

бескорыстней женщин.

Меня всегда возмущала несправедливость человеческая к тем, кто любит иначе. Можно порицать однополую любовь, но не самих любящих. Нормальные отношения противны природе их. Виноваты ли они в том, что созданы так?

Глава 10

Царское Село – Великий князь Дмитрий Павлович – Ракитное

В Царское Село ездили мы часто. Наш царскосельский дом выстроен был моей прабабкой точною копией того дома, что не приняла она в подарок от Николая I. Дом в стиле Людовика XV, белый внутри и снаружи. Посреди дома большая зала многогранником с шестью дверями – в другие залы, сад и столовую. Мебель также в стиле Луи-Кенз, белая с обивкой из плотного ситца в цветочек. Гардины того же ситца и золотистые шелковые занавеси, от них освещение становится солнечным. Все в доме светло и весело. Воздух благоуханен от цветов и растений. От них же впечатление вечной весны. Вернувшись из Оксфорда, я устроил себе гарсоньерку в мансарде с отдельным входом.

Все в Царском напоминало о Екатерине II: растреллиев Большой дворец, идеальное расположение залов, императрицына личная «янтарная комната», знаменитая Камеронова галерея с мраморными статуями, огромный парк с беседками и купами деревьев, пруды и фонтаны. Прелестный китайский, красный с позолотой, театр, каприз государыни, стоял среди сосен.

В Большом дворце проходили только приемы. Императорская семья жила в Александровском дворце, построенном Екатериной для внука, Александра I. Дворец невелик, но был бы стилен, не изуродуй его молодая императрица неудачною переделкою. Почти всю стенную роспись, мраморную отделку и барельефы заменили панелями из акажу и пошлейшими угловыми диванами. Выписали из Англии мебель от Мэйпла, а старинную убрали.

Когда государь с семьей находился в Царском, рядом селились великие князья и некоторые знатные семейства. Начинались балы, ужины, пикники. Время проводилось весело, в простоте сельской жизни.

В 1912-м и 1913-м годах я часто виделся с великим князем Дмитрием Павловичем, поступившим в конную гвардию. Жил он в Александровском дворце и сопровождал государя всюду. Свободное время проводил он со мной. Виделись мы всякий день и вместе совершали прогулки и пешком, и верхом.

Дмитрий был необычайно хорош собой: высок, элегантен, породист, с большими задумчивыми глазами. Он походил на старинные портреты предков. Но весь из контрастов. Романтик и мистик, глубок и обстоятелен. И в то же время весел и готов на любое озорство. За обаяние всеми любим, но слаб характером и подвержен влияниям. Я был немного старше и имел в его глазах

некоторый авторитет. Он слышал о моей «скандальной жизни» и видел во мне фигуру интересную и загадочную. Мне он верил и мнению моему очень доверял, поэтому делился со мной и мыслями, и наблюдениями. От него я узнал о многом нехорошем и невеселом, что случалось в Александровском дворце.

Государева любовь к нему вызывала много ревности и интриг. Одно время Дмитрий страшно возомнил о себе и возгордился. Я, пользуясь правом старшего, без обиняков сказал ему, что думал. Он не обиделся и приходил ко мне в мансарду по-прежнему, и по-прежнему мы разговаривали часами. Чуть не каждый вечер мы уезжали на автомобиле в Петербург и веселились в ночных ресторанах и у цыган. Приглашали поужинать в отдельном кабинете артистов и музыкантов. Частой нашей гостьей была знаменитая балерина Анна Павлова. Веселая ночь пролетала быстро, и возвращались мы только под утро.

Однажды, когда мы ужинали в ресторане, ко мне подошел офицер императорской свиты, еще молодой человек, красавец, в черкеске с узкой талией и кинжалом на поясе.

– Вряд ли вы узнаете меня, – сказал он, назвавшись. – Но, может, вы помните обстоятельства нашей последней встречи. Они были довольно необычны. Я въехал верхом в столовую в вашем доме в Архангельском. Ваш отец рассердился и выставил меня вон.

Еще бы мне не помнить?! Я сказал ему, что был в восторге от его поступка и обиделся тогда на отца. Я пригласил его к столу. Он сел и просидел с нами долго. Говорить не говорил, но на меня смотрел неотрывно.

– Как вы похожи на свою матушку! – наконец вздохнул он.

По всему, он был взволнован. Резко поднялся и, поклонясь, ушел.

На другой день он телефонировал мне в Царское и спросил, можно ли ему приехать ко мне. Я ответил, что живу у родителей, а, учитывая прошлые обстоятельства, его визит в родительский дом не вполне удобен. Тогда он предложил увидеться в городе. Я согласился и в назначенный вечер отправился с ним к цыганам. Вначале он был молчалив, но песни и шампанское оживили его, он заговорил. Он сказал, что не мог забыть мою матушку и что совершенно потрясен моим сходством с ней. Что хочет встречаться со мной. Он нравился мне. Все же я ответил, что, может, и встретимся где-нибудь, но дружба меж нами невозможна. Больше я его не видел.

Отношения мои с Дмитрием временно прервались. Государь слышал скандальные сплетни на мой счет и на дружбу нашу

смотрел косо. Наконец великому князю запретили встречаться со мной, заодно и за мной установили слежку. Филеры гуляли у нашего дома и ездили следом за мной в Петербург. Однако вскоре Дмитрий вновь обрел свободу. Из государева Александровского дворца он переехал в свой собственный в Петербурге и просил меня помочь ему обустроиться.

Сестра Дмитрия, великая княжна Мария, вышла замуж за шведского принца Вильгельма. Потом она развелась с ним и вышла за гвардейского офицера князя Путятина, с которым развелась также. Я виделся часто с ее единокровными братом и сестрами, детьми отца ее, великого князя Павла Александровича, от второго, морганатического, брака с г-жою Пистолькорс. Жили они в Царском неподалеку от нас. Обе сестры, великие княжны, обладали прекрасным актерским даром, брат их Владимир был также чрезвычайно одарен. Не будь он убит в Сибири с другими членами царской семьи, стал бы, несомненно, одним из лучших поэтов нашего времени. Иные его стихи не хуже пушкинских.

Старшая его сестра Ирина, красивая и умная, похожа была на бабку, императрицу Марию Александровну, жену Александра II. Ирина вышла за шурина моего, князя Федора, от которого родила двоих детей, Ирину и Михаила. Младшая, Наталья, хорошенькая, миленькая, напоминала ласкового котенка. Впоследствии вышла за кутюрье Люсьена Лелонга, вторым браком – за американца Уильсона.

Великий князь Владимир с женой всегда проводили лето в Царском Селе. Великая княгиня точно сошла с картины ренессансного мастера. Она была урожденной герцогиней Мекленбург-Шверинской и по рангу шла сразу за императрицами. Ловкая и умная, она прекрасно соответствовала своему положению. Со мной она охотно болтала и любопытно-весело слушала рассказы о моих похождениях. Долгое время я был влюблен в ее дочь, великую княжну Елену Владимировну, вышедшую за греческого наследного принца Николая. Красота ее меня околдовывала. Прекрасней глаз я не знал. Покоряли они всех.

Павловск, в пяти верстах от Царского, принадлежал великому князю Константину Константиновичу. Никакие переделки не смогли испортить это чудо архитектуры XVIII века. Остался дворец, как был при императоре Павле, тогдашнем владельце его.

Великий князь Константин Константинович был человек необычайно образованный и даровитый: поэт, актер, музыкант. Многие и теперь еще помнят, с каким талантом и мастерством он исполнял одну из пьес своих, «Царя Иудейского». Великие князь с княгиней и восьмеро детей их были очень привязаны к своему

павловскому жилищу и ухаживали за ним любовно-благоговейно.

Перед Крымом, куда ехали мы в октябре, мы заезжали на время охоты в Ракитное, в Курской губернии. Это было одно из самых больших наших имений. Держали тут кирпичный завод, сахарную фабрику, сукновальню, лесопилку, разводили скот. Посреди стоял дом управляющего с хозяйственными постройками. Всякое хозяйство – конные заводы, псарни, овчарни, курятники – имело свое управление. Лошади с наших заводов не раз брали первые призы на бегах в Москве и Петербурге.

Верховую езду я любил больше всего, а одно время увлекся еще и псовой охотой. Мне нравилось нестись по лесам и полям за своими борзыми. Часто собаки замечали дичь прежде меня и пускались с места в карьер, чуть не выдернув меня из седла. Обычно охотник перекидывал через плечо повод и конец его зажимал в правой руке: разожмет руку – отпустит собак, однако если был близорук и медлителен, мог и слететь с лошади.

Мое увлечение охотой кончилось скоро. Так мучительно было услышать крик подстреленного мной зайца, что с того дня играть в эту кровавую игру я прекратил.

На охоту к нам в Ракитное съезжалось множество гостей. С неизбежным Берновым начинался смех. Генерал, полуслепой, принимал то корову за лося, то собаку за волка. Так, на моих глазах он застрелил кота – лесникова любимца, – приняв кота за рысь. Схватив «рысь» за хвост, генерал театральным жестом кинул ее к ногам моей матушки. Ошибку свою он признал только, когда прибежала лесничиха и, упав на колени, заплакала над жертвой. Но когда Бернов ранил загонщика, уж не знаю, за какого зверя приняв беднягу, отец отнял у него ружье и объявил ему, что впредь охотиться ему не даст.

Великие князь и княгиня Сергей Александрович и Елизавета Федоровна на охоту к нам приезжали всегда и непременно привозили с собой свой двор – людей юных и веселых.

Елизавету Федоровну я обожал, Сергея Александровича недолюбливал. Манеры его были странны, и смотрел он на меня тоже странно. Носил он корсет, и летом сквозь белую рубашку проступали корсетные кости. Ребенком я любил их щупать, что сильно его раздражало.

Чтобы добраться до мест охоты, порой удаленных, приходилось ехать лесом и полем. Выезжали на рассвете. Назначались особые повозки, линейки, могущие вместить двадцать человек, запрягалась четверка не то шестерка лошадей. В дороге, чтобы не скучно было, мне предлагали спеть. Итальянскую песню «Слез полны глаза» Сергей Александрович

обожал. Петь ее просил меня с утра до вечера, и я в конце концов возненавидел ее.

Обедали мы под навесом, возвращались вечером. После ужина взрослые садились за карты, а нам с братом полагалось сразу идти спать. Но я и не думал спать, пока великая княгиня не придет пожелать мне спокойной ночи. Она приходила, целовала и крестила меня. После ласки ее в душе моей воцарялся мир, и засыпал я спокойно.

О наших охотничьих сезонах вспоминаю без радости. Охоту я разлюбил, сочтя ее мерзким зрелищем. А в один прекрасный день я и вовсе бросил свои охотничьи доспехи и ездить с родителями в Ракитное перестал.

Глава 11

Крым – Кореиз – Отцовские причуды – Соседи – Ай-Тодор – Первая встреча с княжной Ириной – Кокоз – Как я снискал расположение эмира Бухарского

Вплоть до конца XVIII века Крым был независимым от России Крымским ханством. И по сей день стоит в его древней столице Бахчисарае красавец дворец татарских владык.

Крым – чудесный край. Он напоминает французский Лазурный берег, но пейзажи его суровей. Вокруг – высокие скалистые горы; на склонах – сосны, до самого берега; море переменчиво: мирно и лучисто на солнце и ужасно в бурю. Климат мягок, всюду цветы, очень много роз.

Население было – татары, народ живописный, веселый и хлебосольный. Женщины носили шаровары, яркие приталенные жакетки и вышитые тюбетейки с вуалькой, но прикрывали лицо только замужние. У молодых – сорок косичек. Все сплошь красили ногти и волосы хной. Мужчины ходили в каракулевых шапках, ярких рубахах и сапогах с узкими голенищами. Татары – мусульмане. Над плоскими крышами беленных известью татарских домов высились минареты мечетей, и утром и вечером с высоты голос муэдзина созывал на молитву.

Крым был излюбленным местом отдыха царской семьи. Отдыхала здесь и знать. Имения их располагались на южном берегу между Ялтой и Севастополем. Поместья меж собой соседствовали, и отдыхавшие виделись часто. У нас в Крыму было несколько владений. Два самых больших в Кореизе, на самом побережье, и в Кокозе, более вглубь, в долине меж гор. Имелся также дом в Балаклаве, но там мы не жили ни разу.

Кореизская усадьба, серокаменная, грубая, вписалась бы скорей в городской пейзаж, нежели в приморский. Тем не менее была она гостеприимна, удобна. В парке стояли домики для гостей. Вокруг дома – розы, и воздух благоухает. Сады и виноградники спускаются уступами-террасами до самой воды.

Отец наследовал Кореиз от матери и самолично занимался управлением и украшением. Одно время он увлекся скульптурой. Купил огромное количество статуй и уставил ими весь парк. Нимфы, наяды, богини стояли у каждого кустика, как в гомеровы времена. На берегу отец устроил купальню и бассейн с постоянным подогревом воды, так что купаться можно было в любое время года. Вдоль берега стояли бронзовые фигуры – персонажи крымских легенд, а на пристани статуя Минервы

напоминала нью-йоркскую Свободу с факелом в руке. На скале сидела наяда. Если бурей ее сносило, немедленно ставили новую.

Отцовские фантазии принимали порой самую причудливую форму. Как сейчас помню матушкино удивление, когда отец подарил ей на день рождения гору Ай-Петри, что высится на южном берегу – лысую, скалистую, самую высокую на полуострове.

Осенью отец устраивал праздник, называя его «день барана». Созывались все, от царской семьи до жителей ближних деревень. С кокозских гор спускались козы и овцы. Козам надевалась на шею розовая ленточка, овцам – голубая. Гости приглашались есть-пить вволю и играть в бесплатную лотерею. Бродили козы, бродили люди, лежало угощение. Ожидали сюрприза, но сюрприза не было. Гости расходились по домам, не зная толком, зачем приходили. И все же, чтобы не обижать отца, непременно являлись на «праздник» всякий год.

Кто покупал у нас вина получал в качестве поощрения фрукты из наших садов. Правда, плодовые деревья ученые садовники столько скрещивали, что вывели гибриды, толком ни на что не похожие и вкусом не отвечавшие виду.

Отец любил быть на воздухе и порой на весь день устраивал нам конные прогулки в горах. Становился во главе отряда и скакал куда вздумается, не слушая ни нас, ни проводников. А отцовское увлечение рыбалкой неожиданно сказалось на моем воспитании. Однажды он ушел на заре порыбачить, а вернулся с каким-то субъектом и заявил мне: «Вот тебе новый наставник». Отец увидел его на скале с удочкой в руке и позвал его удить к себе в лодку, а потом привел домой обедать.

Мой новый наставник был карлик, грязный и дурно пахнущий. Всю неделю он ходил в одной и той же белой с красными помпончиками рубашке, а в воскресенье с самого утра являлся в смокинге, ярком галстуке и желтых туфлях. Матушка огорчалась и пробовала отговорить отца, но он был в восторге от новой находки и слышать ничего не хотел. Я же возненавидел карлика с первого взгляда и вел себя так, что он очень скоро попросил расчет.

Тогда отец решил воспитывать меня по-спартански. Он велел вынести у меня из комнаты всю мебель, мною выбранную. Взамен внесли складную походную кровать и табурет. Я следил за перестановкой молча, но тем сильней негодовал про себя. Под конец еще и струхнул, когда слуги поставили посреди комнаты подозрительного вида шкаф. Оставшись один, я попытался открыть его, но не смог, и тут уж перепугался не на шутку.

На другой день поднял меня отцовский камердинер,

здоровяк, по всему, назначенный моим палачом. Он обхватил меня своими ручищами, отнес и посадил в шкаф. В тот же миг на меня хлынул ледяной душ. Я не переносил холодной воды, и душ этот был для меня пыткой. Но безуспешно я звал на помощь и пытался вырваться. Все свое получил сполна. Шок был столь силен, что, когда дверь открыли, я выскочил, нагишом промчался по всему дому, выскочил как безумный на двор и в один миг вскарабкался на самую верхушку дерева. Оттуда я стал вопить и переполошил весь дом. Прибежали отец с матерью и велели мне слезть. Я соглашался при условии, что душа больше не будет. Иначе, обещал я, спрыгну с дерева. Отец принял ультиматум. Но я простудился и с месяц потом хворал.

Отъезд в Крым всегда был для нас с братом праздником, и с нетерпением ожидали мы, когда прицепят наш вагон к скорому поезду, шедшему на юг.

Сходили мы в Симферополе и несколько дней гостили у Лазаревых. Дядя был крымским губернатором. Все любили его за доброту и мягкость. Супругу его почитали не меньше. А мы, дети, души в ней не чаяли. Милая, веселая, голосистая, всегда готова спеть или прочесть что-нибудь.

Когда дядю назначили в Симферополь, мы поехали проводить их. Отцы города встречали на вокзале нового губернатора. Дядя, в парадном мундире шествуя из вагона в вагон, чтобы сойти с поезда, оступился и оказался верхом на буфере! В этом непарадном положении он и знакомился с чиновниками.

Из Симферополя ехали в ландо все вчетвером. За нами – слуги, за ними – скарб. Как ни многочисленно было наше сопровождение, оно ни в какое сравнение не шло со свитой иных семейств. Граф Александр Шереметев возил с собой не только домашних и слуг, а и музыкантов, и коров из своих деревень, чтобы во все время путешествия пить свежее молоко.

Нам с Николаем нравилось так ездить. Все было в забаву: двукратная за время переезда перемена лошадей, выбор места для обеда и трапеза под навесом. Вдобавок мы с родителями – наконец-то без посторонних. Такое выпадало нам редко.

Одно время в Кореизе нас непременно ждал сюрприз. Устраивал его чудак-управляющий. Так, однажды он на всех в доме предметах черными чернилами вывел цену, в какую оценивал их. Многие вещи отчистить не удалось. В другой раз он расписал дом рыжей краской да еще в клеточку, под кирпичную кладку. Не пощадил и любимые отцом статуи – выкрасил их в телесный цвет, наверно, для правдоподобия. На этом его за наш счет художества закончились. Отец рассчитал его тотчас же.

Целый год потом спасали здание и статуи.

В Кореизе был у нас дурачок, здоровый детина, татарин Мисуд. Природа наградила его богатырской статью и огромным зобом. Богатырь с зобом обожал своего господина и всюду следовал за ним как тень. Отец, тяготясь такой преданностью, но не желая обидеть его, нашел ему занятие: вырядил его сторожем гарема, в черный с золотым шитьем кафтан и чалму, дал рог и ружье и посадил у фонтана перед домом. Когда приходили гости, Мисуд трубил в рог, давал ружейный залп и кричал: «Ура!». Правда, иногда ошибался и палил из ружья и кричал «Ура!», когда гости уходили. Некоторые обижались.

Однажды в Петербурге отец получил телеграмму: «Мисуд сообщает его сиятельству, что помер». Наш верный детина, заболев, сам написал телеграмму и просил послать ее, когда умрет.

Кореиз был для наших друзей землей обетованной. Они могли приехать сюда с семьей и челядью и жить до скончания века. Жизнь райская: всюду цветы, плодов и фруктов сколько душе угодно, местные люди радушны и услужливы.

Мы с братом с нетерпением ждали приезда двоюродных сестер и братьев. Вместе купались, а после поедали на пляже фрукты, какие принесли с собой в корзинах. Ездили на прогулки на низкорослых татарских лошадках. В Ялте непременно заходили во французскую кондитерскую «Флорен» полакомиться вкуснейшими пирожными.

Не успеем приехать в Кореиз – соседи тут как тут. Являлся старик фельдмаршал Милютин, живший в восьми верстах от нас. Приходил пешком. Было ему за восемьдесят. Имелась еще баронесса Пилар, бабушкина приятельница, вернее рабыня. Коротышка, толстуха, вся в волосатых бородавках, однако как ни безобразна, умела увлечь и понравиться. Бабушка вертела ею, как хотела, заставляла заниматься шелковичными червями, посылала собирать и давить улиток.

Князь Лев Голицын, колосс с львиной гривой, был и впрямь как лев. Благороден, но страшен. Вечно пьян, ищет повода побуянить. Мало ему пить в одиночку, спаивает все свое окружение винами собственных винокурен. Приезжал всегда с ящиками шампанского. Не успеет въехать во двор, слышен его бас: «Гости прибыли!». Выйдет из кареты и пустится жонглировать бутылками, затянув застольную:

«Пей до дна, пей до дна!»

Я тотчас прибегал. Очень хотелось первым вкусить чудесное голицынское вино. Бывало, не поздоровается еще, а уж зовет слуг

разгружать и раскрывать ящики. Соберет весь дом – и господ, и слуг – и каждого поит допьяна. Однажды он так досадил этим бабушке, которой в ту пору было за семьдесят, что она выплеснула ему стакан в лицо. А он схватил ее в охапку и закружил в бешеном танце. Бедная бабушка после того много дней хворала.

Матушка боялась приездов Голицына. Однажды она сутки просидела у себя взаперти, когда одержимый князь разбушевался. Он напаивал всю прислугу, падал на диван и спал мертвецким сном. Насилу могли на другой день его добудиться и спровадить восвояси.

Сосед граф Сергей Орлов-Давыдов жил один в своем поместье. Был он слабоумен и крайне уродлив: волосы всклокочены, ноздри раздуты, нижняя губа отвисла. Одет изысканно, с моноклем и в белых гетрах. Душится «Шипром», но несет от него козой. В остальном – большое доброе дитя. Больше всего любил играть со спичками. Дадут ему целую кучу, и сидит он чиркает часами. Потом встанет и уйдет, ни слова не сказав. Наверно, счастливейшим в его жизни был день, когда я привез ему из Парижа спички с аршин, которые купил на Бульварах.

Уродство и слабоумие не мешали ему интересоваться женщинами. Однажды учинил он скандал на литургии в Зимнем в присутствии царской семьи. Дамы, как принято, были в парадных платьях. Граф Орлов надел монокль и стал рассматривать дамские декольте с таким завыванием, что пришлось его вывести вон. Говорили даже, что у него случались любовные приключения. А вообще был он чувствителен и верен. Никогда не забывал матушкин день рожденья. Была она в Кореизе, нет ли, непременно являлся в тот день с огромным букетом роз.

Графиня Панина была умна и притом либералка. Жила она во дворце, походившем на старинный замок, где принимала политиков, художников, писателей. У нее встречал я Льва Толстого, Чехова, у нее же свел дружбу с прелестной четой – певицей Ян-Рубан и мужем ее, композитором и художником Полем. Г-жа Ян-Рубан даже давала мне уроки пения и сама приходила к нам. Не знал я певицы с лучшей певческой дикцией. И никто с таким чувством не пел Шумана, Шуберта и Брамса.

Из соседних имений ближе к Севастополю самым прекрасным была воронцовская Алупка. Усадьба в глициниях, в парке – статуи и фонтаны. Внутри оставался дом, увы, в запустение, потому что Воронцовы бывали тут редко. Рассказывали, что в стене ограды живет огромная змея, что иногда она выползает на берег и

плавает в море. Эта сказка пугала меня в детстве, и я отказывался выходить гулять.

В маленькой Ялте, ставшей знаменитой по конференции трех держав в 1945 году, стояла императорская яхта «Штандарт». В Ялту ездили на экскурсии. Татары-проводники, молодые, веселые, красивые какой-то неспокойной красотой, поджидали туристов, давали им внаймы лошадей и провожали в горы. Чаще всего прогулка кончалась амурами. Рассказывали о злоключениях одной богатой московской купчихи, которая, наскучив старым мужем, приехала в Ялту развлечься. Наняла она проводника и пустилась в горы. И такая меж ними вспыхнула страсть, что о лошади забыли, и окончилось все – у доктора... На другой день история облетела город, и купчиха с позором уехала. Старик муж узнал и потребовал развода.

Все императорские имения расположены были на побережье. Государь с семьей жили в Ливадии. Дворец построили в итальянском стиле, с большими светлыми залами на месте прежнего – темного, сырого и неудобного. Рядом с нами находилось имение Ай-Тодор великого князя Александра Михайловича. Воспоминания об этом имении – из самых для меня дорогих. Стены дома, увитые зеленью, тонули в глициниях и розах. Все здесь было прекрасно. Главной украшательницей усадьбы была великая княгиня Ксения Александровна. И сама-то красавица, свое самое большое достоинство – личный шарм – она унаследовала от матери, императрицы Марии Федоровны. Взгляд ее дивных глаз так и проникал в душу. Ее изящество, доброта и скромность покоряли всякого. Я уже и в детстве радовался ее приходам. А уйдет – побегу по комнатам, где она прошла, и жадно вдыхаю запах ее ландышевых духов.

Великий Князь Александр, высокий черноволосый красавец, – личность самобытная. Он женился на великой княжне Ксении, сестре Николая II, и тем нарушил традицию, по которой особы императорской фамилии сочетались браком только с иностранцами августейшей крови. Пошел он по призванию в морское училище и был всю жизнь настоящим моряком. Считал, что необходимо создать мощный военно-морской флот, и умел убедить в том государя, однако воспротивились большие морские чины, те самые, которых потопили в войну японцы. Тогда он занялся развитием торгового флота, основал министерство, которое и возглавил. Когда царь подписал манифест об учреждении Думы, он ушел в отставку. Тем не менее охотно принял командование балтийскими миноносцами и был счастлив вернуться в море. Он плавал в Финском заливе, когда получил

телеграмму из Гатчины, где находилась великая княгиня с детьми. Телеграммой вызвали его к сыну Федору, тяжело заболевшему скарлатиной. Три дня спустя камердинер, оставшийся на корабле, сообщил ему в Гатчину, что команда взбунтовалась и ждет его, чтобы взять в заложники. В отчаянии выслушал он мудрое решение шурина. «Правительство не может пойти на риск, не может отдать члена императорской фамилии в руки бунтовщиков», – сказал государь. Великий князь, сославшись на нездоровье детей, отошел от дел. С болью в душе он уехал за границу.

Он снял виллу в Биаррице и прожил в ней с семьей два-три месяца. В последующие годы неизменно наезжал туда. Там же узнал он о перелете Блерио через Ла-Манш.

В сущности, он один из первых увлекся авиацией. Подвиг Блерио подхлестнул его. Великий князь загорелся оснастить русскую армию аэропланами. Он снесся с Блерио и Вуазеном и вернулся в Россию, имея готовые проекты. На родине встретили его насмешками.

«Если я вас, ваше императорское высочество, правильно понял, – сказал ему военный министр генерал Сухомлинов, – вы предлагаете вооружить армию игрушками Блерио? А позвольте узнать, где будут порхать наши офицеры? Над Па-де-Кале или у нас над Петербургом?»

Порхали над Петербургом. Первые полеты состоялись весной 1909 года. Министр Сухомлинов счел их «весьма забавными, но не представляющими интереса для русской армии». Тем не менее великий князь три месяца спустя основал первую летную школу. Большая часть наших авиаторов и пилотов-наблюдателей 14-го года – выпускники ее.

Книги по морскому делу собирал он всю жизнь. К 1917 году библиотека его насчитывала более двадцати тысяч томов. После революции великокняжеский дворец был превращен в комсомольский клуб, и книги, в том числе бесценные, сгорели при пожаре.

Однажды на верховой прогулке увидел я прелестную девушку, сопровождавшую даму почтенных лет. Наши взгляды встретились. Она произвела на меня такое впечатление, что я остановил лошадь и долго смотрел ей вслед.

На другой день и после я проделал тот же путь, надеясь снова увидать прекрасную незнакомку. Она не появилась, и я сильно расстроился. Но вскоре великий князь Александр Михайлович и великая княгиня Ксения Александровна навестили нас вместе с дочерью своей, княжной Ириной. Каковы же были мои радость и

удивление, когда я узнал в Ирине свою незнакомку! На этот раз я вдоволь налюбовался дивной красавицей, будущей спутницей моей жизни. Она очень походила на отца, а профиль ее напоминал древнюю камею.

Немногим позже я познакомился и с братьями ее, князьями Андреем, Федором, Никитой, Дмитрием, Ростиславом и Василием. По натуре разные, но все дети равно обаятельны в мать.

Наше кокозское имение – «кокоз» по-татарски «голубой глаз» – располагалось в долине близ татарской деревушки с белеными домами с плоскими крышами-террасами. Красивейшие были места, особенно весной, когда цвели вишни и яблони. Прежняя усадьба пришла в упадок, и матушка на месте ее выстроила новый дом в татарском вкусе. Задумали, правда, простой охотничий домик, а воздвигли дворец наподобие бахчисарайского. Получилось великолепие. Дом был бел, на крыше – черепица с древней зеленой глазурью. Патина старины подсинила черепичную зелень. Вокруг дома фруктовый сад. Бурливая речка прямо под окнами. С балкона можно ловить форель. В доме яркая красно-сине-зеленая мебель в старинном татарском духе. Восточные ковры на диванах и стенах. Свет в большую столовую проникал сквозь витражи в потолке. Вечерами в них искрились звезды, волшебно сливаясь с мерцанием свеч на столе. В стене устроен был фонтан. Вода в нем перетекала каплями во множестве маленьких чаш: из одной в другую. Устройство в точности повторяло фонтан в ханском дворце. С фонтаном была связана легенда: хан похитил молодую прекрасную европеянку и держал ее пленницей в гареме. Красавица так плакала, что возник из слез фонтан, и назвали его «фонтаном слез».

Голубой глаз был всюду: и на фонтанной мозаике среди кипарисов, и в восточном убранстве столовой.

Кокоз находился в пяти верстах от Кореиза, и я часто привозил сюда друзей. К услугам гостей имелся татарский гардероб. К ужину все разряжались по-татарски. Португальскому королю Иммануилу так понравилась усадьба, что он мечтал остаться в Кокозе навсегда. Императорская семья тоже любила Кокоз и часто наезжала к нам.

В лесах ближних гор водились лоси. Мы завели охотничьи сторожки и частенько обедали там во время прогулок. Один домик стоял высоко на горе над ложбиной и называли его «орлиное гнездо». Мы закидывали камни на скалы, чтобы спугнуть орлов, и они взмывали и кружили над ложбиной.

Однажды после охоты отец пригласил на обед эмира Бухарского со свитой. Обедали весело. Под конец подали кофе и ликеры. Камердинер внес поднос с сигаретами. Спросили у эмира позволения закурить. Закурили... Вдруг точно ружейные залпы. Поднялась паника. Все ринулись вон из залы, решив, что это покушение. Я остался один и хохотал до слез действию собственной шутки: сигареты с сюрпризом я привез из Парижа. Смех меня выдал. И досталось же мне! Однако несколько дней спустя эмир пожаловал к нам снова и приколол к моей груди брильянтово-рубиновую звезду, их высшую государственную награду! После чего он захотел сфотографироваться со мной... Одному эмиру Бухарскому понравилась моя шутка.

Глава 12

Переезд – Спиритизм и теософия – Вяземская Лавра – Последняя поездка с братом за границу – Его дуэль и смерть

В 1906 году отец получил гвардейский полк, и семья переехала в Захарьевское, где стоял полк. Мы с Николаем огорчились: прощай наш петербургский дом и лето в Архангельском. Дача в летнем военном лагере в Красном Селе заменить архангельскую усадьбу не могла. Приходили к нам только полковые офицеры и их жены. Иные были милы, но ни я, ни брат не любили военной атмосферы. При каждом удобном случае норовили мы удрать или в Архангельское, или за границу. В ту пору мы стали неразлучны. Лето кончалось, Николай возвращался на занятия в университет, а я в гимназию Гуревича. А зимой мы, хоть и жили с родителями, всё свободное время проводили на Мойке с друзьями.

В числе друзей был князь Михаил Горчаков – для близких Мика, – юный красавец восточного типа, вспыльчивый, но очень добрый. Видя, как шалости мои огорчают родителей, он решил направить меня на путь истинный. Однако не только потерял даром время, но еще и заболел нервами и вынужден был уехать лечиться за границу. Позже он женился на графине Стенбок-Фермор, прелестной милой даме, с которой был счастлив. Зла он на меня не держал. Мы друзья и по сей день.

Однажды отправились мы с друзьями к цыганам, где выпил я более меры. Товарищи привезли меня в Захарьевское мертвецки пьяного, раздели и уложили. Вскоре после их отъезда я очнулся, однако не протрезвел. Потому очень разгневался, что все меня бросили, соскочил с кровати и в пижаме ринулся на двор. Солдаты-караульные, увидав, как кто-то бежит по снегу босиком в пижаме, бросились вдогонку. Поймали они меня с трудом. Но, когда меня узнали, громко захохотали и отвели к привратнику. Бег по снегу, однако, меня не отрезвил. Возвращаясь к себе в комнату, я ошибся этажом и попал в комнату генерала Воейкова, адъютанта и личного друга государя. Назавтра меня нашли на его письменном столе. Я спал сном праведника.

В отрочестве я часто разговаривал во сне. Однажды накануне поездки в Москву отец с матерью зашли ко мне в комнату, когда я спал, и услышали, как я бормочу во сне: «Крушение... крушение поезда...». Они были до того поражены, что отложили поездку. Поезд, которым они чуть не поехали, сошел с рельсов. Было много жертв. Меня тут же объявили ясновидящим, чем я тотчас

корыстно воспользовался. Родители попались на удочку. Они простодушно верили моим, так сказать, прозрениям, пока случайно не разоблачили меня. Карьера ясновидца окончилась.

В ту пору мы с братом увлекались спиритизмом. Устраивали с приятелями спиритические сеансы и наблюдали вещи удивительные. Наконец, когда мраморная статуя сдвинулась с пьедестала и рухнула перед нами, столоверчение мы прекратили. Однако пообещали друг другу, что первый, кто умрет из нас, даст о себе знать с того света.

Столы вертеть я бросил, а все же продолжал интересоваться потусторонними материями. О Боге, будущей жизни и совершенстве духа думал постоянно. Открылся духовнику, но тот отвечал мне: «Нечего мудрствовать. Не ломай себе голову. Веруй в Господа, да и все». Сей мудрый ответ ничего не объяснил. Я ударился в оккультные науки и теософию. Как краткой земною жизнью можно заслужить вечное неземное блаженство? Объяснений христианства я уразуметь не мог. Теория перевоплощения была ясней. К тому ж убеждался я, что иные упражнения духа и тела могут придать человеку сверхъестественную силу и власть над собою и другими. Я есмь носитель божественного начала. Проникнутый сей идеей, я занялся йогой. Каждый день проделывал я особую гимнастику и множество дыхательных упражнений. Притом старался сосредоточиться и укреплять волю. И, надо сказать действительно заметил в себе изменения: мысль стала четче, память цепче. Сила воли выросла. Говорили, что я даже смотрю иначе. И правда, я видел, что многие не выдерживают моего взгляда, а посему заключил, что развил в себе гипнотическую способность. Чтобы проверить, могу ли пересилить физическую боль, подержал руку над свечой. Было нелегко. Однако опыт я прекратил, когда в комнате уже вовсю пахло горелым мясом. У дантиста предстояло лечение особенно болезненное, я отказался от обезболивания. «Я властвую над собой, – с упоением думал я, – значит, властвую над другими».

Я и Николай познакомились с молодым, милым и очень талантливым актером Блюменталь-Тамариным. Звали его Володя, Вова. В то время в Александринке давали «На дне» Горького. Вова советовал сходить. Петербургские нищие, описанные Горьким, жили в Вяземской лавре. Мне захотелось сходить и в лавру. Я просил Вову помочь. За кулисами он был свой человек и живо добыл нам подходящее тряпье.

В назначенный день мы нацепили лохмотья и отправились в лавру закоулками, от городовых подальше. Однако мимо театра

Комической оперы пришлось пройти в момент театрального разъезда. Мне вздумалось сыграть роль до конца, влезть в шкуру нищего. Я встал на углу и протянул руку за милостыней. Дамы в мехах и брильянтах и господа с сигарами проходили мимо и даже не глядели в мою сторону. И хоть я всего-навсего притворялся, и то разозлился. Каковы же чувства настоящих христарадников!

У дверей лавры Вова просил нас молчать, чтобы не выдать себя. В ночлежке мы заняли три койки, прикинулись спящими и тайком разглядывали помещение. Зрелище было ужасное. Кругом – человеческое отребье обоего пола. Лежат вповалку, полуголые, грязные, пьяные. То и дело слышно, как выскакивает пробка. Оборванцы открывают бутылки водки, опоражнивают одним махом и швыряют пустые склянки не глядя. Тут же ссорятся, ругаются, совокупляются, блюют прямо на соседа. Вонь нестерпимая. Долго мы не выдержали. Поднялись и выбежали вон.

На улице я не мог надышаться. Неужели ночлежка – не сон? И это в наше время! Куда смотрит правительство? Можно ли допустить, чтобы человеческие существа влачили столь жалкое существование?.. Долго потом мучили меня кошмары.

Видно, мы действительно вжились в образ. Наш швейцар не узнал нас и в дом не впустил.

Лето 1907 года мы с Николаем проводили в Париже. Брат познакомился с очень известной в то время куртизанкой Манон Лотти и безумно в нее влюбился. Она была молода и элегантна. Жила в роскоши. Имела особняк, экипажи, драгоценности и даже карлика, которого считала талисманом. Притом держала она компаньонку Биби – в прошлом куртизанку, а ныне больную старуху, очень гордую своей давнишней связью с великим князем Алексеем Александровичем.

Николай совсем потерял голову. Проводил он у Манон дни и ночи. Изредка вспоминал обо мне и брал меня с собой в ресторан. Но мне скоро наскучило быть на вторых ролях. Я и сам завел любовницу, и скромней, и милей Манон. Она курила опиум и однажды предложила попробовать и мне. Повела она меня в китайский притон на Монмартр. Старик китаец впустил нас и тотчас увел в подвал. В подвале стоял этот особый опиумный дух и было странно тихо. Полуодетые люди лежали на циновках и, казалось, спали глубоким сном. Перед каждым стояла курильница.

Никто не обратил на нас внимания. Мы растянулись на свободной циновке, молодой китаец принес курильницы и трубки. Я затянулся несколько раз, голова закружилась... Вдруг

раздался звонок, кто-то крикнул: «Полиция!».

Все эти, с виду глубоко спящие, повскакали на ноги и стали спешно приводить себя в порядок. Подруга моя, знавшая здесь все и вся, подвела меня к дверке, в которую мы вышли свободно. Еле дотащился я до ее дома и, едва вошел, тотчас рухнул на постель. Наутро я проснулся с головной болью и обещал себе никогда опиума не курить. Обещать – обещал, а курить – курил.

Вскоре мы с Николаем вернулись в Россию.

В Петербурге мы зажили прежней беззаботно-веселой жизнью, и Николай быстро забыл парижскую любовь. Жених он был завидный, и его тут же осадили мамаши взрослых дочек. Но брат дорожил свободой и о женитьбе не думал.

К несчастью, познакомился он с юной обворожительной девицей и снова влюбился до безумия. Маменька с дочкой жили весело, вечера у них были часты и шумны.

Девица, правда, была уже помолвлена с одним гвардейским офицером. Николая, однако же, это не остановило. Он решил жениться. Родители отказывались дать согласие. Выбор его они не одобряли. Мне и самому он не нравился – слишком хорошо я знал девицу сию. Но помалкивал, чтобы не потерять братнина доверия: еще надеялся отговорить его.

Свадьбу с гвардейцем откладывали. Жениху надоели проволочки, он потребовал назначить день. Николай пришел в отчаяние, девица рыдала и уверяла, что скорей умрет, чем выйдет за немилого. От брата я узнал, что она устраивает ему прощальный ужин накануне венчания. Помешать ему пойти я не мог и решил пойти с ним вместе. Актер Вова был в числе приглашенных. Разгорячась от выпивки, он пустился разглагольствовать и звал влюбленных соединиться и всё бросить ради любви. Невеста в слезах кинулась умолять Николая бежать с ней. Пришлось мне идти к ее маменьке. Не без труда я уговорил ее вмешаться. Когда я привел маменьку в ресторан, невеста бросилась к ней на шею. Я улучил минуту и силой увез Николая домой.

На другой день состоялось венчание. Новобрачные отбыли за границу. На том дело вроде бы и кончилось. Родители могли вздохнуть облегченно. Николай с виду был спокоен и снова взялся за учебу. Матушка поверила. Но меня Николай обмануть не мог.

В Париже в те дни пел Шаляпин. Брат захотел съездить послушать. Родители, подозревая, что Шаляпин – предлог, пытались отговаривать, но не тут-то было.

Тогда велели ехать в Париж и мне, поручив сообщить все о брате. Съездив и узнав, что он-таки снова увиделся со своей

пассией, я вызвал отца с матерью телеграммой.

Николай, однако, как в воду канул. Я отправился к известным в ту пору гадалкам, мадам де Феб и госпоже Фрее. Де Феб сказала мне, что кто-то из семьи моей в опасности и может быть убит на дуэли. Фрее повторила де Феб почти слово в слово, а про меня добавила: «Быть тебе замешану в политическом убийстве, пройти тяжкие испытания и возвыситься».

До нас доходили противоречивые слухи. Одно казалось верно: муж знал, что Николай видится с женой его. О прочем одни говорили, что будет дуэль, другие – что развод. Наконец мы узнали, что гвардеец действительно вызвал брата на дуэль, однако очевидцы сочли повод недостаточным. Затем к нам явился сам гвардеец и объявил, что помирился с Николаем, винит во всем жену и намерен требовать развода. Дуэли мы, стало быть, могли не бояться и теперь со страхом ожидали последствий развода.

Вскоре из Петербурга пришла тревожная весть: гвардеец, видимо, по наущению приятелей, снова потребовал дуэли. Пришлось возвращаться в Петербург.

Однако Николай ничего нам не рассказывал, совершенно замкнулся в себе. Наконец признался мне, что дуэль на днях. Я к родителям. Отец с матерью требуют его к себе. Но их он заверил, что все хорошо и ничего не случится.

Вечером я нашел у себя на столе записки от матушки и брата. Матушка просила зайти к ней немедля, а брат звал на ужин в «Контан». Николаево приглашение меня обрадовало и успокоило. После Парижа он впервые позвал провести вечер вместе.

Сперва я пошел к матушке. Она сидела перед зеркалом, горничная укладывала ей волосы на ночь. До сих пор помню матушкины счастливые глаза. «Про дуэль все ложь, – сказала она. – Николай был у меня. Они помирились. Господи, какое счастье! Я так боялась этой дуэли. Ведь ему вот-вот исполнится двадцать шесть лет!» И тут она объяснила, что странный рок был над родом Юсуповых. Все сыновья, кроме разве что одного, умирали, не дожив до двадцати шести. У матушки родилось четверо, двое умерли, и она всегда дрожала за нас с Николаем. Канун рокового возраста совпал с дуэлью, и матушка была сама не своя от страха. Но сейчас она плакала от радости. Я поцеловал ее и отправился в ресторан на встречу с Николаем. У «Контана» его не оказалось. Я пустился на поиски по всему городу, но нигде не нашел. Домой я вернулся в волнении. Предсказания гадалок и матушкин рассказ вдобавок не давали покоя. Да и сам Николай грозился, что на днях… Может, хотел этим вечером проститься со мной… Что же не пришел? Как ни тревожился я, все же удалось

мне забыться.

Наутро камердинер Иван разбудил меня, запыхавшись: «Вставайте скорей! Несчастье!..» Охваченный дурным предчувствием, я вскочил с постели и ринулся к матушке. По лестнице пробегали слуги с мрачными лицами. Мне на вопросы никто ничего не ответил. Из отцовской комнаты донеслись душераздирающие крики. Я вошел: отец, очень бледный, стоял перед носилками, на которых лежало тело брата. Матушка, на коленях перед ними, казалось, обезумела...

С трудом мы оторвали ее от него и перенесли тело на кровать. Когда матушка немного успокоилась, она позвала меня. Я подошел, но тут она приняла меня за Николая. Сцена была ужасна. У меня кровь в жилах стыла. Потом матушка впала в оцепенение, а, очнувшись, уже не отпускала меня ни на шаг.

Тело брата перенесли в часовню. Начались похоронные обряды. Потекли родня и знакомые. Несколько дней спустя мы выехали в Архангельское на захоронение в семейной усыпальнице.

Великая княгиня Елизавета Федоровна ждала нас в Москве на вокзале. В Архангельское она отправилась с нами.

На похороны собрались чуть не все наши крестьяне. Очень многие плакали. Люди бесконечно трогательно сочувствовали нашему горю.

Великая княгиня Елизавета Федоровна оставалась с нами некоторое время. Этим она поддержала нас всех, особенно матушку, на которую смотреть было страшно. Отец, от природы сдержанный, горе скрывал, но видно было, что и он убит. А что до меня, я жаждал мщения и, наверно, что-нибудь выкинул бы, не угомони меня великая княгиня.

Узнал я подробности дуэли. Она состоялась ранним утром в имении князя Белосельского на Крестовском острове. Стрелялись на револьверах в тридцати шагах. По данному знаку Николай выстрелил в воздух. Гвардеец выстрелил в Николая, промахнулся и потребовал сократить расстояние на пятнадцать шагов. Николай снова выстрелил в воздух. Гвардеец выстрелил и убил его наповал. Но это уже не дуэль, а убийство. Впоследствии, разбирая бумаги брата, нашел я письма, из которых выяснил, что гнусную роль в этом деле сыграл некто Шинский, известный оккультист. Из писем явствовало, что Николай был полностью под его влиянием. Шинский писал, что он Николаю ангел-хранитель и что с ними воля Господня. Замужество девицы он объяснил брату как видимость и научил его поехать за ней в Париж. Что ни слово, то похвала девице и маменьке ее, а нашим родителям и мне заодно – анафема.

Уезжая, великая княгиня просила меня быть у ней в Москве, как только матушке станет лучше. Хотела поговорить со мной о моем будущем. Случилось, правда, это не скоро. Матушка наконец встала на ноги, но полностью оправиться после смерти брата не смогла никогда.

Идучи однажды с прогулки, поднимался я по лестнице ко дворцу и на последней террасе остановился и огляделся. Бескрайний парк со статуями и грабовыми аллеями. Дворец с бесценными сокровищами. И когда-нибудь они будут моими. А ведь это только малая толика всего уготованного мне судьбой богатства. Я – один из самых богатых людей России! Эта мысль опьяняла. Я вспомнил дни, когда тайком забирался в архангельский театр и воображал себя предком своим, великим меценатом екатерининских времен. Припомнилась и мавританская зала, где на златотканых подушках, обмотавшись в восточную парчу и нацепив матушкины брильянты, возлежал я среди невольников. Роскошь, богатство и власть – это и казалось мне жизнью. Убожество мне претило... Но что, если война или революция разорит меня? Я подумал о бездомных из Вяземской лавры. Может, и я стану как они? Но эта мысль была невыносима. Я скорей вернулся к себе. По дороге я остановился перед собственным портретом работы Серова. Внимательно всмотрелся в самого себя. Серов – подлинный физиономист; как никто, схватывал он характер. Отрок на портрете предо мной был горд, тщеславен и бессердечен. Стало быть, смерть брата не изменила меня: все те же себялюбивые мечтания? И так мерзок я стал самому себе, что чуть было с собой не покончил! И то сказать: родителей пожалел...

Тут и вспомнил я, что дал слово великой княгине побывать у нее. К этому дню матушка несколько оправилась. Я мог поехать в Москву.

Глава 13

Великая княгиня Елизавета Федоровна – Ее благотворное влияние – Мои занятия при ней – Планы на будущее

Я не намерен приводить какие-то новые сведения о великой княгине Елизавете Федоровне. Об этой святой душе достаточно говорено и писано в хрониках последних лет царской России. Но и умолчать о ней в мемуарах не могу. Слишком важным и нужным оказалось ее влияние в жизни моей. Да и сыздетства я любил ее, как вторую мать.

Все знавшие ее восхищались красотой лица ее, равно как и прелестью души. Великая княгиня была высока и стройна. Глаза светлы, взгляд глубок и мягок, черты лица чисты и нежны. К прекрасной наружности добавьте редкий ум и благородное сердце. Она была дочерью принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. Кроме того, великая княгиня Елизавета Федоровна приходилась внучкой королеве Виктории, сестрой владетельному герцогу Эрнесту Гессенскому и старшей сестрой нашей молодой императрице. У великой княгини имелись еще две сестры: принцесса Прусская и принцесса Виктория Баттенбергская, впоследствии маркиза Милфорд-Хэйвен. Сама же она вышла за великого князя Сергея Александровича, четвертого сына Александра II.

Первые годы после замужества великая княгиня жила в Петербурге, много принимала в своем дворце на Невском, вела по необходимости жизнь роскошную, хотя уже тогда тяготилась ею. В 1891 году супруг ее назначен был московским генерал-губернатором, и на новом месте она стала необычайно почитаема и любима. Жила она так же, как в Петербурге, и в свободное от светских обязанностей время занималась благотворительностью.

17 февраля 1905 года на Сенатской площади в Кремле великий князь, сев в карету, был разорван в клочья бомбой террориста. Великая княгиня находилась в тот момент в Кремле, в ею же организованных мастерских по пошиву теплой одежды для войск в Маньчжурии. Заслыша взрыв, она выбежала в чем была, не накинув шубы. На площади лежали раненый кучер и две убитые лошади. Тело великого князя было буквально разорвано. Части его разбросало по снегу. Она собственными руками собрала их и перевезла к себе в дворцовую часовню. Бомба рванула так, что пальцы великого князя, еще в перстнях, были найдены на крыше соседнего здания. Все это рассказала нам сама великая княгиня. Трагическую весть услышали мы в Петербурге и тотчас

же примчались в Москву.

Выдержка и самообладание великой княгини восхищали. Дни перед похоронами она провела в молитвах. В молитвах же нашла мужество совершить поступок, потрясший всех. Она пришла в тюрьму и велела отвести себя в камеру к убийце.

– Кто вы такая? – спросил он.

– Вдова убитого вами. Зачем вы убили его?

Каков был разговор далее, никто не знает. Версии противоречивы. Многие уверяют, что после ее ухода он закрыл лицо руками и взахлеб зарыдал.

Достоверно одно: великая княгиня написала государю письмо с просьбой о помиловании, и государь готов был согласиться, не откажись от милости сам бомбист.

Великая княгиня навестила и кучера. Был он смертельно ранен и умирал в больнице. Увидев ее, умирающий, от которого скрыли смерть великого князя, спросил:

– Как здоровье его императорского высочества?

– Он послал меня справиться о тебе, – отвечала великая княгиня.

После смерти мужа она продолжала жить в Москве, но от светских дел отошла и целиком занялась делами богоугодными. Часть драгоценностей своих она раздала близким, остальное продала. Матушка купила у нее изумительную черную жемчужину, государев подарок. Даря ее свояченице, Николай сказал:

– Теперь у тебя жемчужина не хуже, чем «Перегрина» Зинаиды Юсуповой.

Раздав все свое имущество, великая княгиня купила в Москве участок на Ордынке. В 1910 году она построила там Марфо-Мариинскую обитель и стала в ней настоятельницей. Последнее, что сделала она как бывшая светская красавица с безупречным вкусом – заказала московскому художнику Нестерову эскиз рясы для монахинь: жемчужно-серое суконное платье, льняной апостольник и покрывало из тонкой белой шерсти, ниспадавшее красивыми складками. Монахини не сидели в обители взаперти, но посещали больных и бедных. Ездили они и в провинцию, создавали благотворительные центры. Дело пошло скоро. За два года во всех больших российских городах появились такие ж обители. Ордынская тем временем разрослась. Пристроили церковь, больницу, мастерские, учебные классы. Настоятельница жила во флигельке из трех комнат с простой мебелью. Спала на топчане без тюфяка, под голову подложив пучок сена. На сон отводила всего ничего, а то и вовсе ничего, бодрствуя у постели больного или у гроба в часовне. Из больниц и клиник присылали

ей безнадежных, и она самолично ходила за ними. Однажды привезли женщину, опрокинувшую зажженную керосинку. Одежда загорелась, тело стало сплошной раной. Началась гангрена. Врачи махнули рукой. Великая княгиня взялась лечить ее, терпеливо и стойко. Перевязка занимала всякий день более двух часов. Вонь от нагноений была такова, что иные сиделки падали в обморок. Больная, однако же, поправилась в несколько недель. Выздоровление ее почитали чудом.

Великая княгиня решительно не хотела скрывать от умиравших положение их. Напротив, она старалась приготовить их к смерти, внушала им веру в жизнь вечную.

В войну 14-го года она еще более расширила благотворительную деятельность, учредив пункты сбора помощи раненым и основав новые благотворительные центры. Она была в курсе всех событий, но политикою не занималась, потому что всю себя отдавала работе и не думала ни о чем другом. Популярность ее росла день ото дня. Когда великая княгиня выходила, народ становился на колени. Люди осеняли себя крестным знамением или целовали ей руки и край платья, подойдя к карете ее.

Но и тут нашлись у нее критики. Иные уверяли даже, что, бросив дворец и раздав все бедным, сестра императрицы уронила императорское достоинство. Императрица и сама склонялась к сему мнению. Сестры не ладили. Обе они обратились в православие и были набожны, каждая, однако, по-своему. Императрица искала торных путей и заплутала в мистицизме. Великая княгиня пошла прямым и истинным путем любви и сострадания. Верила она просто, как дитя. Но главным предметом их неладов была слепая вера царицы в Распутина. Великая княгиня видела в нем самозванца и орудие сатаны и сестре о том говорила прямо. Сношения их стали реже и наконец прекратились совершенно.

Революция 17-го не сломила твердости духа великой княгини. 1 марта отряд революционных солдат окружил обитель. «Где немецкая шпионка?» – кричали они. Настоятельница вышла и спокойно ответила: «Немецкой шпионки здесь нет. Это обитель. Я ее настоятельница».

Солдаты кричали, что уведут ее. Она отвечала, что готова, но хочет прежде проститься с сестрами и получить благословение у священника. Солдаты разрешили при условии сопроводить ее.

Когда вошла она в храм в окружении солдат с оружием, монахини, плача, упали на колени. Поцеловав у священника крест, она обернулась к солдатам и велела им сделать то же. Они повиновались. А затем, впечатленные спокойствием ее и всеобщим ее почитанием, вышли из обители, сели на грузовики и

уехали. Несколько часов спустя члены временного правительства явились с извинениями. Признались они, что не в силах справиться с анархией, которая повсюду, и умоляли великую княгиню вернуться безопасности ради в Кремль. Она поблагодарила и отказала. «Я, – добавила она, – ушла из Кремля своею волею, и не революции теперь решать за меня. Останусь с сестрами и приму их участь, если будет на то воля Господня». Кайзер не однажды предлагал ей через шведского посла уехать в Пруссию, ибо де Россию ждут потрясения. Уж кто-кто, а он-то о том осведомлен был. Руку к тому и сам приложил. Но великая княгиня передала ему, что не покинет добровольно ни обители, ни России.

После того марфо-мариинским сестрам вышла передышка. Большевики, прийдя к власти, не тронули их. Даже послали какое-то продовольствие. Но в июне 18-го они арестовали ее вместе с верной ее спутницею Варварой и увезли в неизвестном направлении. Патриарх Тихон сделал все, чтоб отыскать и освободить ее. Наконец стало известно, что держат великую княгиню в Алапаевске Пермской губернии вместе с кузеном ее, великим князем Сергеем Михайловичем, князьями Иваном, Константином и Игорем, сыновьями великого князя Константина Константиновича, и сыном великого князя Павла Александровича князем Владимиром Палеем.

В ночь с 17 на 18 июля, спустя сутки после расстрела царя и семьи его, их живьем бросили в колодец шахты. Тамошние жители издали следили за казнью. Когда большевики уехали, они, как сами рассказывают, подошли к колодцу. Оттуда доносились стоны и молитвы. Помочь не решился никто.

Месяцем позже белая армия вошла в город. По приказу адмирала Колчака тела несчастных извлекли из колодца. На некоторых, как говорят, были перевязки, сделанные из апостольника монахини. Тела положили в гроб и увезли в Харбин, оттуда – в Пекин. Позже маркиза Милфорд-Хэйвен перевезла останки великой княгини и прислужницы ее Варвары в Иерусалим. Захоронили их в русской церкви Святой Марии Магдалины близ Масличной горы. В пути из Пекина в Иерусалим гроб великой княгини дал трещину, оттуда пролилась благоуханная прозрачная жидкость. Тело великой княгини осталось нетленным. На могиле ее свершились чудеса исцеления. Один из архиепископов наших рассказывал, что, будучи проездом в Иерусалиме, стоял он на молитве у гроба ее. Вдруг раскрылась дверь и вошла женщина в белом покрывале. Она прошла вглубь и остановилась у иконы Святого архангела Михаила. Когда она, указывая на икону, оглянулась, он узнал ее. После чего видение

исчезло.

Единственное, что осталось мне в память о великой княгине Елизавете Федоровне, – несколько бусин от четок да щепка от ее гроба. Щепка порой сладко пахнет цветами.

Народ прозвал ее святой. Не сомневаюсь, что однажды признает это и церковь.

Решив повидать великую княгиню Елизавету Федоровну, я отправился в Кремль. Явился я к великой княгине в полнейшем душевном смятении. В Николаевском дворце меня провели прямо к ней. Великая княгиня сидела за письменным столом. Молча я бросился к ее ногам, уткнулся лицом ей в колени и зарыдал, как дитя. Она гладила меня по голове и ждала, когда я успокоюсь. Наконец я подавил слезы и рассказал ей, что творится со мной. Исповедь облегчила душу. Великая княгиня слушала внимательно. «Хорошо, что ты пришел, – сказала она. – Я уверена, что с помощью Божьей придумаю что-нибудь. Как бы ни испытывал нас Господь, если сохраним веру и будем молиться, найдем силы выдержать. Усомнился ты или впал в уныние – встань на колени у иконы спасителя и помолись. Укрепишься тотчас. Ты сейчас плакал. Это слезы из сердца. Его и слушай прежде рассудка. И жизнь твоя изменится. Счастье не в деньгах и не в роскошном дворце. Богатства можно лишиться. В том счастье, что не отнимут ни люди, ни события. В вере, в духовной жизни, в самом себе. Сделай счастливыми ближних и сам станешь счастлив».

Потом великая княгиня заговорила о моих родителях. Напомнила, что отныне я – их единственная надежда, и просила не оставлять их вниманием, заботиться о больной матери. Звала меня вместе с собой заняться благотворительностью. Она только что открыла больницу для женщин, больных чахоткой. Предложила сходить в петербургские трущобы, где болели чахоткой многие.

В Архангельское я вернулся обнадеженный. Слова великой княгини успокоили и укрепили меня. Они стали ответом на всё то, что давно уже мучило меня. Я припомнил совет духовника: «Нечего мудрствовать… Веруй в Господа, да и все». Тогда я не послушался, бросился очертя голову в оккультизм. Волю развил, а покоя в душе не обрел. И при первом же испытании хваленая моя воля обратилась в ничто и не охранила от отчаяния и бессилия. Понял я, что всего лишь я песчинка в бесконечности, разуму непостижимой, и что один путь истинен – смирение, и подчинение, и вера в волю Господню.

Прошло несколько дней. Я вернулся в Москву и взялся за

работу, предложенную мне великой княгиней. Речь шла о московских трущобах, где царили грязь и мрак. Люди ютились в тесноте, спали на полу в холоде, сырости и помоях.

Незнакомый мир открылся мне, мир нищеты и страдания, и был он ужасней ночлежки в Вяземской лавре. Хотелось помочь всем. Но ошеломляла огромность задачи. Я подумал, сколько тратится на войну и на научные опыты на пользу той же войне, а в нечеловеческих условиях живут и страдают люди.

Были разочарования. Немалые деньги, вырученные мной от продажи кое-каких личных вещей, улетучились. Тут я заметил, что одни люди поступают нечестно, другие – неблагодарно. И еще я понял, что всякое доброе дело следует делать от сердца, но скромно и самоотреченно, и живой тому пример – великая княгиня. Чуть не всякий день ходил я в Москве в больницу к чахоточным. Больные со слезами благодарили меня за мои пустяковые подачки, хотя, в сущности, благодарить их должен был я, ибо их невольное благодеяние было для меня много больше. И я завидовал докторам и сиделкам, и в самом деле приносившим им помощь.

Я был безмерно благодарен великой княгине за то, что поняла мое отчаяние и умела направить меня к новой жизни. Однако мучился, что она не знает обо мне всего и считает меня лучше, чем есть я.

Однажды, говоря с ней с глазу на глаз, я рассказал ей о своих похождениях, ей, как казалось мне, неизвестных.

«Успокойся, – улыбнулась она. – Я знаю о тебе гораздо больше, чем ты думаешь. Потому-то и позвала тебя. Способный на многое дурное способен и на многое доброе, если найдет верный путь. И великий грех не больше искреннего покаяния. Помни, что грешит более души рассудок. А душа может остаться чистой и в грешной плоти. Мне душа твоя важна. Ее-то я и хочу открыть тебе самому. Судьба дала тебе всё, что может пожелать человек. А кому дано, с того и спросится. Подумай, что ты ответствен. Ты обязан быть примером. Тебя должны уважать. Испытания показали тебе, что жизнь – не забава. Подумай, сколько добра ты можешь сделать! И сколько зла причинить! Я много молилась за тебя. Надеюсь, Господь внял и поможет тебе».

Сколько надежд и душевных сил прозвучало в ее словах!

Матушка, успокоенная тем, что я в Москве при великой княгине, осталась еще на время в Архангельском. В усадьбе было пусто. Отец пропадал целыми днями на службе. Я же ездил по делам в Москву и возвращался в усадьбу лишь к ужину. Поздно вечером отец уходил к себе, а мы с матушкой засиживались за полночь. Горе нас сблизило, но из-за болезни ее я не решался

говорить с ней свободно, как хотелось бы, и оттого страдал. В комнату к себе я шел скорее думать, нежели спать. Благочестивые книжки матушки и великой княгини я не раскрывал. Тех московских слов хватало мне для моих размышлений. До сей поры я жил для наслаждений, любое страдание отвергая. Мне и в голову не приходило, что есть что-то важнее богатства и власти, какую богатство дает. Прежде я этим чванился. Но, перестав и богатством, и властью дорожить, я обрел истинное сокровище – свободу.

И я решил изменить свою жизнь. Планов у меня было множество. Думаю, не покинь я родины, осуществил бы их. Хотел я превратить Архангельское в художественный центр, выстроив в окрестностях усадьбы жилища в едином стиле для художников, музыкантов, артистов, писателей. Была б у них там своя академия искусств, консерватория, театр. Сам дворец я превратил бы в музей, отведя несколько залов для выставок. Украсил бы парк, преградил бы реку плотиной, чтобы залить окрестные поля и устроить большое озеро, и продлил бы террасы до самой воды.

Думал я не только об Архангельском. В Москве и Петербурге мы имели дома, в которых не жили. Я мог бы сделать из них больницы, клиники, приюты для стариков. А в петербургском на Мойке и московском Ивана Грозного – создал бы музей с лучшими вещами из наших коллекций. В крымском и кавказском имениях открыл бы санатории. Одну-две комнаты от всех домов и усадеб оставил бы самому себе. Земли пошли бы крестьянам, заводы и фабрики стали бы акционерными компаниями. Продажа вещей и драгоценностей, не имеющих большого художественного и исторического интереса, плюс банковские счета составили бы капитал, на который осуществил бы я всё задуманное.

Были это мечты, однако неотступные. И строил я планы, и строил. Так что новое идеальное Архангельское стал видеть порой во сне.

Планами я поделился с матушкой и великой княгиней. Великая княгиня поняла и одобрила, матушка – нет. Будущее мое виделось матушке иначе. Я был последним в роду Юсуповых и потому, говорила она, должен жениться. Я отвечал, что не склонен к семейной жизни и что, если обзаведусь детьми, не смогу пустить состояние на проекты свои. Добавил, что, закипи революционные страсти, жить, как в екатерининские времена, мы не сможем. А жить усредненно-обывательски в нашей-то обстановке – бессмыслица и безвкусица. Я хотел сохранить Архангельское прекрасно-роскошным и, значит, не мог держать его для десятка счастливцев, но обязан был открыть возможно большему числу ценителей.

Матушку я убедить не мог. Спор наш ее только расстраивал, и спорить я перестал.

Глава 14

Из Москвы в Крым и обратно – Зима в Царском Селе – Иоанн Кронштадтский – Объезжаю имения – Отъезд за границу

Осенью великая княгиня поехала с нами в Крым. Ее присутствие, вдобавок путевые впечатления, красота природы и ясные дни оживили матушку. Правда, не успели мы приехать, как пошел гость с соболезнованиями, и матушка, как всегда, безотказно принимала всех. Депрессия у нее обострилась, и она опять слегла.

Приехал к нам в Крым великий князь Дмитрий. Не было дня, чтоб он не повидал меня. Часами мы говорили. Дружба его меня глубоко трогала. Он сказал, что будет мне братом и сделает всё, чтобы заменить Николая. Долгие годы он держал слово.

Вскоре, однако же, крымское безделье и скука стали меня тяготить. Я подумал было вернуться в Москву, к работе. Великая княгиня была против, советуя не уезжать, пока матушка не поправится. Увы, поправки доктора не обещали. Они говорили, что возможно лишь временное улучшение, но полного выздоровления не будет.

Я колебался. Сыновний долг велел остаться, разум внушал, что такая жизнь не по мне. Пока я раздумывал, выяснилось, что матушка с великой княгиней затеяли меня женить. Даже и невесту высмотрели. Решили за меня, не посчитались с моим вольнолюбием. Думали, волк стал послушной овечкой, а ведь я во многом остался прежний. Уж жену-то, если женюсь, выберу сам. Против их опеки я тотчас взбунтовался. И, казалось, обретенного мира в душе вмиг не стало. Мучения и сомнения словно не покидали меня. И я уехал в Москву – продолжать благотворительную работу.

Раскаиваться мне не пришлось. Помогая обездоленным, я обрел равновесие и успокоился.

Месяцем позже родители, великая княгиня и Дмитрий вернулись из Крыма. Я проводил их в Петербург и провел с ними зиму в Царском Селе.

В тот год двор был в трауре по случаю кончины великого князя Алексея Александровича, дяди царя. Великий князь Владимир тотчас попросил государя дозволить вернуться, якобы на похороны, сыну своему Кириллу, сосланному после женитьбы. Женился он на двоюродной сестре своей, принцессе Виктории, бывшей первым браком замужем за герцогом Гессенским, братом царицы.

Герцога я прекрасно знал по Архангельскому. Он был хорош собой, весел и привлекателен. К тому ж эстет, ценил более всего красоту, притом имел свои причуды. Однажды решил, что белые голуби у него в имении не смотрятся со старыми стенами, и покрыл птичьи перышки небесно-голубой краской. Брак с принцессой Викторией был несчастлив. Они развелись, и Виктория вышла за кузена своего, великого князя Кирилла. Вышел скандал. Двор не признал ни развода, ни брака. Императрица углядела во всем оскорбление брату и оскорбилась сама. Она уговорила государя сослать Кирилла и лишить его титула с привилегиями. Позже были изгнанники прощены, но сами императрице не простили.

Вскоре после смерти великого князя Алексея скончался протоиерей Иоанн Кронштадтский. Вся Россия оплакивала его кончину. Уже при жизни почитали его как святого. Став в двадцать шесть лет священником в церкви Св. Андрея Кронштадтского, он с первых дней священства завоевал уважение и любовь паствы. Все почти время посвящал он неимущим и немощным. Он отдавал им всё до последнего гроша. Порой приходил домой босиком, оставив обувь свою случайному нищему. Отовсюду приходили к нему. Являлись даже магометане и буддисты, прося исцелить своих больных. Иногда исцеление, о котором молился он, считалось совершенным чудом.

Когда родился один из братьев моих, матушка тяжело заболела. Доктора развели руками. Она была уже при смерти, но позвали отца Иоанна. Едва он вошел в комнату, матушка открыла глаза и протянула к нему руки. Отец Иоанн опустился на колени у кровати ее и стал молиться. Наконец поднялся, благословил матушку и сказал: «Господь поможет ей. Она поправится». И матушка поправилась очень скоро.

Паства его росла, и о. Иоанн установил общую исповедь. Очевидцы говорили мне, что шум в церкви стоял ужасный: исповедуясь, каждый хотел перекричать другого. Женские голоса были слышнее. Женщины образовали секту. Эти так называемые «иоаннитки» о. Иоанну порядком досаждали. Уверившись, что он – новый Христос, зачастую кидались они в истерику, бросались на него и кусали до крови. Этим, как правило, в исповеди он отказывал.

К матушке о. Иоанн сохранил дружбу и часто ее навещал в детские годы мои. Не забуду его ясный проницательный взгляд и добрую улыбку. Последний раз я видел его в Крыму незадолго до его смерти. В тот день он сказал мне: «Веяние Господне душе всё равно что воздух телу. Тело дышит воздухом земным, душа –

горним». Я помню слова его.

О. Иоанну было семьдесят восемь лет, когда, вызвав якобы к умирающему, его заманили в ловушку и избили. И убили бы, не подоспей кучер, привезший его. Он вырвал старца из рук негодяев и отвез назад полуживого. От увечий о. Иоанн так и не оправился. Несколько лет спустя он умер, так и не открыв имена палачей. Смерть его была величайшим горем и для России, и для царя, потерявшего в нем советчика верного и мудрого.

В эту же зиму странное событие напомнило мне клятву, которую дали мы с братом во времена наших спиритических фокусов. Поклялись мы, что первый из нас, кто умрет, известит другого с того света. Был я несколько дней в Петербурге, в доме на Мойке. Однажды ночью я проснулся и, движимый необъяснимой силой, пошел к комнате брата, запертой со дня его смерти. Вдруг дверь открылась. На пороге стоял Николай. Лицо его сияло. Он тянул ко мне руки... Я бросился было навстречу, но дверь тихонько закрылась. Всё исчезло.

Жизнь наша в Царском была однообразна. Не видел я почти никого, кроме Дмитрия. Несколько раз за всю зиму вызывала меня к себе в Александровский дворец императрица. Хотела она говорить о моем будущем и направлять меня. Но с сестрой ее беседовал я легко и прямо, а с ней самой был всегда скован. Словно тень Распутина стояла меж нами. «Всякий уважающий себя мужчина, – сказала она мне однажды, – должен быть военным или придворным».

Я отвечал, что военным быть не могу, потому что война мне отвратительна, а в придворные не гожусь, потому что люблю независимость и говорю то, что думаю. В общем, служба была не для меня. Я наследовал огромное состояние и ответственность, с ним связанную. На мне – земли, заводы, благосостояние крестьян. Правильное управление всем – тоже своего рода служба отечеству. А служу отечеству – служу и царю.

Императрица заметила, что отечество у меня выходило важней царя.

– А царь и есть отечество! – вскричала она. В этот миг открылась дверь и вошел император.

– Феликс законченный революционер! – объявила ему императрица.

Государь с удивлением глянул на меня своими добрыми глазами, но ничего не сказал.

Матушке стало немного лучше. Она потихоньку вернулась к делам своим и снова занялась благотворительностью. Отец редко

бывал дома, проводя вечера в клубе. Тогда я сидел подле матери. Я читал ей вслух, она вязала. Но долго жить в заточении, вполсилы я не мог. К весне решил я проехать по России осмотреть наши имения и промыслы. Решение это отец с матерью целиком одобрили. Отец отдал в мое распоряжение личный вагон, и я уехал, взяв с собой управляющего, отцовского секретаря и двух-трех друзей.

Поездка длилась более двух месяцев. Проникнутый важностью дела, я чувствовал себя юным владыкой на осмотре владений. Восхищали меня красота и многообразие их, и всюду, всюду горячий прием, мне оказанный. Крестьяне в местных платьях встречали меня песнями и танцами. Многие бросались передо мной на колени. Вагон наш завалили цветы и дары: куры, гуси, утки, поросята. Было их столько, что пришлось прицепить второй вагон, чтобы увезти всё. Прекрасные воспоминания оставила мне эта поездка. Окончил я ее в Крыму, куда родители уже прибыли на осень.

И снова тяготили меня тамошние скука и праздность. Был мне двадцать один год. Пришла охота к перемене мест. Подумывал я уехать за границу. Вспомнилось, что один приятель мой, Василий Солдатенков, бывший морской офицер, ныне парижанин, много раз советовал поступить в Оксфордский университет. Я решил ехать в Англию. Великая княгиня Елизавета Федоровна, услыхав от меня о том, стала поначалу отговаривать, но под конец вняла моим доводам и обещала сделать всё, чтобы убедить и родителей. Дело оказалось трудным и долгим. Все же был я уверен в успехе и написал Солдатенкову, что вскоре приеду ненадолго в Париж.

Родители наконец отпустили меня, однако только на месяц. Я был рад и тому.

За несколько дней до моего отъезда императрица вызвала меня к себе в Ливадию. Когда вошел я к ней, она сидела на террасе за вышиванием. Объявила, что удивлена, как могу я оставить больную матушку, пыталась отговорить меня ехать. Сказала, что многие молодые люди уезжали в Европу на время, а потом отвыкали от родины, не могли освоиться дома и покидали Россию уже насовсем. А я, по ее словам, права на то не имел. Я, мол, обязан был остаться в России и служить императору.

Я заверил ее, что бояться нечего, навек я не уеду, потому что Россию люблю больше всего на свете и в Оксфорде желаю учиться, чтобы потом принести пользу царю и отечеству.

Ответ мой императрице, по всему, не понравился. Она заговорила о другом, а на прощание советовала повидаться в Лондоне с сестрой ее, принцессой Викторией Баттенбергской. Для

нее дала она мне письмо. Наконец, пожелала счастливого пути и сказала, что надеется видеть меня зимой в Царском.

В день моего отъезда отслужили в домашней часовне молебен, дабы охранил меня Господь в путешествии. Все плакали, целовали и благословляли меня. Смех сквозь слезы. Точно еду не на прогулку в Англию, а в опасную экспедицию на Северный полюс или к вершине Гималай.

Наконец я уехал с верным своим Иваном и прибыл в Париж без приключений, если не считать потери паспорта на франко-германской границе.

Вася Солдатенков встречал меня на вокзале. Примечательный был тип: умный, спортивный, обаятельный, необычайно волевой и подвижный. Свой гоночный автомобиль он назвал «Лина» в честь красавицы Лины Кавальери, которую ранее покорил. Женщины сходили по нему с ума. Им нравились его стать, широкие плечи, грубое лицо и его жизнь, как в автомобиле, на всех парах. Женился он на прелестной княгине Елене Горчаковой, но в браке счастлив не был.

Я провел несколько дней в Париже и в сопровождении Василия уехал в Англию.

Глава 15

1909–1912. Месяц в Англии – Первая встреча с Распутиным – Отъезд в Оксфорд – Университетская жизнь – Анна Павлова – Светская жизнь, маскарады и пр. – Прощание с университетом – Последний раз в Лондоне – Англичанин дома

В Лондоне я остановился в «Карлтоне». Начиналась осень, не лучшее время для знакомства с Англией. И тем не менее всё мне было по душе. Нравились английские приветливость, радушие, самообладание. Нравилось даже, как простодушно чванится англичанин собственным превосходством. На другой день после приезда за обедом в русском посольстве с удивлением обнаружил, что наш посол, граф Бенкендорф, плохо говорит по-русски.

На следующий день я был зван к герцогу Людвигу Баттенбергскому. Супруга его, герцогиня, долго расспрашивала меня о Распутине. Слухи о власти, какую забрал старец над ее сестрой, возмущали ее. Принцесса Виктория была умна и понимала, чем это грозит России. Узнав, что я хочу учиться в Оксфордском университете, она советовала мне побывать у двоюродной сестры ее, принцессы Марии-Луизы Шлезвиг-Гольштейнской и архиепископа Лондонского. Они, по ее словам, были людьми мне полезными. Я последовал совету немедленно. Они, как и прочие, встретили меня очень сердечно. И оба одобрили Оксфорд. И, кстати сказать, когда я стал студентом, милые советчики мои часто навещали меня. Архиепископ познакомил меня с молодым англичанином Эриком Гамильтоном, собиравшимся также учиться в Оксфорде, в том же колледже, что и я. Тот давний милый юноша, с которым сохраняю я дружбу, ныне – виндзорский капеллан.

Прихватив рекомендательные письма, отправился я к ректору университетского колледжа – старейшего в Оксфорде. Ректор принял меня на редкость любезно и рассказал об университетской жизни. Оказалось, что через каждые два месяца – три недели каникул, а летом каникулы – три месяца. Распорядок мне на руку. Домой можно ездить часто. Ректор провел меня по колледжу, показал студенческие комнаты, маленькие, но удобные. Помещение на первом этаже было еще свободно: зала с окном на улицу. Окно зарешечено. Рядом еще комнатка. Всё вместе, сказал ректор, называется «клуб». У того, кто живет здесь, собираются студенты на стаканчик виски. Еще он сказал, что в первый год я обязан жить в колледже, а потом могу

нанять дом или квартиру в городе. Я просил приготовить обе комнаты к моему приезду в Оксфорд на следующую зиму.

Уладив квартирный вопрос, я пошел посмотреть город и полюбил его тут же. Многочисленные колледжи – все бывшие монастыри с высокими стенами и роскошными парками. От века к веку, сменяя друг друга, поколения студентов поддерживают в древних стенах дух вечной молодости. Со слезами б покинул я Оксфорд, не знай, что вернусь очень скоро.

Перед отъездом в Париж я поехал навестить великого князя Михаила Михайловича, брата моего будущего тестя, жившего с семьей в прекрасном имении близ Лондона. Находился он в ссылке с тех пор, как женился на графине Меренберг, внучке Пушкина. Имела она также титул графини Торби. Была она необычайно приветлива и любима лондонцами. Страдала она от мужнина злоязычия. Великий князь день и ночь поносил свою русскую родню. Но с него спрос был невелик, а вот ее жалели. Было у них трое детей: сын по прозвищу Бой и две прехорошенькие девочки Зия и Нэда. Учась в Оксфорде, я часто видел их.

Из Лондона я привез целый скотный двор для Архангельского: быка, четырех коров, шесть поросят и бесчисленное множество кур, петухов и кроликов. Крупный скот я отправил прямо в Дувр на корабль, а клетки с курами и кроликами оставил при себе, поместив их в подвале «Карлтона». Но не смог отказать себе в удовольствии: открыл клетки и выпустил живность! Ну и зрелище! Вмиг пернатые и косые разбежались по гостинице. Куры с петухами порхали и квохтали, кролики визжали и всюду клали кучки. Гостиничная прислуга, как водится ловкая, бегала за ними. Управляющий бушевал, постояльцы разевали рот. Короче, успех полный!

В Париже я провел несколько дней, чтобы повидать друзей, в их числе были Рейнальдо Ган и Франсис де Круассе. Провели мы чудесные музыкальные вечера. Рейнальдо с удовольствием слушал, как я пел, и дал мне несколько дивных своих мелодий.

В Россию я вернулся полный сил и планов. Отец с матерью находились в тот момент в Царском Селе. Мать успела успокоиться и смириться. Великий князь Дмитрий жаждал услышать подробности путешествия. Императрица, в ту пору еще в дружбе с матушкой, часто захаживала к нам. Она тоже подолгу расспрашивала меня об Англии и о сестре, принцессе Виктории. Я не стал ей говорить, как тревожит принцессу ее увлечение Распутиным. Вскоре я уехал с родителями в Москву и снова стал ходить в больницу к чахоточным. Больные сменились, но врачи и сиделки остались те же, и я рад был встретиться с ними. Часто

виделся я и с великой княгиней Елизаветой Федоровной. И опять часами говорил с ней.

Лето я провел в Архангельском. Видел животных, свое английское приобретение. Отец был доволен ими, даже заказал мне еще трех коров и быка. Я тотчас телеграфировал в Лондон, как умел по-английски: «Please send me one man cow and three Jersey women» («Прошу прислать одну мужскую корову и трех женских»). Поняли меня правильно, судя по присланному заказу, но какой-то шутник-журналист раздобыл мою телеграмму, напечатал ее в английских газетах, и стал я посмешищем всех моих лондонских друзей.

Осень, как всегда, провели мы в Крыму. Время летело быстро. Я учил английский и душой был уже в Оксфорде.

В конце этого, 1909-го, года впервые встретил я Распутина.

Мы вернулись в Петербург. Рождество я собирался провести с родителями, перед тем как уехать в Оксфорд. В то время я давно уже водил дружбу с семейством Г., вернее, с младшей дочерью, страстной поклонницей «старца». Девица была слишком чиста и наивна и не могла еще понимать всей его низости. Это человек, уверяла она, редкой силы духа, он послан очищать и целить наши души, направлять наши мысли и действия. Я с сомнением выслушивал ее дифирамбы. Ничего еще толком о нем не зная, я уж тогда предчувствовал надувательство. Тем не менее восторги барышни Г. разожгли мое любопытство. Я стал расспрашивать ее о боготворимом ею субъекте. По ее словам, он посланник неба и новый апостол. Слабости человеческие не имеют силы над ним. Грех ему неведом. Жизнь его – пост и молитва. И мне захотелось познакомиться с человеком столь замечательным. Вскоре я отправился на вечер к семейству Г., чтобы увидеть наконец знаменитого «старца».

Г. жили на Зимнем канале. Когда вошел я в гостиную, мать и дочь сидели у чайного стола с торжественными лицами, словно в ожидании прибытия чудотворной иконы. Вскоре открылась дверь из прихожей, и в залу мелкими шажками вошел Распутин. Он приблизился ко мне и сказал: «Здравствуй, голубчик». И потянулся, будто бы облобызать. Я невольно отпрянул. Распутин злобно улыбнулся и подплыл к барышне Г., потом к матери, не чинясь прижал их к груди и расцеловал с видом отца и благодетеля. С первого взгляда что-то мне не понравилось в нем, даже и оттолкнуло. Он был среднего роста, худ, мускулист. Руки длинны чрезмерно. На лбу, у самых волос, кстати всклокоченных, шрам – след, как я выяснил позже, его сибирских разбоев. Лет ему казалось около сорока. На нем были кафтан, шаровары и высокие сапоги. Вид он имел простого крестьянина. Грубое лицо с

нечесаной бородой, толстый нос, бегающие водянисто-серые глазки, нависшие брови. Манеры его поражали. Он изображал непринужденность, но чувствовалось, что втайне стесняется, даже трусит. И притом пристально следит за собеседником.

Распутин посидел недолго, вскочил и опять мелким шажком засеменил по гостиной, бормоча что-то бессвязное. Говорил он глухо и гугниво.

За чаем мы молчали, не сводя с Распутина глаз. Мадемуазель Г. смотрела восторженно, я – с любопытством.

Потом он подсел ко мне и глянул на меня испытующе. Меж нами завязалась беседа. Частил он скороговоркой, как пророк, озаренный свыше. Что ни слово, то цитата из Евангелия, но смысл Распутин перевирал, и оттого становилось совсем непонятно.

Пока говорил он, я внимательно его рассматривал. Было действительно что-то особенное в его простецком облике. На святого старец не походил. Лицо лукаво и похотливо, как у сатира. Более всего поразили меня глазки: выражение их жутко, а сами они так близко к переносице и глубоко посажены, что издали их и не видно. Иногда и вблизи непонятно было, открыты они или закрыты, и если открыты, то впечатление, что не глядят они, а колят иглами. Взгляд был и пронизывающ, и тяжел одновременно. Слащавая улыбка не лучше. Сквозь личину чистоты проступала грязь. Он казался хитрым, злым, сладострастным. Мать и дочь Г. пожирали его глазами и ловили каждое слово.

Потом Распутин встал, глянул на нас притворно-кротко и сказал мне, кивнув на девицу: «Вот тебе верный друг! Слушайся ее, она будет твоей духовной женой. Голубушка тебя хвалила. Вы, как я погляжу, оба молодцы. Друг друга достойны. Ну, а ты, мой милый, далеко пойдешь, ой, далеко».

И он ушел. Уходя в свой черед, я чувствовал, что странный субъект этот произвел на меня неизгладимое впечатление.

Днями позже я снова побывал у м-ль Г. Она сказала, что я понравился Распутину и он желает увидеться снова.

Вскоре я уехал в Англию. Новая жизнь ожидала меня.

После тяжкого переезда я остановился на ночь в Лондоне. Управляющий «Карлтона», не забывший куриную корриду, глянул на меня хмуро. А наутро я уже оказался в Оксфорде. Первый, кого я в колледже встретил, был Эрик Гамильтон. Он проводил меня до моей комнаты и сказал, что зайдет за мной, чтобы идти вместе обедать в столовую, где соберутся мои товарищи. Перед обедом лакей принес студенческую форму: черную блузу и квадратную шапочку с кисточкой сбоку. Форма мне понравилась, обед – нет.

Однако было мне не до яств. Заботило другое. Я приступил к обустройству. Боковую комнатку я превратил в спальню. В углу повесил иконы, над кроватью – лампадку. Словом, как дома. Большая комната будет гостиной. На полках расставил книги, на столах – безделушки и фотографии. Взял на пользование фортепьяно, сходил накупил цветов. Холодные безликие комнаты стали милы и уютны. К вечеру гостиная была полна студентов. Пили, пели, болтали до утра. В считанные дни я со всеми перезнакомился. К наукам меня не тянуло. Хотелось узнать людей иной культуры, их характеры, нравы, обычаи. Оксфорд был лучшим для этого местом, потому что молодежь съезжалась сюда отовсюду. Мне казалось, что я совершаю кругосветное путешествие. Спорт мне тоже нравился, но не грубый: любил я псовую охоту, поло и плавание.

Студенты, жившие в колледже, обязаны были возвращаться не позже полуночи. Следили за этим строго. Кто нарушал правило трижды за семестр, бывал исключен. В этом случае устраивались его похороны. Всем колледжем провожали его на вокзал под звуки похоронного марша. Во спасение нарушителей я придумал связать из простыней веревку и спускать ее с крыши до земли. Опоздавший стучал мне в окно, я лез на крышу и скидывал ему веревку. Однажды ночью ко мне в окно постучали. Я бросился на крышу, скинул веревку и поднял... полицейского! Не вмешайся архиепископ Лондонский, выгнали б и меня из колледжа.

Чуть не выгнали еще раз – за опоздание мое собственное. В тот вечер, поужинав в ресторане, возвращались мы с товарищем на автомобиле из Лондона. Неслись что было мочи, ибо едва успевали в Оксфорд к сроку. Я особенно хотел успеть: на моем счету уже было два опоздания. Третье означало неизбежное исключение.

Автомобиль вел мой товарищ. Ехали вдоль железной дороги. В тумане товарищ наехал на ограду и пробил ее. От сильнейшего удара я вылетел на рельсы, потеряв сознание. А очнувшись, увидел свет, приближавшийся с невероятной быстротой. Я еще не вполне пришел в себя, однако инстинктивно откатился с рельсов. Лондонский скорый пронесся, как смерч, воздушной волной отбросило меня на насыпь. Я встал цел и невредим. А вот товарищ мой, хоть и жив был, оказался в плачевном состоянии, с переломанными руками и ногами. Что при этом осталось от машины, и говорить нечего. Из будки путевого сторожа я вызвал по телефону карету скорой помощи, отвез товарища в оксфордскую больницу и вернулся в колледж с опозданием на два часа. Ввиду извиняющих обстоятельств меня не выгнали.

С утра после ненавистного холодного душа и плотного завтрака – единственно съедобной еды – до обеда я сидел на занятиях, от полудня до священного пятичасового чая – спорт, потом расходились работать по комнатам. Вечерами собирались у меня болтать и музицировать за стаканчиком виски.

Так, здорово и весело провел я в Оксфорде первый год. Однако чудовищно страдал от холода. В спальне – никакого обогрева и стужа, почти как на улице. Вода в тазике для умывания замерзала, по утрам казалось, что бреду я в ледяном болоте.

На следующий год я воспользовался правом второкурсников жить в городе и снял простой неказистый домишко, однако очень быстро преобразил его. Двое приятелей, Жак де Бестеги и Луиджи Франкетти, поселились у меня. Франкетти прекрасно играл на фортепьяно. Мы с упоением слушали его ночи напролет. Из России привез я повара и автомобиль. Всей моей обслуги, помимо русского кашевара, – французский шофер и англичане: безупречный камердинер Артур Кипинг да муж с женой – жена ходила в экономках, муж занимался тремя моими лошадьми. Купил я скакуна для охоты и два пони для поло. Завел еще бульдога и красно-желто-синего попугая-самку. Попугаиху звали Мэри. Бульдога – Панч. Как все бульдоги, был он большой оригинал. Я заметил, что рисунок шашечкой, на мебели, на вещах ли, бесил его. Однажды, когда был я на примерке у своего портного Дэвиса, вошел в ателье пожилой элегантный джентльмен в клетчатом костюме. Не успел я и глазом моргнуть, как Панч бросился на него и оторвал ему брючину. В другой раз я привел знакомую даму к скорняку, и Панч напал на посетительницу с собольей муфтой, обмотанной шарфом в черно-белую клеточку. Он мгновенно выхватил муфту и помчался с добычей по Бонд-стрит. Вся мастерская, и я в том числе, кинулась в погоню. С трудом догнали мы его и отняли муфту и шарф. Они оказались почти целы. На каникулы я увез Панча в Россию, забыв, что по неумолимым английским законам ввоз собак в Англию без шестимесячного карантина запрещен. О карантине я и думать не желал и решил схитрить. Осенью проездом в Париже по дороге в Оксфорд я зашел к одной знакомой старой русской куртизанке, доживавшей свой век во Франции. Я попросил ее проводить меня в Лондон, переодевшись няней, с Панчем в пеленках и чепчике. Милая старушка охотно согласилась. Показалось ей страшновато, но весело. Наутро мы уехали, накормив «младенца» снотворным, чтобы угомонить его на время пути. Хитрость удалась. Никто ничего не заметил.

Летом дома случилось мне присутствовать на церемонии незабываемой. Речь шла о прославлении мощей блаженного Иосафа. Состоялось оно в тот год в Успенском соборе в Кремле. Великая княгиня Елизавета Федоровна просила меня сопровождать ее. Места, нам отведенные, позволяли видеть всё отчетливо. Огромная толпа заполонила собор. Раку с мощами установили на хорах и повлекли к ней и под руки, и в носилках больных, желавших приложиться к святыне. На бесноватых было страшно смотреть. Чем ближе подходили они к ковчегу, тем ужасней кричали и корчились. Порой и несколько человек еле могли удержать их. Кричавшие заглушали песнопение, точно сам сатана хулил Господа их устами. Но, как только силою заставляли их коснуться мощей, они тотчас успокаивались. Некоторые становились совершенно нормальными. Я своими глазами видел случаи чудесного исцеления.

14 сентября того же 1911 года в Киеве был убит премьер-министр Столыпин, великий государственный муж, преданный отечеству и царю. Яростный враг Распутина, он постоянно боролся с ним, вызывая к себе неприязнь царицы, для которой враг «старца» был врагом царю.

Я уж рассказывал в одной из глав о первом неудачном покушении на Столыпина в 1906 году. Меры, которые он принял с тех пор, улучшили и упорядочили многое. Он подготавливал закон о развитии крестьянской собственности и уничтожении общины, когда был убит револьверным выстрелом на театральном представлении в присутствии императора. Он рухнул на пол, смертельно раненный, но, собрав последние силы, приподнялся, протянул руку в сторону императорской ложи и благословил государя. Убийцей Столыпина был некто Богров, еврей, революционер и, как ни дико это звучит, агент 2-го отделения, да к тому ж близкий друг Распутина. Дело замяли в два счета, словно боялись каких-то разоблачений.

Смерть Столыпина была праздником всех врагов России и династии. Теперь уж злодеяниям не помешает никто. В разговорах со мной Дмитрий возмущался государевыми безразличием и полным непониманием важности положения. Государыня как-то сказала ему: «Кто обижает нашего друга, обижает Господа, стало быть, нет ему Божьего благословения. Молитвы старца идут прямо на небо. Только им внемля, простит Господь».

В конце каникул я пожил недолго в Париже, где встретился с Жаком Бестеги. Последние вольные деньки веселились мы на

славу.

О выпускных балах-маскарадах в парижской Высшей художественной школе знал я только понаслышке. Рассказы разожгли мое любопытство. Очередной выпускной вечер близился. Мы решили сходить. Вопрос с костюмами решился просто. В тот год обязателен был доисторический образ. Хватит одной леопардовой шкуры. И Бестеги, человек прижимистый, купил себе поддельного леопарда. В довершение нахлобучил белокурый парик с двумя косицами и стал похож скорей на Валькирию, нежели на пещерного дикаря. Что до меня, я одолжил у Дягилева костюм Нижинского из балета «Дафнис и Хлоя»: настоящую леопардовую шкуру и большую соломенную шляпу аркадского пастуха, завязанную тесьмой вкруг шеи и спадавшую на спину.

Бал разочаровал меня. В жизни не видел я зрелища более мерзкого. Полуголая толпа колыхалась в духоте и вони телесных испарений. Нагота молодости и красоты чиста, уродства и старости – непристойна. А эти ряженые были пьяны и безобразны, распущены, иные даже, потеряв всякий стыд, совокуплялись на глазах у публики. В ужасе мы бежали с бала. Леопардовые шкуры с нас сорвали. Всей одежды осталось – на Жаке белокурый парик, на мне – аркадская шляпа.

В те же дни познакомился я с известной куртизанкой Эмильеной д'Алансон, равно красивой и умной, к тому ж острой на язык насмешницей. В ее особняке на авеню Виктора Гюго я стал завсегдатаем. В саду у нее была китайская беседка с изящнейшим декором и меблировкой. Рассеянный свет добавлял неги. Здесь Эмильена проводила почти все время, читая, куря опиум или сочиняя премилые стишки, которые охотно мне декламировала. Она умела окружить себя интересными людьми, умела принять, держась превосходно, как почти все тогдашние дамы полусвета. Их уму и манерам поучились бы нынешние великосветские львицы!

Приезжал я домой не только на каникулы. Порой меня вызывали депешей к матери, которая часто прихварывала. Однажды, когда были они с отцом в Берлине, с ней случился сильнейший нервный припадок. Отец, зная, что я один лишь могу успокоить ее, телеграфировал мне в Оксфорд, и я примчался.

Стояла адская жара. Матушка лежала в кровати под шубами в комнате с закрытыми окнами и есть наотрез отказывалась. Ее мучили дикие боли. Кричала она на всю гостиницу.

Мы знали, что болезнь ее чисто нервная, поэтому вызвали психиатра, светило среди берлинских докторов. Как только прибыл он, я провел его к матушке и, оставив их с глазу на глаз,

вышел.

Вдруг из-за двери донесся смех. Так давно я не слышал, чтобы матушка смеялась, что на миг остолбенел. Потом приоткрыл дверь: ну да, смеется, открыто и весело. «Светило» сидело на стуле явно смущенное смехом пациентки.

– Умоляю, уведи его! – сказала мне она, заметив меня в дверях. – Не могу больше! Ну и умора!

Я проводил обратно оторопевшего доктора. Когда я вернулся к матушке, она и рта не дала мне раскрыть.

– Твоего врача самого лечить надо, – объявила она. – Он посмотрел на часы у меня над кроватью, и знаешь, что сказал? «Странно, – говорит, – вы заметили, что ваши часы остановились в тот же час, когда умер Фридрих Великий?» Таким образом, визит психиатра всё же пользу принес. Не мытьем, так катаньем.

И я покинул Берлин, оставив матушку уже в добром здравии. Загадочная история имела, однако, место, пока жил я в гостинице. Каждый вечер, возвратясь в номер, в спальне на подушке находил я красную розу. Без ключа войти никто не мог. Разве что горничная влюбилась в меня.

По возвращении в Англию получил я приглашение на костюмированный бал в Альберт-Холл. Времени имелось довольно, и, успев съездить в Россию на каникулы, я заказал в Петербурге русский костюм из золотой с красными цветами парчи XVI века. Вышло великолепно. Кафтан и шапка расшиты были брильянтами, оторочены соболями. Костюм произвел фурор. В тот вечер со мной перезнакомился весь Лондон, а назавтра фотографию мою напечатали все лондонские газеты. На балу я познакомился с молодым шотландцем Джеком Гордоном. Учился он также в Оксфорде, но в другом колледже. Он был очень хорош собой и смахивал на индусского принца. В высшем лондонском обществе его уже приняли. Обоих нас манила великосветская жизнь, и наняли мы на Керзон-стрит, 4, две сообщающиеся меж собой квартиры. Отделку с меблировкой заказал я двум мисс Фрит, ветхим, как мир, и приветливым старым барышням, хозяйкам мебельного магазина на Фулхем-Роуд. В широких юбках и кружевных чепчиках они, казалось, сошли со страниц диккенсовских романов. Всё шло прекрасно, пока не заказал я им черный напольный ковер. Они, видно, приняли меня за дьявола. С тех пор, стоило мне войти в магазин, барышни прятались за ширму, и видел я, как над ней трепетали две кружевные макушки. На черный мой ковер пошла мода. Он даже развел супругов. Жена настелила его, а муж решил, что мрачно. «Ковер или я», – сказал он. И напрасно. Жена выбрала

ковер.

Однажды мне телефонировала некая лондонская знаменитость, прося помочь ей на обеде, который давала она в «Ритце». Я согласился и расстарался вовсю, помогая принять гостей – цвет Лондона. Тонкие яства, лучшие вина, приятная беседа – успех, словом, полный. Но каково же было мое изумление, когда на другой день получил я астрономический счет!

В те дни в Лондоне находился Дягилев с балетной труппой. Карсавиной, Павловой, Нижинскому рукоплескали в Ковент-Гардене. Многих артистов я знал лично, а с Анной Павловой и дружил. Я встречался с ней ранее в Петербурге, но тогда мал был еще оценить ее. В Лондоне я увидел ее в «Лебедином озере» и был потрясен. Я забыл Оксфорд, учебу, друзей. День и ночь думал я о бесплотном существе, волновавшем зал, зачарованный белыми перьями и кровавым сверкавшим сердцем рубина. Анна Павлова была в моих глазах не только великой балериной и красавицей, а еще и небесной посланницей! Жила она в лондонском пригороде, в красивом доме Айви-Хаус, куда хаживал я часто. Дружба была для нее священна. Из всех человеческих чувств она почитала ее благороднейшим. И доказала мне это за годы наших с ней частых встреч. Она понимала меня. «У тебя в одном глазу Бог, в другом – черт», – говорила она мне.

Оксфордские студенты явились к ней с просьбой выступить в университетском театре. Павлова собиралась вскоре в турне и не имела ни одного свободного вечера. Потому поначалу отказала, но, узнав, что оксфордцы – мои друзья, обещала, к ужасу своего импресарио, что-нибудь придумать. В назначенный день она приехала прямо ко мне со всей труппой. До спектакля ей хотелось отдохнуть, и я отвел ее к себе в спальню, а артистов вывел на прогулку по Оксфорду.

Когда вернулись мы, перед домом стоял автомобиль: приехали знакомые, чью дочь досужие языки прочили мне в невесты. Дочь и родители со смущенными лицами выходили обратно: войдя, они не нашли меня в гостиной, поднялись наверх и, заглянув в спальню, увидели на моей постели спящую Анну Павлову.

Вечером в оксфордском театре Павлову вызывали бессчетное количество раз.

В те дни на меня нашла странная хворь: казалось, заболел я глазами. В театре, в гостиной, на улице вдруг виделось мне всё как в тумане. Туман повторялся, и я пошел к окулисту. Он осмотрел меня и заверил, что глаза у меня в порядке. Я успокоился, пока однажды туман этот не предстал мне совсем

иным, грозным предзнаменованием.

Завели мы обычай раз в неделю в день охоты собираться у меня прежде на завтрак. Однажды на таком вот завтраке всё тем же туманом в глазах у меня окутало товарища напротив. Двумя-тремя часами позже, перемахивая через препятствие, товарищ слетел с лошади и несколько дней находился между жизнью и смертью.

Вскоре друг родителей, будучи проездом в Оксфорде, зашел ко мне на обед. Сидя с ним за столом, я снова увидел в туманном облаке лицо его. Потом в письме к матушке я рассказал об этом и добавил, что теперь опасаюсь за жизнь их друга. Довольно быстро получил я от матушки вести: она сообщила мне о его смерти.

Эту историю я рассказал другому окулисту, встреченному в Лондоне в одном знакомом доме. Окулист отвечал, что не удивлен. Это, по его словам, случай так называемого двойного зрения. Подобное он наблюдал уже, в частности, в Шотландии.

Целый год потом я жил в страхе, что увижу в этом облаке дорогого мне человека. К счастью, сколь внезапно явилась эта глазная «хворь», столь внезапно исчезла.

Лондонское общество было в ту пору разделено на несколько кланов. Я посещал самый необывательский, где встречал художников и артистов. Манера обращения была в нем довольно свободна. Из наиболее примечательных личностей круга – герцогиня Рэтлендская. Имела она сына и трех дочерей. С дочерьми я был очень дружен, особенно с Марджери и Дайаной. Одна – брюнетка, другая – блондинка, обе красавицы, умницы и большие выдумщицы. Одна лучше другой. Мне нравились обе.

Леди Райпон, знаменитая красотка времен царствования Эдуарда VII, была, несмотря на бремя лет, хороша вне возраста, как настоящая англичанка. Умная и остроумная, она блестяще могла поддержать беседу, предмет которой не знала совершенно. Было в ней и лукавство, но его она скрывала, держась ангелом. В роскошном своем имении Кумб-Корт под Лондоном она часто принимала и каждый прием умудрялась сделать особым, но таким именно, каким быть ему надлежало. Особы королевской фамилии встречались строжайшим этикетом; государственные мужи и ученые – достойно и корректно; артисты – без фамильярности утонченно. Лорд Райпон, любя скачки, светской жизни не любил и на женины вечерах показывался мельком и редко. Появится голова его где-нибудь над ширмой и тотчас скроется. Дочь их, леди Джульетта Дафф, была в мать – хороша и всеми ценима.

Несмотря на разницу в летах, леди Райпон охотно общалась со мной. Часто звонила мне по телефону, прося помочь в

устройстве приемов и воскресных трапез.

Однажды на обед ожидала она королеву Александру и нескольких особ королевской семьи, а на ужин – Дягилева, Нижинского, Карсавину и всю русскую балетную труппу. День был прекрасный. Королева засиделась. В пять подали чай. Шесть. Семь. Королева Александра ни с места. Уж не знаю почему, хозяйке не хотелось, чтобы королева узнала о том, что вечером вслед за ней зван русский балет. Она умоляла меня помочь выпутаться. Дело было деликатным и оказалось не из легких. Я увел артистов в бальную залу и долго поил шампанским, чтобы скрасить ожидание. К хозяйке дома после отбытия королевы мы вышли на нетвердых ногах.

У леди Райпон познакомился я со многими людьми искусства, певцами, музыкантами. Бывали у нее Аделина Патти, Мельба, Пуччини. У нее же встретил я короля Португалии Иммануила, с которым дружен потом оставался до самой его смерти.

Итак, учиться я учился, но лондонская ярмарка тщеславия всё более меня захватывала. Квартира на Керзон-стрит показалась мне мала, и снял я большую у Гайд-парка. Украсить ее постарался, как мог, и преуспел. Попугаиха Мэри восседала в прихожей средь растений и плетеной мебели. Направо шла столовая, украшенная делфтским фаянсом. Стены были белы. На полу – черный ковер, на окнах – оранжевые шелковые занавеси. На стульях – яркая индийская обивка в синих разводах под цвет фаянса. Стол по вечерам освещала лампа из синего стекла и серебряные канделябры с оранжевыми абажурами. В двойном освещении лица гостей становились странно-фарфоровые. Налево шла гостиная с большим окном посреди. В ней стояли рояль, горки красного дерева, диванчики и глубокие кресла, обитые кретоном с зеленой китайской росписью. На зеленых, в тон, стенах – цветные английские гравюры. У камина – белая звериная шкура на черном ковре. Свет только от ламп.

Сразу за этой гостиной – гостиная поменьше с новейшей мартиновской мебелью.

В спальне серых тонов голубая занавеска образовывала альков. По обе стороны кровати – за стеклом над лампадками иконы. Серая лакированная мебель и черный напольный ковер в цветочек.

На исходе был третий оксфордский год. Пришлось оставить светскую жизнь и засесть за учебники. Как смог я выдержать экзамены – для меня загадка и по сей день.

Невыразимо жаль было покидать Оксфорд и расставаться с товарищами. С грустью уселся я в автомобиль меж бульдога и

попугаихи и уехал в Лондон в свой новый дом.

Лондонская жизнь до того пришлась мне по вкусу, что решил я остаться в Англии до будущей осени. Приехали ко мне в гости двоюродные сестры Ирина Родзянко и Майя Кутузова. Были они красавицы, и я с гордостью являлся с ними в свет.

Однажды, собираясь в Ковент-Гарден, кузины по совету моему обмотали волосы, как чалмой, тюлевой лентой, закрепив ее узлом на затылке. Тюль дивно оттенял лицо. Весь театр смотрел на них. В антракте знакомые сбежались в ложу представиться кузинам. Один, дипломат-итальянец по прозвищу Бамбино, тут же без памяти влюбился в Майю. С этой минуты он ни на шаг от нас не отходил. Сидел у меня дома день и ночь и добивался приглашения всюду, куда званы были мы. Наконец, кузины уехали, однако он так и сидел при мне. Мы стали приятелями.

Сербский наследный принц Павел Карагеоргиевич находился в ту пору в Лондоне. На время он переехал жить ко мне. Это был добрый и умный малый, недурной музыкант и отличный товарищ. Он, король Иммануил, князь Сергей Оболенский, Джек Гордон и я стали неразлучны. Всюду появлялись мы непременно вместе.

Однажды был я приглашен в Эрл-Корт на благотворительный спектакль. Пантомима представляла послов различных стран на приеме у королевы вымышленного королевства. Век выбрали XVI. Королеву изображала красавица леди Керзон. Она восседала на троне в окружении придворных. Я был русским посланником старомосковских времен. Мне полагалось въехать со свитой, верхом. Дали мне и платье, и цирковую лошадь, отличную белую арабскую чистокровку. Первый выходил принц Христофор, ряженный королем с короной на голове, в подбитой горностаем красной мантии с длиннейшим шлейфом и ... в монокле! Король был эффектен. Затем шел я. Едва я выехал, к ужасу моему, лошадь, заслышав музыку, стала взбрыкивать. Зрители решили, что так и задумано. Когда лошадь закончила номер, зал хлопал неистово. Страху, однако, я натерпелся. После спектакля ужинать ехали ко мне. Принц Христофор в мантии, с короной и моноклем забрался на капот моего автомобиля и так проехал под крики толпы всю дорогу. За ужином все перепились. Ни один не смог вернуться домой. На другой день в полдень меня разбудил камергер греческого двора. Он искал принца по всему Лондону. Подняли на ноги Скотленд-Ярд. Но не видно было принца Христофора и у меня. В гостиной на диванах, креслах, даже на полу лежала куча-мала. Принца нет нигде. Я забеспокоился в свой черед, но тут услыхал храп под роялем. Я сдернул что-то

красное шелковое со спящего: да, принц спит на полу меж ножек мертвецким сном, укрывшись мантией, с моноклем в глазу и короной.

Этот мой последний год в Англии был самым веселым. Чуть не каждый вечер я в маскараде. Успех имею оглушительный. Костюмов у меня множество, но более всего рукоплещут моему русскому платью.

На балу в Альберт-Холле собирался я представить Короля-Солнце. Съездил даже в Париж, заказал себе королевский наряд, но скоро одумался. Помпезность одеяния показалась смешной. Я передал костюм герцогу Мекленбург-Шверинскому. Сам же отправился на бал не королем Людовиком, но простым его подданным, французским моряком. А немец-герцог щеголял в золотой парче, драгоценных камнях и пышном султане с перьями.

Была у меня приятельница-англичанка, миссис Хфа-Уильямс. Старая и глуховатая, она, однако, сохранила живость ума и молодость души, так что поклонников имела хоть отбавляй. Покойный король Эдуард VII, никогда не скучавший с ней, не мог и дня без нее прожить и повсюду возил ее за собой. Свой деревенский дом она назвала Кумб-Спрингс – именем источника, который, как считала она, омолаживает. Эту «молодильную» воду она разливала по флаконам и продавала друзьям за бешеные деньги. Воскресные дни гости проводили у нее в безумных забавах. Обращение было свободно и часто двусмысленно. Знакомые могли прийти без приглашения в любое время и всегда бывали приняты радушно или, если желали, сопровождаемы хозяйкой в ночной лондонский ресторан.

Провел я несколько дней на острове Джерси. Поскольку интересовался животноводством, остановился однажды на пастбище полюбоваться стадом превосходных коров. Одна подошла к моему автомобилю и глянула на меня своими большими добрыми глазами с такой, как мне показалось, симпатией, что мне вдруг безумно захотелось купить ее. Хозяин коровы поломался, однако уступил.

Вернувшись в Лондон, я поручил скотину миссис Хфа. Приятельница моя приняла корову с радостью. Назвала ее Феличита и повесила ей на шею ленточку с колокольчиком.

Феличита приручилась, как собака. Она следовала за нами по пятам, разве что не входила в дом. Осенью настала мне пора возвращаться в Россию. Но, когда я хотел забрать корову, чтобы отправить в Архангельское, миссис Хфа заявила, что туга на ухо и понять не может. Я написал ей на листке: «Корова – моя». Она тотчас порвала бумажку не читая, дунула на обрывки и глянула с вызовом. Злой умысел был налицо. И я решил Феличиту

похитить.

Собрал я друзей, мы надели маски и отправились ночью в Кумб-Спрингс. Увы, шум мотора разбудил привратника, тот, приняв нас за грабителей, предупредил хозяйку. Старушка спрыгнула с кровати, схватила револьвер и принялась палить по нам из окна. Наших криков она не слышала. Когда от пальбы проснулся и повскакал весь дом, удалось наконец втолковать хозяйке, кто мы такие. Наша хитрованка угостила нас вкуснейшим ужином и напоила так, что мы не только корову, а и самих себя забыли.

Накануне отъезда я дал прощальный ужин в «Беркли». Ужин окончился маскарадом в мастерской приятеля-художника. На другой день я покинул Лондон, увозя с собой самые лучшие и долгие воспоминания.

Часто говорят, что английская политика эгоистична. Альбион называют «коварным другом», врагом всему миру, заявляют, что он рад чужим бедам и сам им способствует. Я политику ненавижу и англичан политически оценивать не хочу. Я видел, каков англичанин дома. Он радушный хозяин, большой барин и верный друг. Три года, проведенных в Англии, – счастливейшее время моей молодости.

Глава 16

1912-1913. Возвращение в Россию – Столетие Бородина – Моя помолвка

С тоской в сердце покинул я Англию, оставляя стольких друзей. Чувствовал, что некий этап жизненный завершен.

В Париже я остановился на несколько дней, повидал друзей-французов и с Васей Солдатенковым отправился в Россию. Он вез меня на своей гоночной машине «Лина». Мчался он бешенно. Когда я просил его сбавить скорость, он смеялся и прибавлял газу.

Прибыв в Царское Село, я с облегчением увидел, что матушка поздоровела. Начались бесконечные беседы о моем будущем. Государыня позвала меня и долго расспрашивала о жизни моей в Англии. Она тоже заговорила со мной о будущем и сказала, что мне непременно нужно жениться.

Истинным счастьем было встретиться с друзьями, особенно с великим князем Дмитрием, оказаться на родине, дома, увидеть Петербург, вернуться к красотам его и веселью. Наши вечеринки возобновились. Снова артисты, музыканты и, конечно, цыгане – этих заслушивались порой до зари. Как хорошо мне было в России! У себя дома!

Я часто наведывался в Москву к великой княгине Елизавете Федоровне. Что ни слово, то просьба жениться. Но в невесты никого не предлагала, потому и возразить по существу я не мог. Казалось, все точно сговорились женить меня.

Однажды я ужинал в Царском у супруги великого князя Владимира. Заговорили о торжествах по случаю столетия Бородина. Присутствовать на празднике великим княгиням императрица запретила. Императрицын запрет все в один голос осудили. Я принялся уговаривать Елену и Викторию, хозяйкиных дочь и невестку, нарушить запрет, по сути несправедливый, и прибыть на праздник инкогнито. Предложил себя в провожатые и заодно пригласил в Архангельское.

Предложение приняли с радостью. Великая княгиня Мария одобрила также, но пойти с нами отказалась. Одобрила и матушка, когда я сообщил ей, но, страшась неприятностей, просила быть осторожным.

На другой день я уехал в Москву с Солдатенковым и камердинером Иваном готовиться к приему моих дам. Просил я быть в Архангельское цыганку Настю Полякову со своим хором и заодно позвал старинного друга, цимбалиста Стефанеско,

бывшего проездом в Москве.

В день приезда великих княгинь мы с Василием отправились встречать их на вокзал. Гостьи прибыли со свитой. Вместе нас было десятеро. Все веселы, горячи и резвы.

Архангельское снова оживилось. Дом и клумбы благоухали розами. И всё вокруг заливали лучами шарм и красота великой княжны Елены. Днем мы гуляли, вечером слушали Стефанеско и цыганский хор. Жизнь была так хороша, что мы чуть не забыли о бородинских торжествах. А праздник близился. Не без сожаления покинули мы Архангельское.

В дороге ночевали в купеческом доме. Хозяин предоставил нам две комнаты. Большую отдали дамам, в меньшей расположились мы, постелив тюфяки на пол. Спать мне не хотелось, я вышел на двор. Ночь была теплой и звездной. Ярко светила луна. Когда я вернулся, огни были погашены, а спутники мои вертели стол. Великая княжна Елена сообщила, что удалось им вызвать дух, объявившийся офицером 12-го года, командиром того самого полка, чьим почетным полковником ныне великая княжна являлась. Офицер был смертельно ранен в бою у деревни, в семнадцати верстах от Бородина. Его отнесли в избу. Он дал описание ее. Дом с красной крышей, четвертый справа на краю деревни. Офицер просил великую княжну побывать там и помолиться за упокой его души у изголовья кровати, на которой он умер.

На другой день по дороге к Бородину увидали мы указанную деревню. Четвертая изба с краю была та самая. Встретила нас старая крестьянка с приветливым лицом. Великая княжна просила у нее позволения отдохнуть. Дверь в горницу была приоткрыта, и виднелась та самая кровать. Пока я беседовал с хозяйкой, великая княжна прошла к изголовью кровати, стала на колени и сказала краткую молитву. Под сильным впечатлением вернулись мы к автомобилю. Хозяйка провожала нас удивленным взглядом.

Приехали мы уже к началу праздника. Офицеры полиции, узнав великую княжну, хотели проводить нас в императорскую ложу. К изумлению их, мы попросились на трибуну для публики. Увы, оказалась она близ императорской ложи. Императрица заметила нас и посмотрела на нас недовольно.

Представление было великолепно и окончилось благословением войск. Когда для благословения вносили и воздвигали чудотворную икону Смоленской Божьей Матери, народ так и замер от волнения.

В тот же вечер мы уехали обратно в Архангельское, где ожидали нас Стефанеско с цыганами. Вскоре, однако, милые

гостьи мои покинули меня. Сказка окончилась.

А затем я и сам уехал в Крым. Там ожидало меня письмо от португальского короля Иммануила, в котором сообщал он о своем приезде. Я рад был увидеть его и возобновить дружбу оксфордской поры. Мне нравились его живой тонкий ум и чувствительность. Он любил философию и музыку. Часто он просил меня спеть ему цыганские песни. Они, по его словам, походили на португальские. Король Иммануил особенно любил писать письма. Рассказал он мне о своей переписке с Вильгельмом II и испанским королем Альфонсом XIII. Переписываться он стал и со мной. Но переписка наша вскоре заглохла. Лично я ненавидел писать письма. А кроме того, я не мог отвечать ему в тон. Послания его были слишком совершенны формой и содержанием. Все же я купил письмовник и списал письмо наобум. Разумеется, невпопад. В письме маленькая девочка рассказывала о том, как заблудилась в большом городе, в какие приключения попала и как испугалась. Когда Иммануил получил это письмо за моей подписью, он, не поняв шутки, обиделся и писать мне перестал.

В 1912 году Николай II встретился в Балтийском порту с германским императором. Для Николая и всех его близких эта встреча была не из приятных. Симпатии к Вильгельму они не питали. «Он думает, что он сверхчеловек, – сказала мне однажды императрица, – а он шут гороховый. Ничтожество. Всех и заслуг, что аскет и жене верен, потому что похождения его – платонические».

Дмитрий, рассказывая мне о встрече императоров, признал, что сердечности в ней не было ни на грош. Отсутствие искренности привело к неловкости и натянутости. Заметили это все.

Осенью состоялось бракосочетание великого князя Михаила Александровича с г-жой Вулферт. Этот брак огорчил всю императорскую семью, особенно вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Великий князь Михаил был единственным братом государя и после царевича Алексея наследовал трон. Теперь же ему пришлось покинуть Россию и жить за границей с женой, получившей титул графини Брасовой. У них родился сын, рано, однако, погибший в автомобильной катастрофе. Этот брак нанес урон престижу монархии. Личная жизнь тех, кто однажды может возглавить государство, интересам государства и долгу, налагаемому положением, обязана подчиняться.

Зиму я провел в Петербурге с родителями. Огромным событием был отмечен для меня 1913 год.

Великий князь Алексей Михайлович приехал однажды к

матушке обсудить предполагаемый брак между дочерью своей Ириной и мной. Я был счастлив, ибо это отвечало тайным моим чаяниям. Я забыть не мог юную незнакомку, встреченную на прогулке на крымской дороге. С того дня я знал, что это судьба моя. Совсем еще девочка превратилась в ослепительно красивую барышню. От застенчивости она была сдержанна, но сдержанность добавляла ей шарму, окружая загадкой. В сравнении с новым переживанием все прежние мои увлечения оказались убоги. Понял я гармонию истинного чувства.

Ирина мало-помалу поборола застенчивость. Сначала она говорила только глазами, но постепенно смог я оценить ее ум и верность суждения. Я рассказал ей всю жизнь свою. Нимало не шокированная, она встретила мой рассказ с редким пониманием. Поняла, что именно противно мне в женской натуре и почему в общество мужчин тянуло меня более. Женские мелочность, беспринципность и непрямота отвращали ее точно так же. Ирина, единственная дочь, росла вместе с братьями и счастливо избегла сих неприятных качеств.

Братья обожали сестру и смотрели на меня, будущего похитителя ее, косо. А князь Федор и вовсе принял меня в штыки. В свои пятнадцать лет он был необычайно высок и красив нордической красотой. Непокорные каштановые пряди окаймляли выразительное лицо. Смотрел он то как зверь хищно, то как дитя ласково. Нрав имел озорной. Враждебность его ко мне быстро прошла. Мы стали друзьями. Когда я женился на Ирине, дом наш стал и его домом. Без нас он не мог прожить и дня и отдалился лишь в 1924 году, когда женился сам. Женой его стала княгиня Ирина Палей, дочь великого князя Павла Александровича.

О помолвке моей еще не было объявлено официально. Неожиданно ко мне явился Дмитрий с вопросом, в самом ли деле женюсь я на его кузине. Я отвечал, что еще ничего не решено. «А ведь я тоже хотел жениться на ней», – сказал он. Я подумал, что он шутит. Но нет: сказал, что никогда не говорил серьезней. Теперь решать предстояло Ирине. Мы с Дмитрием обещали друг другу никоим образом не влиять на решение ее. Но, когда я передал ей наш разговор, Ирина заявила, что выйдет замуж за меня и только за меня.

Решение ее было бесповоротно, Дмитрий отступился. Облако омрачило нашу с ним дружбу и не рассеялось уже никогда.

Глава 17

1913. Поездка за границу – Соловецкий монастырь – Великая герцогиня Мекленбург-Шверинская

В 1913 году Россия с большой помпой отметила трехсотлетие дома Романовых. В начале лета я уехал за границу. Ирина и родители ее, задержавшись на праздновании, вскоре приехали ко мне в Англию. Мы провели в Лондоне несколько дней вместе, затем на остаток лета они уехали в Трепор. На обратном пути в Россию я побывал у них.

Вскоре после моего возвращения в Россию великая княгиня Елизавета Федоровна позвала меня совершить вместе с нею паломничество в Соловецкий монастырь. Основали его в начале XV века святые Савватий и Зосима. Монастырь расположен был на Севере, на Соловецком острове в Белом море. Прибыв в Архангельск, далее добирались мы морем. Однако прежде великая княгиня пожелала посетить архангельские церкви, и условились мы встретиться прямо на судне. Загулявшись по городу, я опоздал к отплытию. Судно отчалило. Я нанял лодку с мотором и пустился вдогонку. Увы, догнал я их только у острова и высадился, к собственному стыду, в одно время с великой княгиней.

Встречать ее вышел весь монастырь с игуменом во главе. Вмиг монахи толпой окружили нас, обступили и с любопытством разглядывали.

Монастырь особенно примечателен был зубчатыми стенами из серого и красного круглого камня. Там и сям над стенами – башни. Места вокруг сказочные. Бесчисленные озера с ясной водой сообщаются меж собой канальцами, и остров сам похож на архипелаг – множество поросших ельником островков.

Кельи, отведенные нам, были чисты и уютны. На беленых стенах висели иконы и теплились лампадки. Зато пища оказалась негодной. Все две недели пребывания сидели мы на хлебе и чае.

Иноки носили длинные волосы и бороду. Многие были чумазы и засалены. Никогда я не мог понять, почему неопрятность у русского монашества вошла в правило, точно грязь и вонь угодны Богу.

Великая княгиня ходила на все службы. Поначалу с ней ходил и я, два дня спустя я был сыт по горло и просил ее уволить меня от сей обязанности, сказав, что монахом не стану наверняка. Об одной из служб сохранились у меня особенно мрачные воспоминания. Пришли на нее четверо черноризцев-отшельников.

Клобуки они скинули, виднелись изможденные лица. Босые ноги и голые черепа были словно черной их ризе белая оторочка.

Одного из них мы посетили в лесу, в землянке, где жил он. В узкий проход в земле в нее входили, верней вползали, на четвереньках. В такой вот позе и в монашеской рясе великую княгиню я сфотографировал, и после она много смеялась, глядя на карточку. Отшельник наш лежал на полу. Всего убранства в его келье была икона Иисуса с лампадкой. Он благословил нас, не сказав ни слова.

Часть дня я плавал по озерам на лодке. Порой сопровождали меня молодые чернецы, прекрасно певшие хором. В сумерках их пение звучало поэтично-волнующе. А порой я плавал один, причаливая там, где нравилось место. Вернувшись, шел я к великой княгине или на долгую беседу к монахам, с какими подружился. Потом уходил к себе в келью и, задумавшись, сидел у распахнутого в ночное небо окна. Красота мира свидетельствовала о величии Творца его. Безмолвие и безлюдье приближали меня к Нему. Молился я молча, но ум и сердце говорили с Ним легко, доверчиво и свободно. Незримый, неведомый, в начале и в конце всего был Он, истина и бесконечность.

В прошлом я часто задавал себе вопросы, но ответа не находил. Загадка жизни тревожила меня. Нередко осознавал я фальшь и тщету роскоши, в какой жил. Рядом было ужасающе убогое петербургское «дно». Чтение философов разочаровало меня. Пустые умствования опасны, они сушат сердце. Ничего не давали ни теория, звавшая к топору, ни гордыня, не уважавшая тайну. Но и церковь не отвечала на вопрос. Церковные книги казались еще слишком мирскими.

В созерцании звездного неба находил я более успокоения, нежели в человеческой мудрости. И не верней ли всего, подумалось мне, жить в монастыре? Но ведь Господь сам вложил мне в сердце чувство, меня направлявшее! Я поделился с великой княгиней, и та согласилась, что следует мне сочетаться с той, кем уже любим я ответно. «Останешься в миру, – сказала она, – и в миру будешь любить и помогать ближнему. И ответа слушай только от самого Христа. Христос обращается ко всему лучшему, что есть в душе, Христос зажигает в ней огонь милосердия».

Навек озарена моя жизнь светом этой замечательной женщины, которую уже в те годы почитал я как святую.

На обратном пути мы снова остановились в Архангельске. И опять великая княгиня ходила по церквам, а я пустился по городу. На главной улице висело объявление о продаже с торгов белого медведя. Я вошел в аукционный зал и тотчас купил его.

Зверь был огромен и зол. Мне уж виделось, как напущу его на докучных визитеров на Мойке. Я распорядился отправить его на вокзал и отправился туда сам принять участие в деле. Перепуганный начальник вокзала пообещал прицепить к нашему поезду товарный вагон. Затем я отыскал великую княгиню. Она уже сидела в своем вагоне-салоне за чаем вместе с церковными сановниками, пришедшими проводить ее. Вдруг снаружи донесся до нас свирепый рык. На перроне стали собираться зеваки. Попы тревожно переглядывались. Великая княгиня была спокойна, однако, узнав, в чем дело, смеялась до слез. «Ты сумасшедший, – сказала она мне по-английски. – Что подумают святые отцы?» Уж не знаю, что они подумали, но посмотрели на меня недобро и простились холодно.

Поезд тронулся под крики толпы. Кого приветствовала она – великую княгиню, медведя ли, мы так и не поняли. Ночь мы провели ужасно. То и дело будило нас злое рычание. На вокзале в Петербурге великую княгиню Елизавету Федоровну встречало множество народу, в том числе лица официальные. И все от изумления пооткрывали рты, увидав великую княгиню-паломницу в сопровождении громадного белого медведя!

В августе, узнав, что в Трепоре Ирина повредила при падении ногу и отвезена на лечение в Париж, я тотчас же уехал к ней. Лечили ее долго и трудно. Каждый день я навещал ее в «Карлтоне», где жила она с родителями. Сестра моего будущего тестя, великая княжна Анастасия Михайловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская, также находилась в то время в Париже. Было ей уж давно за сорок, но оставалась она горяча и порывиста, и притом добра и ласкова. Дело портили лишь чудачества ее, своенравие и властный характер. Узнав, что я женюсь на ее племяннице, она целиком завладела мной. Себе я более не принадлежал. Вставая очень рано, уже в восемь утра она мне звонила по телефону. А то и являлась прямо в «Отель дю Рэн», где я жил, ко мне в номер, и читала газету, пока я умывался и одевался. Если ж дома меня не было, она рассылала за мной слуг по всему Парижу и сама пускалась на автомобиле на поиски. Не имел я ни минуты передышки. Я завтракал, обедал, посещал театр и ужинал вместе с ней. На спектакле она засыпала в первом же акте, но, вдруг проснувшись, заявляла, что пьеса «прескучна» и что надо пойти на другую. Часто за вечер сменяли мы два-три театра. Была она мерзлячка и у дверей ложи сажала лакея с саквояжем, набитым мехами, платками и пледами. Каждый имел номер. Если случайно она не спала, то при малейшем сквознячке наклонялась ко мне и просила принести номер такой-то. Но всё

бы ничего, не люби она танцы. Выспавшись в театре, она могла танцевать ночь напролет.

К счастью, в конце сентября Ирина поправилась, и мы все вместе уехали в Крым.

Глава 18

1913–1914.Официальная помолвка – Угроза разрыва – Вдовствующая императрица – Приготовления на Мойке – Наша свадьба

Вскоре после возвращения из Крыма мы официально объявили о своей помолвке. Потекли письма и телеграммы. Иные меня озадачили. Не ждал я, что кого-то из моих приятелей и приятельниц свадьба моя огорчит.

Ирина вскоре вновь уехала за границу с родителями. Она собиралась заняться в Париже приданым, а затем отправиться навестить бабушку, вдовствующую императрицу Марию Федоровну, гостившую тогда в Дании. Условились мы, что я к тому времени приеду в Париж и провожу Ирину с матерью в Копенгаген, чтобы представили меня вдовствующей императрице.

Прибыв в Париж на Северный вокзал, я встретил графа Мордвинова. С ужасом услыхал я, что он послан великим князем Александром объявить мне о разрыве помолвки! Запрещалось мне даже искать встречи с Ириной и родителями ее. Тщетно засыпал я вопросами великокняжеского посланца. Заявил он, что более говорить не уполномочен.

Я был потрясен. Однако решил, что не позволю обращаться с собой, как с малым дитем. Прежде чем судить, они обязаны выслушать. Буду защищаться и счастье свое отстаивать. Я тут же и поехал в гостиницу, где жили великий князь с княгиней, поднялся прямиком к ним в номер и вошел без доклада. Разговор был неприятен обоюдно. Однако удалось мне переубедить их и добиться их окончательного согласия. На крыльях счастья я бросился к Ирине. Невеста моя еще раз повторила, что ни за кого, кроме меня, не пойдет. Впоследствии выяснилось, что тех, кто оговорил меня в глазах Ирининых родителей, считал я, увы, своими друзьями. Я и прежде знал, что помолвка моя для иных была несчастьем. Выходило, что они и на подлость пошли, лишь бы расстроить ее. Их привязанность ко мне, даже и в такой форме, взволновала меня.

Разумеется, говоря об этом, я выгляжу честолюбцем, смешным, если не жалким. Но делать нечего: хочу я правды и только правды, а значит, и объективности. Да, внушил я иным любовь, совершенно не заслуженную, и последствия ее оказались тяжелы и для меня, и для них. Конечно, успех льстил мне и какое-то время нравился, пока всё было в меру. Но влекло меня к новым людям, и о тех, от кого отдалялся я, думать уже не желал...

Только наконец я понял, что с любовью не шутят. Пусть невольно, однако причинил я страдание и в ответе за это. И решил я устроить своего рода сделку сердец. Тому или той, кто любил меня без ответа, я обязан был, за неимением любви, заплатить втридорога дружбой...

Оставалось сломить сопротивление вдовствующей императрицы, которую тоже успели настроить против.

Ирина с матерью уехали в Копенгаген одни, но через несколько дней вызвали меня к себе телеграммой.

Младенцем последний раз я видел императрицу и только в 1913 году оказался представлен ей. Была она великой государыней и, как ни старалась по скромности стушеваться, из самых выдающихся личностей нашего времени.

Принцесса Дагмар, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, казалась не такой красавицей, как сестра ее, английская королева Александра, но обладала поразительным шармом, какой передала и детям, и внукам своим. Была она мала ростом, но ходила столь величаво, что всюду, где появлялась, затмевала всех. Когда она вышла замуж за царя Александра III, народ принял ее как русскую. И супругой она была примерной, и матерью любящей, и просто милосердной душой, делающей много добра. Ее ум и политическое чутье оказались полезны и в государственном деле. Германию она ненавидела страстно и сделала всё, чтобы сблизить Россию и Францию. Многие русские соглашались с ней, хоть считалось, что только тройственный русско-франко-германский союз – залог мира в Европе.

20 октября 1894 года Александр III умер в Ливадии в возрасте 49 лет. Шестью годами ранее революционеры устроили крушение царского поезда, и Александр спас семью, поддерживая, как Атлант, падавшую крышу столового вагона. Последствия нечеловеческого напряжения, к тому ж и усталость от нескончаемой борьбы с революцией преждевременно подорвали силы великана. Овдовев, императрица Мария Федоровна продолжала жить в Аничковом дворце в Петербурге. Лето проводила в Гатчине и часто ездила к датской своей родне.

Узнав, что меня намеренно постарались очернить, она захотела меня увидеть. Ирина была ее любимой внучкой, и она всей душой желала ей счастья. Я понимал, что наша судьба в ее руках.

Приехав в Копенгаген, я тотчас телефонировал во дворец Амалиенборг справиться, когда изволит принять меня ее величество. Отвечали, что ожидаем я к обеду. Во дворце в

гостиной, куда ввели меня, находились вдовствующая императрица и великая княгиня Ксения с дочерью. Радость от встречи была написана на лицах у нас с Ириной.

За обедом я то и дело ловил на себе изучающий взгляд государыни. Затем она захотела поговорить со мной с глазу на глаз. В разговоре я почувствовал, что она вот-вот сдастся. Наконец государыня встала и сказала ласково: «Ничего не бойся, я с вами».

Наконец был назначен день свадьбы: 22 февраля 1914 года в Петербурге у вдовствующей императрицы в часовне Аничкова дворца.

Для нашего будущего обустройства родители мои освободили бельэтаж в левой части дома на Мойке. Я велел сделать отдельный вход и переменил еще кое-что.

В прихожую вела невысокая беломраморная лестница с изваяниями. Направо – приемные залы с окнами на набережную. Первая – бальная зала с колоннами желтого мрамора и зимним садом за аркадою в глубине. Далее большая гостиная, обтянутая шелком слоновой кости. На стенах – французская живопись XVIII века. S-образные белые с позолотой диваны обиты вышитым цветочками шелком того же светлого, что и стены, цвета. Затем моя личная гостиная. В ней мягкая мебель красного дерева с ярко-зеленой обивкой и лучевой вышивкой. На ярко-синих стенах – гобелены и полотна голландских художников. Затем аметистовая столовая. По стенам – большие застекленные горки с вечерней подсветкой. В горках – коллекция архангельского фарфора. За столовой – библиотека. Книжные шкафы из карельской березы. Стены изумрудной зелени. Потолок в серых тонах и карнизы под мрамор с лепниной совершенной отделки. Ко всему – обюссонские ковры, обжедары и хрустальные светильники. В целом стиль от Луи-Сез к ампиру. Этот стиль всегда оставался моим любимым.

На двор выходила часовня и наши с Ириной комнаты: спальня, Иринин будуар с окнами на юг, мозаичный бассейн и комнатка, обтянутая шелком цвета стали, с горками для Ирининых драгоценностей.

Налево от прихожей я устроил жилье в духе временного пристанища на случай, если окажусь в Петербурге один. Колонны с гардинами делили залу на две части. Меньшая была мне спальней. На стенах, для большего эффекта простых и серых, – картины старинных мастеров. Рядом – маленькая восьмиугольная столовая с витражами. Двери в ней скрыты были столь искусно, что изнутри казалось – выхода нет. Одна из дверей выходила на

потайную лестницу в подвал. В этой его части я собирался устроить зальцу в ренессансном стиле. Посреди лестницы другая потайная дверка выходила прямо во двор. Именно отсюда двумя годами позже Распутин пытался бежать.

Когда работы только-только закончились, грянула революция. Так и не смогли мы насладиться новым жилищем, обустройству которого отдали столько сил.

Великая княгиня Елизавета Федоровна не собиралась присутствовать на нашем бракосочетании. Присутствие монахини на мирской церемонии было, по ее мнению, неуместно. Накануне, однако, я посетил ее в Москве. Она приняла меня с обыкновенной своей добротой и благословила.

Государь спрашивал меня через будущего тестя, что подарить мне на свадьбу. Он хотел было предложить мне должность при дворе, но я отвечал, что лучшим от его величества свадебным подарком будет дозволить мне сидеть в театре в императорской ложе. Когда передали государю мой ответ, он засмеялся и согласился.

Подарками нас завалили. Рядом с роскошными брильянтами лежали незатейливые крестьянские дары.

Подвенечный Иринин наряд был великолепен: платье из белого сатина с серебряной вышивкой и длинным шлейфом, хрустальная диадема с алмазами и кружевная фата от самой Марии Антуанетты.

А вот мне наряд долго не могли выбрать. Быть во фраке среди бела дня я не желал и хотел венчаться в визитке, но визитка возмутила родственников. Наконец униформа знати – черный редингот с шитыми золотом воротником и обшлагами и белые панталоны – устроила всех.

Члены царской фамилии, бракосочетавшиеся с лицами некоролевской крови, обязаны были подписать отречение от престола. Как ни далека была от видов на трон Ирина, подчинилась и она правилу. Впрочем, не огорчилась.

В день свадьбы карета, запряженная четверкой лошадей, поехала за невестой и родителями ее, чтобы отвезти их в Аничков дворец. Мое собственное прибытие красотой не блистало. Я застрял в старом тряском лифте на полпути к часовне, и императорская семья во главе с самим императором дружно вызволяли меня из беды.

В сопровождении родителей я пересек две-три залы, уже битком набитые и пестревшие парадными платьями и мундирами в орденах, и вошел в часовню, где в ожидании Ирины занял отведенные нам места.

Ирина появилась под руку с императором. Государь подвел ее

ко мне, и, как только прошел он на свое место, церемония началась.

Священник расстелил розовый шелковый ковер, по которому, согласно обычаю, должны пройти жених с невестой. По примете, кто из молодых ступит на ковер первый, тот и в семье будет первый. Ирина надеялась, что окажется проворней меня, но запуталась в шлейфе, и я опередил.

После венчания мы во главе шествия отправились в приемную залу, где встали рядом с императорской семьей принять, как водится, поздравления. Очередь поздравляющих тянулась более двух часов. Ирина еле стояла. Затем мы поехали на Мойку, где уже ожидали мои родители. Они встретили нас на лестнице, по обычаю, хлебом и солью. Потом пришли с поздравлениями слуги. И опять всё то же, что в Аничковом.

Наконец отъезд. Толпа родных и друзей на вокзале. И опять пожимания рук и поздравления. Наконец, последние поцелуи – и мы в вагоне. На горе цветов покоится черная песья морда: мой верный Панч возлежал на венках и букетах.

Когда поезд тронулся, я заметил вдалеке на перроне одинокую фигуру Дмитрия.

Глава 19

1914. Свадебное путешествие: Париж, Египет, Пасха в Иерусалиме – Обратный путь через Италию – Остановка в Лондоне

В Париже мы остановились в «Отель дю Рэн». Я удерживал за собой свой уютный номер и хотел показать его Ирине. На другой день в девять утра нас разбудила великая княгиня Анастасия Михайловна. Три ее грума внесли за ней ее свадебный подарок: двенадцать корзинок для бумаг разных форм и плетений.

Ирина привезла с собой украшения, которые хотела переделать. Мы долго обсуждали оправу с мастером нашим, ювелиром Шоме.

В Париже сидеть не хотелось, слишком многих мы знали. Покончив с покупками, мы тотчас и отбыли в Египет. Но газеты следили за нами, и покоя нам не было нигде. В Каире русский консул ходил за нами по пятам и читал нам чувствительные стишки собственного сочинения, которыми очень гордился.

Однажды вечером, гуляя по старому городу, мы вышли на площадь, верней, пятачок. Невдалеке перед домом красивый араб в роскошном шелковом халате, бусах, кольцах и браслетах пил кофе на алых бархатных подушках. Рядом лежали мешки. Женщины и дети поминутно подходили и бросали в мешки монеты. На ближних улочках в домах у зарешеченных окон сидели по-турецки прелестницы, призывая прохожих. Покинув квартал, мы опять увидели консула. Он побелел от ужаса, узнав, в каком сомнительном месте гуляли мы.

Консул поведал нам, что поразивший нас красавец араб разбогател благодаря особой любви к себе одного высокопоставленного субъекта. По его протекции стал он владельцем веселого квартала и получал огромные барыши.

Из Каира поехали мы в Луксор. Новый город построен на части древних Фив, погребенной за века наносами с Нила. В ходе раскопок обнаружены были храмы фараоновых династий, но в целом ничего не осталось от древней городской культуры. Говорят, древние египтяне жили в простых саманных домах, а роскошь оставляли храмам и гробницам для вечной жизни. Долина Фараонов – поле неправильной формы на левом берегу Нила в совершенно голой местности. Череда каменных гробниц и склепов с росписью. Фрески почти первозданной свежести.

Прекрасен был Луксор, но ужасна жара. Терпеть ее более я не мог, и мы вернулись в Каир. Но в городе я заболел желтухой и

остаток времени пролежал в постели. Как только я встал на ноги, мы уехали в Иерусалим, где хотели провести Страстную и Пасху. Египет, впрочем, покидали мы с грустью. Древняя страна успела околдовать нас.

В Яффе нас встретил начальник местной полиции, здоровяк весь в медалях. У него уж был готов дом для нашего отдыха в ожидании поезда на Иерусалим. Он усадил нас в коляску, запряженную парой арабских чистокровок, а сам сел рядом с кучером. Панч, завидев необъятный, нависший над сиденьем зад, соблазнился: я и глазом моргнуть не успел, как он вцепился в него. Бедняга полицейский держался геройски, но пса я оторвал от него с великим трудом.

До уготованных нам покоев мы наконец доехали, однако ж отдохнуть не успели. Только мы сели, явился губернатор Яффы с нашим знакомцем полицейским начальником и прочими отцами города.

Уехали они, уехали и мы. Русский консул в Иерусалиме встречал нас заранее, явившись к нам в вагон еще в дороге, чтобы успеть предупредить жену мою о приготовленном нам приеме. Увидав, какая толпа чиновников ожидала нас на вокзале, Ирина отказалась выходить из вагона. Чуть не силой вывел я ее на перрон. Бесконечные рукопожатия неизвестным особам. Далее едем в православный храм. По обеим сторонам дороги русские паломники. Было их более пяти тысяч. Прибыли они со всех концов России в Иерусалим на Пасху. Они рукоплескали государевой племяннице и распевали псалмы.

Греческий патриарх Дамиан ждал нас в соборе вместе с причтом. Когда вошли мы, он вышел навстречу и благословил нас. Прочитав «Отче наш», мы покинули собор и поехали в гостиницу русской миссии, где приготовлены нам были апартаменты.

На другой день нас принял патриарх. Аудиенция была долгой и скучной. Мы с Ириной сидели по обе его руки, клир – вдоль стен. Подали кофе, шампанское, варенье. Но никто не говорил ни по-французски, ни по-английски, а патриарх не знал и по-русски. Беседе, как ни расстарывался переводчик, не хватало живости. Наш хозяин, однако ж, был человек замечательный. Мы еще и еще, пока жили в Иерусалиме, виделись с ним в обстановке не столь официальной. Когда в первый раз пришел он, Панч, заслыша его шаги, бросился навстречу в ярости, и, не подоспей мы вовремя, случился б тот же конфуз, что и в Яффе.

Долго ходили мы по Святым местам. Всё и в городе, и близ города говорило о крестном пути Христа. Гуляя по окрестностям, встретили мы людей в лохмотьях, сидящих у края дороги. Тела и

лица их были покрыты струпьями и язвами. Руки и ноги у иных гниют, глаза вылезли из орбит. Женщины держали на руках с виду здоровых детей. Мы подошли подать милостыню. Нестерпимой вонью несло от них. Только потом мы узнали, что встретили прокаженных.

На Страстной посещали мы службу в церкви Гроба Господня. В Великую Субботу Ирина прихворнула, и я пошел один. С места своего наблюдал я за необычной церемонией, совершаемой в этот день. Накануне городские власти налагают печать на святилище посреди храма, куда, как уверяют, в Великую Субботу утром нисходит божественный огонь – зажечь тридцать три патриаршие свечки. Патриархи, армянский и греческий, идут во главе процессии, и, чтобы видела паства, что у них ни спичек, ни огнива, обысканы у входа солдатами-мусульманами. А в храме ждут паломники. В руке у всякого тридцать три свечечки. Патриархи подходят к святилищу, взламывают печати, входят. Миг – и в обоих окошках церковных явлены зажженные свечи. Народ устремляется к чудесному пламени. И священники поспешно уводят патриархов, желая уберечь их святейшества от чрезмерных восторгов толпы.

Увиденное ошеломило меня. Мерцали тысячи свечей, и храм казался огненным океаном. Люди словно обезумели: рвали на себе одежду, обжигались свечным пламенем. Нестерпимо запахло горелым мясом. Казалось, я участвую в сцене всеобщей истерии. Ко Гробу Господню было не подступиться.

В пасхальную ночь после Всенощной все русские паломники в Иерусалиме были приглашены в русскую миссию к праздничному ужину. Пришли они с лампадками, зажженными от огня святыни в российских церквах и бережно донесенными до Святой Земли. На длинных садовых столах все эти цветные огоньки феерически освещали тьму. Перед отбытием паломников мы сами устроили им обед в саду русской миссии. За столом нам, окруженным соотечественниками, казалось, что мы дома.

После того паломники, узнав, что мы собирались на литургию в православный храм, ринулись туда же. Случилась давка. Двери было закрыли, но одну снесло напором толпы. Мы едва унесли ноги боковым выходом.

Незадолго до нашего отъезда поехали мы на прогулку. К нашей коляске подскочил молодой негр в белом балахоне и бросил в коляску письмо. В нем просил он взять его в услужение. В тот же вечер он явился в русскую миссию за ответом. Эфиоп понравился мне, и я его нанял, к неудовольствию Ирины и наших слуг-европейцев. Звали новичка Тесфе. Не знаю уж, почему бежал он с родины в Иерусалим. Был он дикарь, но дикарь с умом. Он

быстро выучился по-русски и служил верой и правдой. Однако с ним не обошлось без хлопот. Из Палестины поехали мы в Италию. В Неаполе управляющий гостиницы пришел ко мне возмущенный. Тесфе пытался изнасиловать горничных. А две старухи англичанки жаловались, что не могут воспользоваться комнатой для дам: Тесфе безвыходно пребывал в уборной, забавляясь восхитительной игрушкой – спуском воды! Долгое время мы не могли приучить его спать на кровати. Он упорно ложился в коридоре у нас под дверью.

Наш автомобиль дожидался в Неаполе. В сопровождении Тесфе и Панча мы отправились в небольшую прогулку по Италии. Слуги были уже в Риме, и жена моя признала, что Тесфе ко всему – отличная горничная.

Из Рима поехали мы во Флоренцию. Здесь имел я порядочно знакомых, но не повидал почти никого. Хотелось побыть вдвоем с Ириной в городе, который полюбили мы всего более.

Накануне отъезда я заметил у Лоджии деи Ланци фигуру, показавшуюся знакомой. Это был итальянский князь по прозвищу Бамбино, мой лондонский приятель в пору, когда гостили у меня красотки-кузины. Я представил его Ирине, и мы пригласили его к нам на обед. Он очень переменился. Исчезли в нем жизнелюбие и детская веселость. На другой день он пришел проводить нас и сказал, что вскоре увидится с нами в Париже и Лондоне. Месяцем позже мы узнали, что он покончил с собой. Он оставил мне прощальное письмо, глубоко меня взволновавшее.

На обратном пути остановились в Париже. Старик Шоме принес Иринины украшения, которые переделывал он за время нашего отсутствия. Потрудился он ненапрасно: пять ожерелий, им оправленных, с брильянтами, рубинами, сапфирами, изумрудами и жемчугом были одно лучше другого. На приемах, данных в нашу честь в Лондоне, ими восторгались до бесконечности. А впрочем, все брильянты затмевала красота Ирины.

В Лондоне мы жили в моей старой холостяцкой квартире. Как прекрасно было очутиться в каком-то смысле дома и увидеть старых друзей! Тут же вихрь светской жизни подхватил и понес нас. В Лондоне в то время были и мои тесть с тещей, и вдовствующая императрица Мария Федоровна, гостившая у сестры Александры в Мальборо-хаус, куда хаживали мы повидаться с ними.

Однажды утром разбудила нас брань в прихожей. Я надел халат и вышел справиться, в чем дело. У дверей королева Александра и императрица Мария Федоровна переругивались с

Тесфе: он никак не хотел впустить их. Императрица, потеряв терпение, замахнулась на него зонтиком. Я извинился за свой вид и объяснил гостьям, что Тесфе, как верный пес, исполняет приказы, а мы накануне легли поздно и велели ему никого не впускать.

В самый разгар лондонской светской жизни пришло известие, что убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд.

А вскоре получили мы письмо от моих родителей. Они просили приехать к ним в Киссинген, куда уехали они на лечение.

Глава 20

1914–1916. Наши муки в Германии – Возвращение в Россию через Копенгаген и Финляндию – Рождение дочери – Отцова миссия за границей – Мимолетное губернаторство – Положение ухудшается – Распутин должен исчезнуть

В июле мы приехали в Киссинген. Атмосфера в Германии показалась нам крайне неприятной. Немцы упивались нелепыми газетными статейками о Распутине, бесчестившими нашего государя.

Отец верил, что всё обойдется, но вести приходили одна другой тревожней. Вскоре после приезда получили мы телеграмму от великой княгини Анастасии Николаевны, супруги нашего будущего главнокомандующего. Великая княгиня умоляла вернуться как можно скорее, пока выезд из Германии свободен. Австро-Венгрия напала на Сербию. В ответ Россия 30 июля объявила всеобщую мобилизацию. На другой день рано утром о том сообщили официально. Весь Киссинген пришел в брожение. Толпы шли по городу с бранью и угрозами в адрес России. Пришлось вмешаться полиции, чтобы навести порядок. Уезжать надо было немедля. Матушку, больную, перевезли на носилках на вокзал, где сели мы в берлинский поезд.

В Берлине царил хаос. Суматоха была в отеле «Континенталь», где мы остановились. На другой день в восемь часов утра нас разбудила полиция. Пришли арестовать меня, нашего врача, отцова секретаря и всю мужскую прислугу. Отец тотчас позвонил в посольство, но ему отвечали, что все очень заняты и приехать к нам никто не может.

Тем временем арестованных поместили в гостиничный номер, рассчитанный от силы человек на пятнадцать. Набралось нас, однако, с полсотни. Час за часом стояли мы, не имея возможности двигаться. Наконец нас отвели в комиссариат. Посмотрели наши бумаги, назвали нас «русскими свиньями» и объявили, что упекут в тюрьму всякого, кто через шесть часов не покинет Берлина. Только к пяти смог я вернуться в гостиницу и успокоить отца с матерью. Думали они, что меня им уже не видать. Надо было решать немедленно. Ирина позвонила по телефону кузине, кронпринцессе Цецилии. Та обещала переговорить с кайзером и тут же дать ответ. Отец в свой черед пошел посоветоваться с русским послом Свербеевым. «Увы, моя миссия тут закончена, – сказал посол, – и не знаю теперь, чем вам помочь. Все же приходите вечером».

Времени не оставалось. Арестовать нас могли с минуту на минуту. Отец бросился к испанскому посланнику. Тот объявил, что не даст в обиду русских в Германии, и обещал прислать к нам своего секретаря.

Тем временем позвонила кронпринцесса и сказала, что ей очень жаль, но помочь она не в силах. Собиралась заехать к нам, но предупредила, что кайзер отныне считает нас военнопленными и через адъютанта пришлет нам на подпись бумагу о нашем местопребывании: гарантирован нам выбор из трех вариантов и корректное обращение. Подоспел испанский секретарь. Не успели мы объяснить ему всего дела, как явился кайзеров адъютант. Он торжественно вынул из портфеля лист бумаги с красною восковою печатью и протянул нам. Текст бумаги гласил, что мы обещаем «не вмешиваться в политику и остаться в Германии навсегда». Мы оторопели! С матушкой случился нервный припадок. Она сказала, что сама пойдет к императору. Я показал нелепую бумагу испанцу.

– Как можно требовать подписать подобную чушь? – вскричал он, прочитав. – Нет, тут явно какая-то ошибка. Наверно, не «навсегда», а «на время военных действий».

Наскоро посовещавшись, мы вернули бумагу немцу, просив подтвердить правильность текста и привезти документ завтра в одиннадцать. Отец снова поехал к Свербееву в сопровождении испанского дипломата. Наконец условились, что испанец потребует у министра иностранных дел фон Ягова предоставить в распоряжение русского посла специальный поезд для членов посольства и прочих русских граждан, желающих выехать из Германии. Список предполагаемых пассажиров министру сообщат немедленно. В списке, обещал Свербеев, будем и мы. Потом он рассказал отцу, что в тот день вдовствующая императрица Мария Федоровна и великая княгиня Ксения ехали поездом через Берлин. Узнав, что мы в отеле «Континенталь», они хотели было заехать к нам и увезти нас с собой в Россию. Но было поздно. Судьба их самих висела на волоске. Злобная толпа била стекла и срывала шторки в окнах вагона государыни. Императорский поезд спешно покинул берлинский вокзал.

На другой день рано утром мы поехали в русское посольство, а оттуда на вокзал к копенгагенскому поезду. Никакого сопровождения, как полагалось бы иностранной миссии. Мы отданы были на милость разъяренным толпам. Всю дорогу они швыряли в нас камни. Уцелели мы чудом. Среди нас были женщины и дети, семьи дипломатов. Кому-то из русских палкой разбили голову, кого-то избили до крови. С людей срывали шляпы, иным в клочья изорвали одежду. Наш автомобиль был

последним. Нас приняли за прислугу и не тронули. За минуту до отхода поезда прибежали наши слуги, перепутав вокзал. В панике они растеряли по дороге наши чемоданы. Мой камердинер, англичанин Артур, остался в гостинице с большей частью вещей, делая вид, что отлучились мы ненадолго. Артура арестовали и насильно удерживали в Германии все время войны.

Только когда поезд тронулся, мы вздохнули с облегчением. Впоследствии выяснилось, что вскоре после нашего отъезда кайзеров адъютант явился в гостиницу. Когда императору Вильгельму доложили о нашем бегстве, он приказал арестовать нас на границе. Приказ опоздал. Мы проехали беспрепятственно. Несчастного адъютанта послали в наказание на фронт.

В Копенгаген мы приехали даже без зубной щетки. Отправились в гостиницу «Англетер», и тут же начались визиты: посетили нас король и королева Дании со всеми родственниками, императрица Мария Федоровна с дочерью, тещей моей, и многие прочие, оказавшиеся проездом в датской столице. Все были потрясены случившимся. Императрица просила и добилась нескольких поездов для многочисленных русских, не имевших возможности вернуться на родину своим ходом.

Назавтра мы покинули Данию. С парохода, плывшего в Швецию, императрица с явным волнением смотрела, как удаляется берег родины ее. Но долг звал в Россию.

В Финляндии нас ждал императорский поезд. Финны радостно приветствовали ее величество во все время пути. В Дании до нас дошли слухи о якобы финском восстании. Теперь эта встреча слух опровергла.

А Петербург выглядел по-прежнему. Казалось, нет никакой войны.

Императрица Мария Федоровна, уезжая в Петергоф, позвала нас на время с собой.

Петергоф находился неподалеку от Петербурга, на берегу Балтийского моря. Его золотистый дворец, террасы и парк, на французский манер с фонтанами, прозвали Русским Версалем. Длинный канал спускался к морю. Вдоль канала – деревья и снова фонтаны. А в самом начале – лестница и бассейн с Самсоном, убивающим льва. Львиная пасть изрыгала фонтанную струю. Фонтаны били везде. Два из них послужили причиной забавного случая, над которым долго потом смеялись императрица и всё окружение. Были у ее величества в числе фрейлин две старые барышни, крайне пунктуальные. Однажды они опоздали к обеду на полчаса. На вопрос, что случилось, барышни, краснея, рассказали, что условились встретиться у входа в парк у фонтана то ли Адама, то ли Евы – чьего именно, покрыто мраком истории.

Но одна ждала у Адама, другая – у Евы, а оглянуться и удостовериться, тот ли это прародитель, девицы стеснялись.

Дворец, построенный в XVIII веке для императрицы Елизаветы Петровны, был разрушен бомбардировками в ходе последней войны. Государи в нем никогда не жили – держали его исключительно для приемов. А обитали они в парковом доме на берегу. Чуть выше стояли дома: «Коттедж», отведенный для вдовствующей императрицы, и «Ферма», где жили мои тесть с тещей. В этом доме родилась Ирина.

Прожив с месяц в Петергофе, мы отправились с императрицей Марией Федоровной в Елагинский дворец – императорскую резиденцию на одном из островов в устье Невы. Неожиданно Ирина заболела корью. Все мы крайне за нее перепугались, потому что в те дни была она беременна. Как только она поправилась, мы отбыли к себе на Мойку. Работы в бельэтаже еще не закончились, и временно мы поселились в прежних моих комнатах наверху, где жил я когда-то с братом Николаем.

Быв единственным сыном в семье, я освобождался от призыва, потому занялся устройством госпиталей в различных наших домах. Императрица Мария Федоровна возглавила Красный Крест. Это облегчило мне дело. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен в моем доме на Литейной. Я всей душой ушел в новую работу, решив, что лучше облегчать боль, чем причинять ее. Штат я набрал удачно: врачи и медицинские сестры были прекрасные.

Кампания началась успешно. Русские войска проникли далеко в глубь территории Восточной Пруссии, чтобы помочь Франции, оттянув неприятеля с западного фронта. В конце августа в результате нехватки тяжелой артиллерии отборные части армии генерала Самсонова оказались в окружении у Танненберга. Армия была разгромлена. Самсонов застрелился. На австрийском фронте дела шли успешно, однако наступление, предпринятое в Восточной Пруссии в феврале 1915 года, закончилось полным провалом под Августовом. 2 мая мощным натиском австро-германские войска прорвали оборону на юго-западном фронте. Русская армия была голодна, раздета и почти безоружна, неприятель имел лучшую в мире экипировку. Наши войска сражались в невыносимых условиях. Отдельные части, не имея боеприпасов, пали без боя. Солдатский героизм не спасал. Командование было бессильно, транспорт дезорганизован, снабжение оружием недостаточно. Отступление русских превратилось в бегство. В тылу общество возмущалось.

Заговорили об измене. Ругали императрицу, Распутина и государеву слабость.

В те годы почти все крупные предприятия, особенно в Москве как городе промышленном, принадлежали немцам. Немецкая наглость не знала границ. Немецкие фамилии носили и в армии, и при дворе. Правда, многие высшие сановники и военачальники были балтийских корней и ничего общего с неприятелем не имели, но народ о том не задумывался. Иные люди и впрямь верили, что государь по доброте душевной взял к себе на службу пленных немцев-генералов. Да и образованные всерьез удивлялись, почему это на государственных постах всё лица с нерусскими фамилиями. Пользуясь общими настроениями, агенты немецкой пропаганды старались вовсю, подрывали доверие к императорской семье, внушали, что и сама государыня, и почти все великие княгини – немки. Все знали, что императрица ненавидит Пруссию и Гогенцоллернов, но это дела не меняло. Моя матушка однажды заметила государю, что общество раздражено на придворных «немцев». «Дорогая княгиня, – отвечал государь, – что же я могу сделать? Они любят меня и так преданны! Правда, многие стары и выжили из ума, как бедняга Фредерике. Третьего дня он подошел ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал: „И ты, братец, здесь? Тоже зван к обеду?“

21 марта 1915 года жена родила девочку. Назвали ее Ириной в честь матери. Услышав первый крик новорожденной, я почувствовал себя счастливейшим из смертных. Акушерка, г-жа Гюнст, знала свое дело, но была болтлива, как сорока. Пользовала она рожениц при всех европейских дворах. Знала все дворцовые сплетни и, спроси ее, говорила без умолку. Признаться, я заслушивался, а она забалтывалась, забывая подчас юную мать, нуждавшуюся в ее заботах.

Крестили младенца в домашней часовне в присутствии царской семьи и нескольких близких друзей. Крестными были государь и императрица Мария Федоровна. Дочь, как некогда отец, чуть не утонула в купели.

В тот же 1915 год государь послал моего отца с миссией за границу. Матушка переживала. Она знала мужнины чудачества и отпускать отца одного боялась. Страхи, однако, оказались напрасны. Поездка прошла благополучно. Началась она в Румынии. Румынского короля отец знал лично. В ту пору Румыния была к войне не готова, не зная, кого счесть неприятелем. Отец переговорил с королем Каролем в присутствии премьер-министра Братиану, открыто рассказал о намерениях России и был заверен, что вскоре Румыния вступит в

войну на стороне союзников. На отца огромное впечатление произвел королевский дворец в Синайе, особенно покои королевы с деревянными крестами, цветами, звериными шкурами и человеческими черепами.

В Париже отец встретился с президентом Пуанкаре, несколькими высокопоставленными лицами и французским главнокомандующим генералом Жоффром. Главнокомандующему в его ставке в Шантийи он вручил Георгиевский крест, пожалованный генералу государем императором.

Отец побывал в окопах и восхищался мужеством и боевым духом французских войск. Посмеялся он и шутливым листкам у входа в укрытия. Только французы и могли написать их: *«Память о Мари», «Лизетта», «Прощай, Аделаида», «Скучно без Розы».* В тот же вечер, обедая в «Ритце», он удивился, увидав в зале множество английских офицеров в безупречных мундирах. Покидали они фронт в три часа пополудни, ели в парижских ресторанах, ночевали экономии ради в автомобилях и на другой день утром возвращались на фронт. Глядя на них, невозмутимо покуривающих трубку, не верилось, что через несколько часов они окажутся на передовой.

Лондон жил методичней и строже. На следующий после приезда день отец был принят королем Георгом V и королевой Марией. Их величества показались ему усталыми и озабоченными, словно весь груз ответственности за ужасы войны целиком ложился на их плечи. Состоялась у него беседа и с лордом Китченером. Отец покорен был величавыми его манерами и прозорливым умом. Граф оказался в курсе всех русских дел и сильно тревожился за будущее России.

Вернувшись на континент, отец посетил бельгийских короля с королевой. Мужеством и благородством они еще более подняли престиж свой в глазах и собственных подданных, и союзников. Встречался он также с принцем Уэльским, будущим Эдуардом VIII, с герцогом Коннахтеким и с фельдмаршалом Френчем, очень бодрым, несмотря на преклонный возраст.

Перед тем как покинуть Францию, отец еще раз побывал в Шантийи у генерала Жоффра и рассказал о своих впечатлениях от встреч с англичанами.

Закончив миссию, отец вернулся в Россию и получил от царя назначение на пост московского генерал-губернатора. Губернаторство его было, однако, недолгим. Один в поле не воин. Бороться с немецкой камарильей, прибравшей к рукам власть, было отцу не под силу. Правили бал предатели и шпионы. Отец принял суровые меры, чтобы очистить Москву от всей этой нечисти. Но большинство министров, получивших министерский

портфель от Распутина, были германофилы. Всё, что ни делал генерал-губернатор, принимали они в штыки, приказы его не выполняли. Возмущенный положением дел, отец поехал в Ставку и встретился с царем, главнокомандующим, генштабом и министрами. Кратко и ясно он изложил обстановку в Москве, назвав имена и факты. Речь имела эффект разорвавшейся бомбы. Никто до сих пор не осмелился открыть государю правду. Но увы: плетью обуха не перешибешь. Прогерманская партия, окружившая государя, была слишком сильна. Впечатление, произведенное на Николая генерал-губернаторским словом, она быстро развеяла. Вернувшись в Москву, отец узнал, что снят с должности генерал-губернатора.

Узнав о том, русские патриоты были возмущены и негодовали на слабость царя, допустившего подобное. Одолеть немецкое влияние оказалось невозможно. Отец махнул на всё рукой и уехал с матушкой в Крым. Что до меня, я оставался в Петербурге, продолжая работать в госпитале. Но стало мне стыдно сидеть в тылу, когда все ровесники мои ехали на фронт. Я решил поступить волонтером в пажеский корпус и выполнить военный ценз на звание офицера. Год учения был для меня тяжел, но и полезен. Военная школа укротила мой слишком гордый, строптивый и своевольный нрав.

В конце августа 1915 года было официально объявлено, что великий князь Николай отстранен от должности главнокомандующего и отослан на кавказский фронт, а командование армией принимает сам император. Общество встретило известие, в общем, враждебно. Ни для кого не было секретом, что сделалось все под давлением «старца». Распутин, уговаривая царя, то интриговал, то, наконец, взывал к его христианской совести. Государь ему как ни слабая помеха, а все ж лучше бы с глаз долой. Нет Николая – руки развязаны. С отъездом государя в армию Распутин стал бывать в Царском чуть не каждый день. Советы и мнения его приобретали силу закона и тотчас передавались в Ставку. Не спросясь «старца», не принимали ни одно военное решение. Царица доверяла ему слепо, и он сплеча решал насущные, а порой и секретные государственные вопросы. Через государыню Распутин правил государством.

Великими князьями и знатью затеян был заговор с целью отстранения от власти и пострижения императрицы. Распутина предполагалось сослать в Сибирь, царя низложить, а царевича Алексея возвести на престол. В заговоре были все вплоть до генералов. На английского посла сэра Джорджа Бьюкенена, имевшего сношения с левыми партиями, пало подозрение в

содействии революционерам.

В императорском окружении многие пытались объяснить государю, как опасно влияние «старца» и для династии, и для России в целом. Но всем был один ответ: «Всё – клевета. На святых всегда клевещут». Во время одной оргии «святого» сфотографировали и фотографии показали царице. Она разгневалась и приказала полиции разыскать негодяя, который-де осмелился выдать себя за «старца», чтобы опорочить его. Императрица Мария Федоровна написала царю, умоляя удалить Распутина и запретить царице вмешиваться в государственные дела. Молила о том не она одна. Царь рассказал царице, ибо говорил ей всё. Она прекратила отношения со всеми якобы «давившими» на государя.

Матушка моя одна из первых выступила против «старца». Однажды она особенно долго беседовала с царицей и, казалось бы, смогла открыть ей глаза на «русского крестьянина». Но Распутин и компания не дремали. Нашли тысячу предлогов и матушку от государыни удалили. Долгое время они не виделись. Наконец летом 1916 года матушка решила попытаться последний раз и просила принять ее в Александровском дворце. Царица встретила ее холодно и, узнав о цели визита, просила покинуть дворец. Матушка отвечала, что не уйдет, пока не скажет всего. И действительно сказала всё. Императрица молча выслушала, встала и, повернувшись уйти, бросила на прощание: «Надеюсь, больше мы не увидимся».

Позже великая княгиня Елизавета Федоровна, также почти не бывая в Царском, приехала переговорить с сестрой. После того ожидали мы ее у себя. Сидели как на иголках, гадали, чем кончится. Пришла она к нам дрожащая, в слезах. «Сестра выгнала меня, как собаку! – воскликнула она. – Бедный Ники, бедная Россия!»

Германия тем временем засылала в окружение «старца» шпионов из Швеции и продажных банкиров. Распутин, напившись, становился болтлив и выбалтывал им невольно, а то и вольно всё подряд. Думаю, таким путем и узнала Германия день прибытия к нам лорда Китченера. Корабль Китченера, плывшего в Россию с целью убедить императора выслать Распутина и отстранить императрицу от власти, был уничтожен 6 июня 1916 года.

В этом 1916 году, когда дела на фронте шли все хуже, а царь слабел от наркотических зелий, которыми ежедневно опаивали его по наущению Распутина, «старец» стал всесилен. Мало того, что назначал и увольнял он министров и генералов, помыкал

епископами и архиепископами, он вознамерился низложить государя, посадить на трон больного наследника, объявить императрицу регентшей и заключить сепаратный мир с Германией.

Надежд открыть глаза государям не осталось. Как в таком случае избавить Россию от злого ее гения? Тем же вопросом, что и я, задавались великий князь Дмитрий и думский депутат Пуришкевич. Не сговариваясь еще, каждый в одиночку, пришли мы к единому заключению: Распутина необходимо убрать, пусть даже ценой убийства.

Глава 21

Распутин – Каков он был – Причины и следствия его влияния

Наша память соткана из света и тени. Воспоминания, оставляемые бурною жизнью, то грустны, то радостны, то трагичны, то замечательны. Есть прекрасные, есть ужасные, такие, каких лучше б и вовсе не было.

В 1927 году написал я книгу «Конец Распутина» потому лишь, что следовало рассказать правду в ответ на лживые россказни, всюду печатавшиеся. Сегодня не стал бы я возвращаться к этой правде, если бы мог оставить в мемуарах пробел. И только важность и серьезность дела заставляет меня заполнить страницу. Пересказываю вкратце факты, о которых подробно писал я в той первой книге.

О политической роли Распутина говорилось много. А вот сам «старец» и дикое повеление его, в каковом, быть может, причина его успеха, описаны менее. Потому, думаю, прежде, чем рассказать о том, что случилось в подвалах на Мойке, надобно подробней поговорить о субъекте, которого мы с великим князем Дмитрием и депутатом Пуришкевичем решились уничтожить.

Родился он в 1871 году в Покровской слободе, Тобольской губернии. Родитель Григория Ефимовича – горький пьяница, вор и барышник Ефим Новых. Сын пошел по стопам отца – перекупал лошадей, был «варнаком». «Варнак» у сибиряков означает – отпетый мерзавец. Сыздетства Григория звали на селе «распутником», откуда и фамилия. Крестьяне побивали его палками, пристава по приказу исправника прилюдно наказывали плетью, а ему хоть бы что, только крепче становился.

Влияние тамошнего попа пробудило в нем тягу к мистике. Тяга эта, правда, была довольно сомнительна: грубый, чувственный темперамент вскоре привел его в секту хлыстов. Хлысты якобы общались со Святым Духом и воплощали Бога через «христов» путем самых разнузданных страстей. Были в этой хлыстовской ереси и языческие, и совсем первобытные пережитки и предрассудки. На свои ночные радения они собирались в избе или на поляне, жгли сотни свечей и доводили себя до религиозного экстаза и эротического бреда. Сперва шли моления и песнопения, потом хороводы. Начинали кружить медленно, ускоряли, наконец вертелись как одержимые. Головокружение требовалось для «Божьего озарения». Кто ослаб, того вожак хоровода хлещет плетью. И вот уж все пали на землю в экстазных

корчах. Хоровод завершился повальным совокуплением. Однако в них уже вселился «Святой Дух», и за себя они не в ответе: Дух говорит и действует через них, стало быть, и грех, содеянный по его указке, лежит на нем.

Распутин был особенный мастер «Божьих озарений». Поставил он у себя во дворе сруб без окон, так сказать, баню, где устраивал действа с хлыстовским мистическо-садистским душком.

Попы донесли, и пришлось ему уйти из деревни. К тому времени ему исполнилось тридцать три года. И пустился он в хождения по Сибири, и дальше по России, по большим монастырям. Из кожи вон лез, чтобы казаться самой святостью. Мучил себя, как факир, развивая волю и магнетическую силу взгляда. Читал в монастырских библиотеках церковнославянские книги. Не имев прежде никакого учения и не отягощенный знанием, с ходу запоминал тексты, не понимая их, но складывая в памяти. В будущем они пригодились ему, чтобы покорить не только невежд, но и знающих людей, и саму царицу, окончившую курс философии в Оксфорде.

В Петербурге в Александро-Невской лавре принял его отец Иоанн Кронштадтский. Поначалу отец Иоанн склонился душой к сему «юному сибирскому оракулу», увидел в нем «искру Божью».

Петербург, стало быть, покорен. Открылись мошеннику новые возможности. И он – назад к себе в село, нажив свои барыши. Сперва водит дружбу с полуграмотными дьячками и причетниками, потом завоевывает иереев и игуменов. Эти тоже видят в нем «посланника Божия».

А дьяволу того и надо. В Царицыне он лишает девственности монахиню под предлогом изгнания бесов. В Казани замечен выбегающим из борделя с голой девкой впереди себя, которую хлещет ремнем. В Тобольске соблазняет мужнюю жену, благочестивую даму, супругу инженера, и доводит ее до того, что та во всеуслышание кричит о своей страсти к нему и похваляется позором. Что ж с того? Хлысту всё позволено! И греховная связь с ним – благодать Божья.

Слава «святого» растет не по дням, а по часам. Народ встает на колени, завидев его. «Христе наш, Спасителю наш, помолись за нас, грешных! Господь внемлет тебе!» А он им: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, благословляю вас, братия. Веруйте! Христос придет скоро. Терпите Честнаго Распятия ради! Его же ради умерщвляйте плоть свою!..»

Таков человек был, в 1906 году представившийся молодым избранником Божьим, ученым, но простодушным, архимандриту Феофану, ректору Санкт-Петербургской духовной академии и

личному духовнику государыни императрицы. Он, Феофан, честный и благочестивый пастырь, станет его покровителем в петербургских околоцерковных кругах.

Петербургский пророк в два счета покорил столичных оккультистов и некромантов. Одни из первых, самых ярых приверженцев «человека Божия» – великие княгини-черногорки. Именно они в 1900 году приводили ко двору мага Филиппа. Именно они представят императору и императрице Распутина. Отзыв архимандрита Феофана рассеял последние государевы сомнения:

«Григорий Ефимович – простой крестьянин. Вашим величествам полезно послушать голос самой земли русской. Знаю я, в чем его упрекают. Известны мне все грехи его. Их много, есть и тяжкие. Но таковы в нем сила раскаяния и простодушная вера в милосердие Божие, что уготовано ему, я уверен, вечное блаженство. Покаявшись, он чист, как дитя, только вынутый из купели. Господь явно отметил его».

Распутин оказался хитер и дальновиден: не скрывал своего крестьянского происхождения. «Мужик в смазных сапогах топчет дворцовый паркет», – скажет он сам про себя. Но карьеру он делает не на лести, отнюдь. С государями говорит он жестко, почти грубо и тупо – «голосом земли русской». Морис Палеолог, в ту пору посол Франции в Петербурге, рассказывал, что, спросив одну даму, увлечена ль и она Распутиным, услышал в ответ:

«Я? Вовсе нет! Физически он мне даже и мерзок! Руки грязные, ногти черные, борода нечесана! Фу!.. А все ж он занятен! Он натура пылкая и художественная. Порой очень красноречив. У него есть воображение и чувство таинственного... Он то прост, то насмешлив, то страстен, то глуп, то весел, то поэтичен. Но притом всегда естествен. Более того: бесстыден и циничен поразительно...»

Анна Вырубова, фрейлина и наперсница царицы, очень скоро стала Распутину подругой и союзницей. О ней, урожденной Танеевой, одной из подружек моего детства, барышне толстой и невзрачной, я уже рассказывал прежде. В 1903 году она стала императрицыной фрейлиной, а четырьмя годами позже вышла замуж за морского офицера Вырубова. Венчали их с большой помпой в царскосельской дворцовой церкви. Государыня была свидетельницею при свадебной церемонии. Несколько дней спустя она захотела представить Анюту «старцу». Благословляя новобрачную, Распутин сказал: «Не быть твоему браку ни счастливым, ни долгим». Предсказание сбылось.

Молодые поселились в Царском близ Александровского дворца. Однажды вечером, вернувшись домой, Вырубов

обнаружил, что дверь заперта. Сказали ему, что у жены его в гостях государыня и Распутин. Он дождался их ухода, вошел в дом и устроил жене бурную сцену, ибо накануне строго-настрого запретил ей принимать «старца». Говорят, что и побил он ее. Анюта выбежала из дома и бросилась к императрице, умоляя защитить от мужа, который, кричала она, ее убьет. Вскоре состоялся развод.

Дело нашумело. Слишком значительны оказались его участники. Последствия были роковыми. Государыня защищала Анну. Распутин не зевал и сумел подчинить себе государынину подругу. И впредь она стала послушным его орудием.

Вырубова не достойна была дружбы императрицы. Любить она государыню любила, но отнюдь не бескорыстно. Любила, как любит раб господина, не подпускала никого к больной встревоженной царице, а для того наговаривала на все окружение.

Как царицына наперсница Анна Танеева-Вырубова была на особом положении, а с появлением Распутина получила еще и новые возможности. Для политики она умом не вышла, зато стороной могла влиять хотя б как посредница. Эта мысль пьянила ее. Распутину она выдаст все тайны государыни и поможет ему прибрать к рукам государственные дела.

Так и случилось: «старец» быстро вошел в силу. Бесконечные просители ломились к нему. Были тут и большие чиновники, и церковные иерархи, и великосветские дамы, и многие прочие.

Обзавелся Распутин ценным помощником – терапевтом Бадмаевым, человеком восточного происхождения, лекарем-неучем, уверявшим, что вывез из Монголии магические травы и снадобья, какие правдой и неправдой добыл у тибетских магов. А на деле сам варил эти зелья из порошков, взятых у дружка-аптекаря. Подавал свои дурманы и возбудители как *«Тибетский эликсир», «Бальзам Нгуен-Чен», «Эссенция черного лотоса»* и т.д. Шарлатан и «старец» стоили друг друга и быстро нашли общий язык.

Как известно, пришла беда отворяй ворота. Поражение в русско-японской войне, революционные беспорядки 1905 года, болезнь царевича усилили потребность в помощи Божьей, а значит, и в «посланце Божьем».

По правде, главным распутинским козырем было ослепление несчастной императрицы Александры Федоровны. Что объясняет и, может, в какой-то мере извиняет ее, сказать трудно.

Принцесса Алиса Гессенская явилась в Россию траурную. Царицей она стала, не успев ни освоиться, ни сдружиться с

народом, над которым собиралась царить. Но, тотчас оказавшись в центре всеобщего внимания, она, от природы стеснительная и нервная, и вовсе смутилась и одеревенела. И потому прослыла холодной и черствой. А там и спесивой, и презрительной. Но была у нее вера в особую свою миссию и страстное желание помочь супругу, потрясенному смертью отца и тяжестью новой роли. Она стала вмешиваться в дела государства. Тут решили, что она вдобавок властолюбива, а государь слаб. Молодая царица поняла, что не понравилась ни двору, ни народу, и совсем замкнулась в себе.

Обращение в православие усилило в ней природную склонность к мистицизму и экзальтации. Отсюда ее тяга к колдунам Папюсу и Филиппу, потом – к «старцу». Но главная причина слепой ее веры в «Божьего человека» – ужасная болезнь царевича. Первый человек для матери тот, в ком видит она спасителя своего чада. К тому ж сын, любимый и долгожданный, за жизнь которого дрожит она ежеминутно, – наследник трона! Играя на родительских и монарших чувствах государей, Распутин и прибрал к рукам всю Россию.

Конечно, Распутин обладал гипнотической силой. Министр Столыпин, открыто боровшийся с ним, рассказывал, как, призвав его однажды к себе, чуть было сам не попал под его гипноз:

«Он вперил в меня свои бесцветные глаза и стал сыпать стихами из Библии, при этом странно размахивая руками. Я почувствовал отвращение к проходимцу и в то же время очень сильное его на себе психологическое воздействие. Однако я овладел собой, велел ему замолчать и сказал, что он целиком в моей власти».

Столыпин, чудом уцелевший при первом покушении на него в 1906 году, был убит вскоре после этой встречи.

Скандальное поведение «старца», его закулисное влияние на государственные дела, разнузданность его нравов, наконец, возмутили людей дальновидных. Уже и печать, не считаясь с цензурой, взялась за него.

Распутин решил на время исчезнуть. В марте 1911 года взял он посох странника и отправился в Иерусалим. Позже он появился в Царицыне, где провел лето у приятеля своего, иеромонаха Илиодора. Зимой он вернулся в Петербург и снова пустился во все тяжкие.

Святым «старец» казался лишь издали. Извозчики, возившие его с девками в бани, официанты, служившие ему в ночных оргиях, шпики, за ним следившие, знали цену его «святости». Революционерам это было, понятное дело, на руку.

Иные, поначалу его покровители, прозрели. Архимандрит

Феофан, проклиная себя за свою слепоту, простить себе не мог, что представил Распутина ко двору. Он во всеуслышание выступил против «старца». И всего-то и добился, что был сослан в Тавриду. В то же время Тобольскую епархию получил продажный невежественный монах, давнишний его приятель. Это позволило обер-прокурору Синода представить Распутина к рукоположению. Православная церковь воспротивилась. Особенно протестовал епископ саратовский Гермоген. Он собрал священников и монахов, в том числе бывшего товарища Распутина Илиодора, и призвал к себе «старца». Встреча была бурной. Кандидату в попы не поздоровилось. Кричали: «Проклятый! Богохульник! Развратник! Грязный скот! Орудие дьявола!..» Наконец, просто плюнули ему в лицо. Распутин пытался отвечать бранью. Его святейшество, исполинского росту, ударил Распутина по макушке своим наперсным крестом: «На колени, негодный! Встань на колени перед святыми иконами!.. Проси прощения у Господа за свои непотребства! Клянись, что не опоганишь более присутствием своим дворец нашего государя!..».

Распутин, в испарине и с кровью из носа, стал бить себя в грудь, бормотать молитвы, клясться во всем, что требовали. Но едва вышел от них, помчался жаловаться в Царское Село. Месть последовала тотчас. Спустя несколько дней Гермоген был снят с епископства, а Илиодор схвачен и сослан отбывать наказание в дальный монастырь. И все ж священства Распутин не получил.

Вслед за церковью восстала дума. «Я собой пожертвую, я сам убью мерзавца!» – кричал депутат Пуришкевич. Владимир Николаевич Коковцов, председатель совета министров, отправился к царю и заклинал отослать Распутина в Сибирь. В тот же день Распутин позвонил близкому другу Коковцова. «Друг твой председатель запугивал Папу, – сказал он. – Наговорил на меня гадостей, да что толку. Папа с Мамой всё одно меня любят. Так и скажи своему Николаичу Володьке». Под давлением Распутина со товарищи в 1914 году В.Н. Коковцова отстранили от должности председателя совета.

Государь тем не менее понял, что общественному мнению следует уступить. Один-единственный раз не внял он мольбам императрицы и выслал Распутина в его деревню в Сибирь.

Два года «старец» появлялся в Петербурге лишь ненадолго, но во дворце по-прежнему плясали под его дудку. Уезжая, он предупредил: «Знаю, что меня хулить будут. Не слушайте никого! Бросите меня – в полгода потеряете и престол, и мальчонку».

К одному приятелю «старца» попало письмо Папюса императрице, писанное в конце 1915 года, которое кончалось так: «С точки зрения кабалистической Распутин – словно ящик

Пандоры. Заключены в нем все грехи, злодеяния и мерзости русского народа. Разбейся сей ящик – содержимое тотчас разлетится по всей России».

Осенью 1912 года царское семейство находилось в Спале, в Польше. Незначительный ушиб вызвал у царевича сильнейшее кровотечение. Дитя было при смерти. В тамошней церкви попы молились день и ночь. В Москве пред чудотворной иконой Иверской Божьей Матери был отслужен молебен. В Петербурге народ беспрестанно ставил свечки в Казанском соборе. Распутину сообщалось всё. Он телеграфировал царице: «Господь узрел твои слезы и внял моленьям твоим. Не крушись, сын твой жив будет». На другой день жар у мальчика спал. Два дня спустя царевич поправился и окреп. И окрепла вера несчастной императрицы в Распутина.

В 1914 году некая крестьянка ударила Распутина ножом. Более месяца жизнь его висела на волоске. Вопреки всем ожиданиям «старец» оправился от страшной ножевой раны. В сентябре он вернулся в Петербург. Поначалу, казалось, его несколько отдалили. Императрица занималась своими госпиталем, мастерскими, санитарным поездом. Близкие ее говорили, что никогда еще она не была так хороша. Распутин не являлся во дворец, не телефонировав предварительно. Это было ново. Все заметили и радовались. Однако же окружали «старца» лица влиятельные, связавшие с ним собственное преуспеяние. Вскоре он стал еще сильнее, чем прежде.

В июле 15-го новый обер-прокурор Синода Самарин доложил императору, что не сможет исполнять свои обязанности, если Распутин будет продолжать помыкать церковными властями. Государь отдал распоряжение о высылке «старца», однако через месяц тот снова явился в Петербург.

Глава 22

1916. В поисках плана действия – Конспирация – Сеанс гипноза – Исповедь «старца» – «Старец» принял мое приглашение на Мойку

Уверенный, что действовать необходимо, я открылся Ирине. С ней мы были единомышленники. Надеялся я, что без труда найду людей решительных, готовых действовать вместе со мной. Поговорил я то с одним, то с другим. И надежды мои рассеялись. Те, кто кипел ненавистью к «старцу», вдруг возлюбляли его, как только я предлагал перейти от слов к делу. Собственное спокойствие и безопасность оказывались дороже.

Председатель Думы Родзянко ответил, однако, совсем иначе. «Как же тут действовать, – сказал он, – если все министры и приближенные к его величеству – люди Распутина? Да, выход один: убить негодяя. Но в России нет на то ни одного смельчака. Не будь я так стар, я бы сам его прикончил».

Слова Родзянки укрепили меня. Но можно ли хладнокровно раздумывать, как именно убьешь?

Я говорил уже, что по натуре не воитель. В той внутренней борьбе, какая происходила во мне, одолела сила, мне не свойственная.

Дмитрий находился в Ставке. В его отсутствие я часто виделся с поручиком Сухотиным, раненным на фронте и проходившим лечение в Петербурге. Друг он был надежный. Я доверился ему и спросил, поможет ли он. Сухотин обещал, ни минуты не колеблясь.

Разговор наш состоялся в день, когда вернулся в. к. Дмитрий. Я встретился с ним на другое утро. Великий князь признался, что и сам давно подумывал об убийстве, хотя способа убить «старца» себе не представлял. Дмитрий поделился со мной впечатлениями, какие вывез из Ставки. Были они тревожны. Показалось ему, что государя намеренно опаивают зельем, якобы лекарством, чтобы парализовать его волю. Дмитрий добавил, что должен вернуться в Ставку, но пробудет там, вероятно, недолго, потому что дворцовый комендант генерал Воейков хочет отдалить его от государя.

Вечером пришел ко мне поручик Сухотин. Я пересказал ему наш разговор с великим князем, и мы тотчас стали обдумывать план действий. Решили, что я сдружусь с Распутиным и войду к нему в доверие, чтобы в точности знать о его политических шагах.

Мы еще не вполне отказались от надежды обойтись без крови,

например, откупиться от него деньгами. Если ж кровопролитие неизбежно, оставалось принять последнее решение. Я предложил бросить жребий, кому из нас выстрелить в «старца».

Очень вскоре мне позвонила приятельница моя, барышня Г., у которой в 1909 году я познакомился с Распутиным, и позвала прийти на другой день к ее матери, чтобы увидаться со «старцем». Григорий Ефимович желал возобновить знакомство.

На ловца и зверь бежит. Но, признаюсь, мучительно было злоупотребить доверием м-ль Г., ничего не подозревавшей. Пришлось мне заглушить голос совести.

Назавтра, стало быть, прибыл я к Г. Очень скоро пожаловал и «старец». Он сильно переменился. Растолстел, лицо его оплыло. Простого крестьянского кафтана более не носил, щеголял теперь в голубой шелковой с вышивкою рубашке и бархатных шароварах. В обращении, как показалось мне, он был еще грубее и беззастенчивей.

Заметив меня, он подмигнул и улыбнулся. Потом подошел и облобызал, и я с трудом скрыл отвращение. Распутин казался озабоченным и беспокойно ходил взад-вперед по гостиной. Несколько раз спросил, не звонили ль ему по телефону. Наконец он уселся рядом со мной и стал расспрашивать, чем ныне занят я. Спросил, когда отбываю на фронт. Я силился отвечать любезно, но покровительский его тон меня раздражал.

Услышав всё, что хотел знать обо мне, Распутин пустился в пространные бессвязные рассуждения о Господе Боге и любви к ближнему. Тщетно я искал в них смысл иль хоть намек на личное. Чем более слушал я, тем более убеждался, что он и сам не понимает, о чем толкует. Он разливался, а поклонницы его благоговейно и восторженно на него смотрели. Они впитывали каждое слово, видя во всем глубочайший мистический смысл.

Распутин вечно похвалялся даром целителя, и решил я, что, дабы сблизиться с ним, попрошу лечить меня. Объявил ему, что болен. Сказал, что испытываю сильную усталость, а доктора ничего не могут сделать.

– Я тебя вылечу, – ответил он. – Дохтора ничего не смыслят. А у меня, голубчик мой, всяк поправляется, ведь лечу я аки Господь, и лечение у меня не человечье, а Божье. А вот сам увидишь.

Тут раздался телефонный звонок. «Меня, должно, – сказал он беспокойно. – Поди узнай, в чем дело», – велел он м-ль Г. Девица тотчас вышла, ничуть не удивившись начальничьему тону.

Звонили действительно Распутину. Поговорив по телефону, он вернулся с расстроенной физиономией, поспешно простился и

вышел.

Я решил не искать с ним встречи, пока сам он не объявится.

Объявился он скоро. В тот же вечер принесли мне от барышни Г. записку. В ней передавала она извинения от Распутина за внезапный уход и звала прийти на другой день и принести с собой по просьбе «старца» гитару. Узнав, что я пою, он желал меня послушать. Я тотчас ответил согласием.

И на этот раз опять пришел я к Г. немногим раньше Распутина. Пока не было его, я спросил у хозяйки, почему накануне он ушел столь внезапно.

– Ему сообщили, что некое важное дело грозило кончиться плохо. К счастью, – добавила девица, – всё обошлось. Григорий Ефимович разгневался и очень кричал, *там* испугались и уступили.

– Где – *там!* — спросил я.

М-ль Г. осеклась.

– В Царском Селе, – сказала она нехотя.

Волновался «старец», как выяснилось, за назначение Протопопова на пост министра внутренних дел. Распутинцы были – за, все остальные царя отговаривали. Стоило Распутину появиться в Царском, назначение состоялось.

Распутин приехал в прекрасном расположении духа и с жаждой общения.

– Не сердись, голубчик, за давешнее, – сказал он мне. – Не виноват я. Надо ж было наказать злодеев. Много их нынче развелось.

– Я всё уладил, – продолжал он, обратившись к барышне Г., – пришлось самому во дворец поспешать. Не успел войти, Аннушка тут как тут. Хнычет и талдычит: «Всё пропало, Григорий Ефимыч, одна надежда на вас. А вот и вы, слава Богу». Меня тотчас и приняли. Смотрю – Мама не в духах, а Папа – по комнате туда-сюда, туда-сюда. Я как прикрикну, они сразу присмирели. А как пригрозил, что уйду и ну их совсем, они на всё согласные стали.

Мы перешли в столовую. М-ль Г. разливала чай и потчевала «старца» сластями и пирожным.

– Видал, какая добрая да ласковая? – сказал он. – Всегда обо мне думает. А ты-то гитару принес?

– Да, вот она.

– Ну-к давай, пой, ужо послушаем.

Я сделал над собой усилие, взял гитару и запел цыганский романс.

– Хорошо поешь, – сказал он. – С душой поешь. Еще пой.

Я спел еще, и грустное, и веселое. Распутин хотел продолжения.

– Кажется, вам понравилось, как я пою, – сказал я. – Но если б вы знали, до чего мне худо. И задор вроде есть, и охота, а выходит не так, как хотелось бы. Скоро устаю. Доктора меня лечат, но всё без толку.

– Да я тя враз исправлю. Пойдем-ка вот вместе к цыганам, всю хворь как рукой снимет.

– Ходил уже, не однажды ходил. И нимало не помогло, – отвечал я со смехом.

Распутин тоже засмеялся.

– А со мной, мой голубь, другое дело. Со мной, милый, веселье другое. Пойдем, не пожалеешь.

И Распутин рассказал в подробностях, как куролесил у цыган, как пел и плясал с ними.

Мать и дочь Г. не знали, куда глаза девать. Сальности «старца» смущали их.

– Не верьте ничему, – сказали дамы. – Григорий Ефимович шутит. Не было этого. Он сам на себя наговаривает.

Хозяйкины оправдания разъярили Распутина. Он стукнул кулаком по столу и грязно выругался. Дамы смолкли.

«Старец» снова повернулся ко мне.

– Ну, что, – сказал он, – айда к цыганам? Говорю, поправлю тебя. Вот увидишь. После спасибо скажешь. И девулю с собой возьмем.

М-ль Г. покраснела, ее матушка побледнела.

– Григорий Ефимович, – сказала она, – да что же это такое? Зачем вы позорите себя? И дочь моя здесь причем? Она хочет молиться с вами, а вы ее к цыганам... Нехорошо говорить так...

– Что еще выдумала? – ответил Распутин, зло посмотрев на нее. – Не знаешь, что ль, что, ежли со мной, никакого греха нет. И какая тя муха нынче укусила? А ты, мой милый, – продолжал он, снова обратившись ко мне, – не слушай ее, делай, что говорю, и всё хорошо будет.

Идти к цыганам мне вовсе не хотелось. Однако, не желая отказать прямо, я ответил, что зачислен в пажеский корпус и не имею права посещать увеселительные заведения.

Но Распутин стоял на своем. Уверил, что нарядит меня так, что никто не узнает и всё будет шито-крыто. Я, однако, ничего ему не обещал, но сказал, что позвоню по телефону позже.

На прощание он сказал мне:

– Хочу видать тебя часто. Приходи ко мне чай пить. Только упреди загодя. – И бесцеремонно похлопал меня по плечу.

Отношения наши, необходимые для осуществления моего плана, крепли. Но каких усилий мне это стоило! После каждой

встречи с Распутиным мне казалось, что я весь в грязи. В тот вечер я позвонил ему и отказался от цыган наотрез, сославшись на завтрашний экзамен, к которому-де должен подготовиться. Занятия мои в самом деле отнимали много времени, и встречи со «старцем» пришлось отложить.

Прошло несколько времени. Я встретил барышню Г.

– И не стыдно вам? – сказала она. – Григорий Ефимович всё еще ждет нас.

Она попросила пойти с ней вместе на другой день к «старцу», и я обещал.

Приехав на Фонтанку, мы оставили автомобиль на углу Гороховой, а до дома № 64, где жил Распутин, прошли пешком. Всякий его гость поступал именно так – из предосторожности, чтобы не привлекать внимания полиции, наблюдавшей за домом. М-ль Г. сообщила, что люди из охраны «старца» дежурили на парадной лестнице, и мы поднялись по боковой. Распутин сам открыл нам.

– А вот и ты! – сказал он мне. – А я уж было на тебя осерчал. Который день тебя дожидаю.

Он провел нас из кухни в спальню. Она была маленькая и просто обставленная. В углу вдоль стены стояла узкая койка, покрытая лисьей шкурой – подарок Вырубовой. У койки – большой крашеный деревянный сундук. В углу напротив – иконы и лампа. На стенах – портреты государей и дешевые гравюры с библейскими сценами. Из спальни мы вышли в столовую, где накрыт был чай.

На столе кипел самовар, в тарелках лежали пирожки, печенье, орехи и прочие лакомства, в вазочках – варенье и фрукты, посреди – корзина цветов.

Стояла дубовая мебель, стулья с высокими спинками и во всю стену буфет с посудой. Плохая живопись и над столом бронзовая лампа с абажуром довершали убранство.

Всё дышало мещанством и благополучием.

Распутин усадил нас за чай. Поначалу беседа не клеилась. Не смолкая, звонил телефон и являлись посетители, к которым отходил он в соседнюю комнату. Хождения взад-вперед заметно злили его.

В одну из его отлучек в столовую внесли большую корзину с цветами. К букету была приколота записка.

– Григорью Ефимычу? – спросил я м-ль Г.

Та кивнула утвердительно.

Распутин вскоре вернулся. На цветы он даже не глянул. Он сел рядом со мной и налил себе чаю.

– Григорий Ефимыч, – сказал я, – вам цветы приносят, как

примадонне.

Он рассмеялся.

– Дуры эти бабы, балуют, дуры, меня. Кажный день цветы шлют. Знают, что люблю.

Потом повернулся к м-ль Г.

– Выдь-ка на час. Мне надо поговорить с ним.

Г. послушно встала и вышла.

Как только мы остались одни, Распутин придвинулся и взял меня за руку.

– Что, милый, – сказал он, – хорошо у меня? А вот приходи почаще, еще лучше будет.

Он заглянул мне в глаза.

– Да не бойся, не съем, – продолжал он ласково. – Вот узнаешь меня, сам увидишь, каков я есть человек. Я всё могу. Папа и Мама меня и то слушают. И ты слушай. Нынче вечером буду у них, скажу, что поил тебя чаем. Им понравится.

Мне, однако, совсем не хотелось, чтобы государи узнали о моем свидании с Распутиным. Я понимал, что государыня расскажет всё Вырубовой, а та учует неладное. И будет права. Моя ненависть к «старцу» была ей известна. Некогда я сам ей в том признался.

– Знаете, Григорий Ефимыч, – сказал я, – лучше б вы им обо мне не говорили. Если отец с матерью узнают, что я был у вас, не миновать скандала.

Распутин согласился со мной и обещал молчать. После чего заговорил о политике и стал поносить Думу.

– Всех и дел им, что кости мне мыть. Государь огорчается. Ин да ладно. Скоро я их разгоню и на фронт ушлю. Будут знать, как языком трепать. Ужо попомнят меня.

– Но, Григорий Ефимыч, вы, если б и могли разогнать Думу, как же на деле-то разгоните?

– Очень просто, мой милый. Вот будешь мне другом и товарищем, всё узнаешь. А теперь одно скажу: царица – настоящая государыня. И ум, и сила при ей. А мне всё, что хошь, позволит. Ну, а *сам* – как дитё малое. Разве ж это царь? Ему бы дома в халате сидеть да цветы нюхать, а не править. Власть ему не по зубам. А вот мы ему, Бог даст, подсобим.

Я сдержал негодование и, как ни в чем не бывало, спросил, так ли он уверен в своих людях.

– Откуда вам знать, Григорий Ефимыч, что им от вас надо и что у них на уме? А вдруг они недоброе затевают?

Распутин снисходительно улыбнулся.

– Хочешь Боженьку уму-разуму научить? А Он не напрасно меня к помазаннику в помощь послал. Говорю тебе: не жить им

без меня. Я с ними попросту. Станут кобениться – так я кулаком по столу и – со двора. А они бегом за мной умолять, мол, постой, Григорий Ефимович, мол, не ходи, останься, всё по-твоему будет, только нас не бросай. Зато и любят, и уважают меня. Я третьего дня говорил с *самим,* просил назначить кой-кого, а *сам* — мол, потом да потом. Я и пригрозил уйти. Уйду, говорю, в Сибирь, а вы пропадайте пропадом. От Господа отворачиваетесь! Ну, так сыночек ваш и помрет, и вам за то гореть в геенне огненной! Вот какой у меня с ними разговор. Но дела мне еще много. У них там полно злодеев, и все им нашептывают, что, мол, Григорий Ефимович недобрый человек, погубить вас хочет... Всё вздор. И с чегой-то мне губить их? Люди они хорошие, Богу молятся.

– Но, Григорий Ефимыч, – возразил я, – государево доверие – это еще не всё. Вы же знаете, что о вас рассказывают. И не только в России. В иностранных газетах вас тоже не хвалят. Думаю, если вы и вправду любите государей, так уйдете и уедете в Сибирь. Мало ли что. У вас врагов много. Всякое может случиться.

– Да нет, милый. Это ты по незнанию говоришь. Бог того не допустит. Коли Он послал меня к ним, значит, так тому и быть. А что до пустобрехов наших и ихних, начхать на всех. Сами себе сук рубят.

Распутин вскочил и нервно заходил по комнате.

Я внимательно следил за ним. Вид у него стал тревожный и мрачный. Вдруг он обернулся, подошел ко мне и уставился на меня долгим взглядом.

У меня мороз прошел по коже. Взгляд Распутина был силы необыкновенной. Не отрывая от меня глаз, «старец» легонько погладил меня по шее, лукаво улыбнулся и сладко и вкрадчиво предложил выпить вина. Я согласился. Он вышел и вернулся с бутылкой мадеры, налил себе и мне и выпил за мое здоровье.

– Когда снова придешь? – спросил он.

Тут вошла барышня Г. и сказала, что пора ехать в Царское.

– А я заболтался! Совсем забыл, что энти-то ждут! Ну, да не беда... Им не впервой. Бывало, звонят мне по телефону, посылают за мной, а я и не еду. А потом свалюсь, как снег на голову... Ну, и рады-радехоньки! Еще больше любят... Прощай покудова, милый, – прибавил он.

Потом повернулся к м-ль Г. и сказал, кивнув на меня:

– А он малый умный, ей-ей, умный. Только б его с толку не сбили. Будет меня слушаться, добро. Правда, девонька? Вот и вразуми его, пусть знает. Ну, прощай, милок. Приходи скорее.

Он поцеловал меня и вышел, а мы с Г. снова сошли черной лестницей.

– Не правда ли, у Григория Ефимовича как дома? – сказала

Г. – При нем забываешь мирские горести! У него дар вносить в душу мир и покой!

Я не стал спорить. Заметил, однако:

– Григорью Ефимычу лучше б поскорей уехать из Петербурга.

– Почему? – спросила она.

– Потому что рано или поздно его убьют. Я в этом абсолютно уверен и советую вам постараться как следует объяснить ему, какой опасности он себя подвергает. Он должен уехать.

– Нет, что вы! – вскричала Г. в ужасе. – Ничего подобного не случится! Господь не допустит! Поймите вы наконец, он – наша единственная опора и утешение. Исчезнет он – всё погибнет. Государыня правильно говорит, что, пока он здесь, она за сына спокойна. И сам Григорий Ефимыч сказал: «Убьют меня – умрет и царевич». На него уже и покушались не раз, да только Бог его нам хранит. А теперь он и сам осторожней стал, и охрана при нем день и ночь. Ничего с ним не случится.

Мы подошли к дому Г.

– Когда я увижу вас? – спросила моя спутница.

– Позвоните, когда повидаетесь с ним.

С беспокойством гадал я, какое впечатление произвел на Распутина наш разговор. Всё же, кажется, без кровопролития не обойтись. «Старец» мнит, что всесилен, и чувствует себя в безопасности. К тому ж и думать нечего соблазнять его деньгами. По всему, человек он не бедный. А если правда, что он, пусть невольно, работает на Германию, стало быть, получает много больше, чем можем предложить мы.

Занятия в пажеском корпусе отнимали массу времени. Возвращался я поздно, но и тут было не до отдыха. Мысли о Распутине не давали покоя. Я раздумывал о степени его вины и мысленно видел, какой колоссальный заговор затеян против России, а ведь «старец» – душа его. Ведал ли он, что творил? Вопрос этот мучил меня. Часами я припоминал всё, что знал о нем, пытаясь объяснить противоречия его души и найти извинения его гнусностям. А потом вставало предо мной его распутство, бесстыдство и, самое главное, бессовестность по отношению к царской семье.

Но мало-помалу из всей этой мешанины фактов и доводов проступил образ Распутина, вполне определенный и немудреный.

Сибирский мужичонка, невежественный, беспринципный, циничный и жадный, волею случая оказавшийся близ сильных мира сего. Безграничное влияние на императорскую семью, обожание поклонниц, постоянные оргии и опасная праздность, к какой приучен он не был, уничтожили в нем остатки совести.

Но что за люди так умело использовали и вели его –

неведомо для него самого? Ибо сомнительно, что Распутин понимал всё это. И вряд ли знал, кто его водители. К тому ж он и имен никогда не помнил. Звал всех, как ему нравилось. В одной из наших с ним будущих бесед, намекая на каких-то тайных друзей, назвал их «зелеными». Похоже, что он и в глаза их не видел, а сносился с ними через посредников.

– «Зеленые» проживают в Швеции. Побывай-ка у них, познакомься.

– Так они и в России есть?

– Нет, в России – «зелененькие». Они друзья и «зеленым», и нам. Люди умные.

Спустя несколько дней, когда я все еще раздумывал о Распутине, м-ль Г. сообщила по телефону, что «старец» снова зовет меня к цыганам. Я опять, сославшись на экзамены, отказался, но сказал, что, если Григорий Ефимыч хочет увидеться, я приду к нему пить чай.

Пришел я к Распутину на другой день. Он был сама любезность. Я напомнил, что он обещал меня вылечить.

– Вылечу, – отвечал он, – в три дни вылечу. Выпьем вот сперва чайку, а потом пойдем ко мне в кабинет, чтоб нам не мешали. Я помолюсь Богу и боль из тебя выну. Только слушай меня, милок, и всё будет хорошо.

Мы выпили чаю, и Распутин впервые привел меня в свой рабочий кабинет – маленькую комнату с канапе, кожаными креслами и большим, заваленным бумагами столом.

«Старец» уложил меня на канапе. Потом, проникновенно глядя мне в глаза, стал водить рукой по моей груди, голове, шее. Опустился на колени, положил руки мне на лоб и зашептал молитву. Наши лица были так близко, что я видел только его глаза. Он оставался так некоторое время. Вдруг вскочил и стал делать надо мной пассы.

Гипнотическая власть Распутина была огромна. Я чувствовал, как неведомая сила проникает в меня и разливает тепло по всему телу. В то же время наступило оцепенение. Я одеревенел. Хотел говорить, но язык не слушался. Потихоньку я погрузился в забытье, словно выпил сонного зелья. Только и видел пред собой горящий распутинский взгляд. Два фосфоресцирующих луча слились в огненное пятно, и пятно то близилось, то отдалялось.

Я слышал голос «старца», но не мог разобрать слов.

Я лежал так, не в силах ни крикнуть, ни шевельнуться. Только мысль оставалась на воле, и я понимал, что исподволь оказываюсь во власти гипнотизера. И усилием воли я попытался гипнозу сопротивляться. Сила его, однако, росла, как бы окружая меня плотной оболочкой. Впечатление неравной борьбы двух

личностей. Всё ж, понял я, до конца он меня не сломил. Двигаться, однако, я не мог, пока он сам не приказал мне встать.

Вскоре я стал различать его силуэт, лицо и глаза. Жуткое огненное пятно исчезло.

– На сей раз хватит, мой милый, – сказал он.

Но, хоть он и смотрел на меня пристально, по всему, усмотрел он далеко не всё: никакого сопротивления себе он не заметил. «Старец» удовлетворенно улыбнулся, будучи уверен, что отныне я в его власти.

Вдруг он резко потянул меня за руку. Я поднялся и сел. Голова кружилась, во всем теле была слабость. С огромным усилием я встал на ноги и сделал несколько шагов. Ноги были чужие и не слушались.

Распутин следил за каждым моим движением.

– На тебе благодать Господня, – наконец сказал он. – Увидишь, зараз полегчает.

Прощаясь, он взял с меня слово прийти к нему вскоре.

С тех пор я стал бывать у Распутина постоянно. «Лечение» продолжалось, и доверие «старца» к пациенту росло.

– Ты, милый, и впрямь парень с умом, – объявил он однажды. – Всё понимаешь с полуслова. Хочешь, назначу тя министром.

Его предложение меня обеспокоило. Я знал, что «старец» всё может, и представил, как осмеют и ославят меня за такую протекцию. Я ответил ему со смехом:

– Я вам чем могу, помогу, только не делайте меня министром.

– А что смеешься? Думаешь, не в моей это власти? Всё в моей власти. Что хочу, то и ворочу. Говорю, быть те министром.

Говорил он с такой уверенностью, что я испугался не на шутку. И удивятся же все, когда в газетах напишут о таком назначении.

– Прошу вас, Григорий Ефимыч, оставьте это. Ну что я за министр? Да и зачем? Лучше нам тайно дружить.

– А может, ты и прав, – ответил он. – Будь по-твоему.

И потом добавил:

– А знаешь, не всяк рассуждает как ты. Другие приходят и говорят: «Сделай мне то, устрой мне это». Кажному что-нибудь надо.

– Ну, а вы что же?

– Пошлю их к министру али другому начальнику да записку с собой дам. А то запущу их прямехонько в Царское. Так и раздаю должностя.

– И министры слушаются?

– А то нет! – вкричал Распутин. – Я ж их сам и поставил. Еще б им не слушаться! Они знают, что к чему... Все меня боятся, все до единого, – сказал он, помолчав. – Мне достаточно кулаком по столу стукнуть. Только так с вами, знатью, и надо. Вам бахилы мои не нравятся! Гордецы вы все, мой милый, отседа и грехи ваши. Хочешь угодить Господу, смири гордыню.

И Распутин захохотал. Он напился и хотел откровенничать.

Поведал он мне, каким образом смирял у «нас» гордыню.

– Видишь ли, голубь, – сказал он, странно улыбнувшись, – бабы – первые гордячки. С них-то и надобно начинать. Ну, так я всех энтих дамочек в баню. И говорю им: «Вы теперича разденьтесь и вымойте мужика». Которая начнет ломаться, у меня с ней разговор короткий... И всю гордость, милый ты мой, как рукой снимет.

С ужасом выслушивал я грязные признания, которых подробности и передать не могу. Молчал и не перебивал его. А он говорил и пил.

– А ты-то чё ж не угощаешься? Али вина боишься? Лучше снадобья нет. Лечит от всего, и в аптеку бечь не надо. Сам Господь даровал нам питие во укрепление души и тела. Вот и я в ем сил набираюсь. Кстати, слыхал про Бадмаева? Вот те дохтур так дохтур. Сам снадобья варит. А ихние Боткин с Деревеньковым – бестолочи. Бадмаевские травки природа дала. Они в лесах, и в полях, и в горах растут. И растит их Господь, оттого и сила в них Божья.

– А скажите, Григорий Ефимыч, – вставил я осторожно, – правда ли, что этими травами поят государя и наследника?

– Знамо дело, поят. *Сама* за тем доглядывает. И Анютка глядит. Боятся вот только, чтоб Боткин не пронюхал. Я вить им твержу: познают дохтура, больному худо станет. Вот они и бдят.

– А что за травы вы даете государю и наследнику?

– Всякие, милый, всякие. *Самому* – чай благодати даю. Он ему сердце утихомирит, и царь сразу добрый да веселый сделается. Да и что он за царь? Он дитя Божье, а не царь. Сам потом увидишь, как мы всё проделываем. Грю те, наша возьмет.

– То есть, что значит – ваша возьмет, Григорий Ефимыч?

– Ишь, любопытный какой... Всё-то ему и скажи... Придет время, узнаешь.

Никогда еще Распутин не говорил со мной столь откровенно. По всему, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не хотелось упускать возможность узнать о распутинских кознях. Я предложил ему выпить со мной еще. Молча наполняли мы стаканы. Распутин опрокидывал в глотку, а я пригубливал. Опустошив бутылку очень крепкой мадеры, он на нетвердых

ногах пошел к буфету и принес еще бутылку. Я снова налил ему стакан, сделал вид, что налил и себе, и продолжил расспросы.

– А помните, Григорий Ефимыч, вы давеча говорили, что хотите меня взять в помощники? Я всей душой. Только прежде объясните свои дела. Говорите, перемены опять грядут? А когда? И что за перемены такие?

Распутин остро на меня глянул, потом прикрыл глаза, подумал и сказал:

– А вот какие: хватит войны, хватит крови, пора остановить бойню. Немцы, я чай, тоже нам братья. А Господь что сказал? Господь сказал – возлюби врага яко брата... Потому-то и надобно войну кончить. А *сам,* мол, нет да нет. И *сама* ни в какую. Ктой-то у них явно дурной советчик. А толку-то что. Прикажу вот – придеться им послушаться... Теперича еще рано, готово еще не всё. Ну, а как покончим, объявим Лександру регентшей при малолетнем наследнике. *Самого* сошлем на покой в Ливадию. Ему там хорошо будет. Устал, болезный, пущай отдохнет. Там на цветочках, и к Боженьке ближе. *Самому-то* есть в чем покаяться. Век молиться будет, не замолит войну энту.

А царица – умная, вторая Катька. Она уж и теперь всем правит. Вот увидишь, с ней чем дальше, тем лучше будет. Выгоню, говорит, всех болтунов из думы. Вот и ладно. Пущай убираются ко всем чертям. А то затеяли скинуть помазанника Божья. А мы их самих сковырнем! Давно уж пора! И которые супротив меня идут, тем тоже не сдобровать!

Распутин оживлялся всё более. Пьяный, он и не думал уж прятаться.

– Я как загнанный зверь, – жаловался он. – Господа вельможи ищут моей смерти. Я им поперек дороги встал. Зато народ уважает, что я в сапогах да кафтане государей поучаю. На то воля Божья. Господь мне сил-то и придал. Я в сердцах чужих сокровенное читаю. Ты, милой, сметлив, поможешь мне. Я научу тебя кой-чему... На том денег наживешь. А тебе небось и не надо. Ты небось побогаче царя будешь. Ну, тады бедным отдашь. Прибытку всякий рад.

Вдруг раздался резкий звонок. Распутин вздрогнул. По всему, он ждал кого-то, но за разговором напрочь о том забыл. Опомнившись, он, кажется, испугался, что нас застанут вместе.

Он быстро встал и повел меня в свой кабинет, откуда сам тотчас вышел. Я слышал, как он поволочился в переднюю, по дороге налетел на тяжелый предмет, что-то уронил, выругался: ноги не держали, зато язык был боек.

Затем раздались голоса в столовой. Я прислушался, но говорили тихо, и слов я не разобрал. Столовая отделена была от

кабинета коридорчиком. Я приоткрыл дверь. В двери в столовую оставалась щелка. Я увидел «старца», сидящего на том же месте, где сидел он со мной минутами ранее. Теперь с ним было семеро субъектов сомнительного вида. Четверо – с ярко выраженными семитскими лицами. Трое – блондины и удивительно друг на друга похожи. Распутин говорил с оживлением. Посетители что-то записывали в книжечки, переговаривались вполголоса и по временам посмеивались. Ровно заговорщики какие.

Вдруг у меня мелькнула догадка. Не те ли это самые распутинские «зелененькие»? И, чем долее я смотрел, тем более убеждался, что вижу самых настоящих шпионов.

Я с отвращением отошел от двери. Захотелось вырваться прочь отсюда, но другой двери не было, меня бы тотчас заметили.

Прошла, как мне показалось, вечность. Наконец Распутин вернулся.

Он был весел и доволен собой. Чувствуя, что не в силах преодолеть отвращение к нему, я поспешно простился и выбежал вон.

Посещая Распутина, с каждым разом я всё более убеждался, что он и есть причина всех бед отечества и что исчезни он – исчезнет его колдовская власть над царской семьей.

Казалось, сама судьба привела меня к нему, чтобы показать мне пагубную его роль. Чего ж мне боле? Щадить его – не щадить России. Найдется ли хоть один русский, в душе не желающий ему смерти?

Теперь уж вопрос не в том, быть или не быть, но в том, кому исполнять приговор. От первоначального намерения убить его у него дома мы отказались. Разгар войны, идет подготовка к наступлению, состояние умов накалено до предела. Открытое убийство Распутина может быть истолковано как выступление против императорской фамилии. Убрать его следует так, чтобы ни фамилии, ни обстоятельства дела не вышли наружу.

Надеялся я, что депутаты Пуришкевич и Маклаков, проклинавшие «старца» с думской трибуны, помогут мне советом, а то и делом. Я решил повидаться с ними. Казалось мне, важно привлечь самые разные элементы общества. Дмитрий – из царской семьи, я – представитель знати, Сухотин – офицер. Хотелось бы получить и думца.

Перво-наперво я поехал к Маклакову. Беседа была краткой. В нескольких словах я пересказал наши планы и спросил его мнения. От прямого ответа Маклаков уклонился. Недоверие и нерешительность прозвучали в вопросе, который он вместо ответа задал:

– А почему вы обратились именно ко мне?

– Потому что ходил в думу и слышал вашу речь.

Я уверен был, что в душе он одобрял меня. Поведением, однако, меня разочаровал. Во мне ли сомневался? Боялся ли опасности дела? Как бы там ни было, я скоро понял, что рассчитывать на него не придется.

Не то с Пуришкевичем. Не успел я сказать ему сути дела, он со свойственными ему пылом и живостью обещал помочь. Правда, предупредил, что Распутин охраняем денно и нощно и проникнуть к нему не просто.

– Уже проникли, – сказал я.

И описал ему свои чаепития и беседы со «старцем» Под конец упомянул Дмитрия, Сухотина и объяснение с Маклаковым. Реакция Маклакова его не удивила. Но обещал еще поговорить с ним и попытаться все же вовлечь в дело.

Пуришкевич согласен был, что Распутина следует убрать, не оставляя следов. Мы же с Дмитрием и Сухотиным обсудили и решили, что яд – вернейшее средство скрыть факт убийства.

Местом исполнения плана выбрали мой дом на Мойке.

Лучше всего подходило помещение, обустроенное мною в подвале.

Поначалу всё во мне восстало: невыносимо было думать, что дом мой станет ловушкой. Кто бы он ни был, не мог я решиться убить гостя.

Друзья понимали меня. После долгих споров положили, однако, ничего не менять. Спасти родину надо было любой ценой, ценой даже и насилия над собственной совестью.

Пятым в дело мы по совету Пуришкевича приняли доктора Лазоверта. План был таков: Распутин получает цианистый калий; доза достаточна, чтобы смерть наступила мгновенно; я сижу с ним как с гостем с глазу на глаз; остальные поблизости, наготове, если потребуется помощь.

Как ни обернется дело, мы обещали молчать об участниках.

Несколько дней спустя Дмитрий и Пуришкевич уехали на фронт.

Дожидаясь их возвращения, я по совету Пуришкевича снова пошел к Маклакову. Меня ждал приятный сюрприз: Маклаков запел другую песню – горячо одобрил всё. Правда, когда я предложил ему участвовать лично, ответил он, что не сможет, так как в середине декабря ему, дескать, придется уехать по архиважному делу в Москву. Все ж я посвятил его в подробности плана. Выслушал он очень внимательно... но – и только.

Когда я уходил, он пожелал мне удачи и подарил резиновую гирю.

– Возьмите на всякий случай, – сказал он, улыбаясь.

Всякий раз, приходя к Распутину, я бывал сам себе отвратителен. Шел, как на казнь, так что ходить стал реже.

Незадолго до возвращения Пуришкевича и Дмитрия я всё же снова зашел к нему.

Он был в прекрасном расположении духа.

– Что вы так веселы? – спросил я.

– Да дельце обделал. Теперь уж недолго ждать. Будет и на нашей улице праздник.

– О чем речь? – спросил я.

– Об чем речь, об чем речь... – передразнил он. – Забоялся ты меня и ходить ко мне бросил. А я, голубчик мой, много антиресного знаю. Так вот не расскажу, коли боишься. Всего ты боишься. А будь ты посмелей, я б те всё открыл!

Я отвечал, что много занимаюсь в пажеском корпусе и только потому стал реже у него бывать. Но его на мякине было не провести.

– Знаем, знаем... Боишься, и батька с мамкой не пущают. А мамка твоя с Лизаветой подружки, так что ль? У них одно на уме: прогнать меня отседова. Ан нет, шалишь: не станут их в Царском слушать. В Царском меня слушают.

– В Царском, Григорий Ефимыч, вы совсем другой. Там вы только о Боге и говорите, за то вас там и слушают.

– А почто, родимый, мне и не говорить-то о Господе? Они люди набожные, божественное любят... Всё понимают, всё прощают и мной дорожат. И клеветать на меня неча. Клевещи не клевещи, они всё одно не поверят. Я им так и сказал. Меня поносить, говорю, будут. Ну-к что ж. Христа тоже бесчестили. Он тоже пострадал за правду... Слушать-то они всех слушают, а поступают по велению сердца.

Что же до *самого,* — продолжал разливаться Распутин, – он как уедет из Царского, так сразу и верит всем негодяям. И теперича вот он от меня аж нос воротит. Я было к нему: мол, кончать надо бойню, все люди – братья, говорю. Что француз, что немец, всё одна... А он уперся. Знай твердит – «стыдно», говорит, мир подписывать. Где ж стыдно, коли речь о спасении ближнего? И опять людей тыщами погонят на верную смерть. А это не стыдно? *Сама-то* государыня добрая да мудрая. А *сам* что? В нем от самодержца и нет ничего. Дитя блаженное, да и только. А я чего боюсь? Боюсь, почует что-нито великий князь Николай Николаич и почнет вставлять нам палки в колеса. Но он, хвала Господу, далеко, а достать оттель досель у него руки коротки. *Сама* поняла опасность и услала его, чтоб не мешался.

– А, по-моему, – сказал я, – большой ошибкой было снять великого князя с поста главнокомандующего. Россия боготворит его. В трудное время нельзя лишать армию любимого военачальника.

– Не боись, родимый. Коли сняли, стало быть, так надо. Так надо, стало быть.

Распутин встал и заходил взад-вперед по комнате, что-то бормоча. Вдруг он остановился, подскочил ко мне и схватил меня за руку. Глаза его странно блестели.

– Пойдем со мной к цыганам, – попросил он. – Пойдешь – всё тебе расскажу, всё как на духу.

Я согласился было, но тут зазвонил телефон. Распутина вызвали в Царское Село. Поход к цыганам отменялся. Распутин глянул разочарованно. Я воспользовался моментом и пригласил его в ближайший вечер к нам на Мойку.

«Старец» давно уж хотел познакомиться с моей женой. Думая, что она в Петербурге, а родители мои в Крыму, он принял приглашение. На самом деле Ирина тоже была в Крыму. Я, однако, рассчитывал, что он согласится охотнее, если понадеется ее увидеть.

Несколько дней спустя с позиций вернулись наконец Дмитрий с Пуришкевичем, и решено было, что позову я Распутина прийти на Мойку вечером 29 декабря.

«Старец» согласился при условии, что я заеду за ним и потом отвезу его обратно домой. Велел он мне подняться по черной лестнице. Привратника, сказал, предупредит, что в полночь уедет к другу.

С изумлением и ужасом я увидел, как он сам облегчал и упрощал нам всё дело.

Глава 23

1916 (Продолжение). Подвал на Мойке – Ночь 29-го декабря

В Петербурге я был тогда один и жил вместе с шурьями своими во дворце у великого князя Александра. Весь почти день 29 декабря я готовился к назначенным на другой день экзаменам. В перерыве поехал на Мойку сделать необходимые распоряжения.

Распутина я собирался принять в полуподвальных апартаментах, которые для того отделывал. Аркады разделили подвальную залу на две части. В большей была устроена столовая. В меньшей винтовая лесенка, о которой писал уже, уводила в квартиру мою в бельэтаж. На полпути имелся выход на двор. В столовую с низким сводчатым потолком свет проникал в два мелких оконца на уровне тротуара, выходивших на набережную. Стены и пол в помещении сложены были из серого камня. Чтобы не вызвать у Распутина подозрений видом голого погреба, пришлось украсить комнату и придать ей жилой облик.

Когда прибыл я, мастера стелили ковры и вешали портьеры. В нишах в стене уже поставили китайские красные фарфоровые вазы. Из кладовой принесли выбранную мной мебель: резные деревянные стулья, обтянутые старой кожей, массивные дубовые кресла с высокими спинками, столики, обтянутые старинным сукном, костяные кубки и множество красивых безделушек. До сих пор я в подробностях помню обстановку столовой. Шкаф-поставец, к примеру, был эбеновый с инкрустацией и множеством внутри зеркалец, бронзовых столбиков, потайных ящичков. На шкафу стояло распятие из горного хрусталя в серебряной филиграни работы замечательного итальянского мастера XVI века. Камин из красного гранита увенчивали позолоченные чаши, тарелки ренессансной майолики и статуэтки из слоновой кости. На полу лежал персидский ковер, а в углу у шкафа с зеркальцами и ящичками – шкура белого медведя.

Дворецкий наш, Григорий Бужинский, и мой камердинер Иван помогли расставить мебель. Я велел им приготовить чай на шесть персон, купить пирожных, печенья и принести вина из погреба. Сказал, что к одиннадцати ожидаю гостей, а они пусть сидят у себя, пока не позову.

Всё было в порядке. Я поднялся к себе, где дожидался меня полковник Фогель для последней проверки к завтрашним экзаменам. К шести вечера мы закончили. Я отправился во дворец к великому князю Александру отужинать с шурьями. По дороге зашел в Казанский собор. Стал молиться и забыл о времени.

Выйдя из собора, как показалось мне, очень вскоре, с удивлением обнаружил я, что молился около двух часов. Появилось странное чувство легкости, почти счастья. Я поспешил во дворец к тестю. Поужинал я перед возвращением на Мойку основательно.

К одиннадцати в подвале на Мойке всё было готово. Подвальное помещение, удобно обставленное и освещенное, перестало казаться склепом. На столе кипел самовар и стояли тарелки с любимыми распутинскими лакомствами. На серванте – поднос с бутылками и стаканами. Комната освещена старинными светильниками с цветными стеклами. Тяжелые портьеры из красного атласа спущены. В камине трещат поленья, на гранитной облицовке отражая вспышки. Кажется, отрезан ты тут от всего мира, и, что ни случись, толстые стены навеки схоронят тайну.

Звонок известил о приходе Дмитрия и остальных. Я провел всех в столовую. Некоторое время молчали, осматривая место, где назначено было умереть Распутину.

Я достал из поставца шкатулку с цианистым калием и положил ее на стол рядом с пирожными. Доктор Лазоверт надел резиновые перчатки, взял из нее несколько кристалликов яда, истер в порошок. Затем снял верхушки пирожных, посыпал начинку порошком в количестве, способном, по его словам, убить слона. В комнате царило молчание. Мы взволнованно следили за его действиями. Осталось положить яд в бокалы. Решили класть в последний момент, чтобы отрава не улетучилась. И еще придать всему вид оконченного ужина, ибо я сказал Распутину, что в подвале обыкновенно пирую с гостями, а порой занимаюсь или читаю в одиночестве в то время, как приятели уходят наверх покурить у меня в кабинете. На столе мы всё смешали в кучу, стулья отодвинули, в чашки налили чай. Условились, что, когда я поеду за «старцем», Дмитрий, Сухотин и Пуришкевич поднимутся в бельэтаж и заведут граммофон, выбрав музыку повеселей. Мне хотелось поддержать в Распутине приятное расположение духа и не дать ему ничего заподозрить.

Приготовления окончились. Я надел шубу и надвинул на глаза меховую шапку, совершенно закрывшую лицо. Автомобиль ждал во дворе у крыльца. Лазоверт, ряженный шофером, завел мотор. Когда мы приехали к Распутину, пришлось пререкаться с привратником, не сразу впустившим меня. Как было условлено, я поднялся по черной лестнице. Света не было, шел я на ощупь. Дверь в квартиру отыскал еле-еле.

Позвонил.

– Кто там? – крикнул «старец» за дверью.

Сердце забилось.

– Григорий Ефимыч, это я, пришел за вами.

За дверью послышалось движение. Звякнула цепочка. Заскрипел засов. Чувствовал я себя преужасно.

Он открыл, я вошел.

Тьма кромешная. Показалось, что из соседней комнаты кто-то пристально смотрит. Я невольно поднял воротник и еще ниже надвинул на глаза шапку.

– Чтой-то ты прячешься? – спросил Распутин.

– Так ведь уговор был, что никто не должен узнать.

– И то правда. Так я и словом никому не обмолвился. Даже тайных отпустил. Ну, лады, зараз оденусь.

Я вошел за ним в спальню, освещенную одной лампадкою у икон. Распутин зажег свечу. Кровать, как я заметил, была разостлана.

Верно, ожидая меня, он прилег. У кровати на сундуке лежали шуба и бобровая шапка. Рядом валенки с галошами.

Распутин надел шелковую рубашку, расшитую васильками. Опоясался малиновым шнурком. Черные бархатные шаровары и сапоги были с иголочки. Волосы прилизаны, борода расчесана с необычайным тщанием. Когда он приблизился, от него пахнуло дешевым мылом. Видно было – к нашему вечеру он старался, прихорашивался.

– Ну что, Григорий Ефимыч, нам пора. За полночь уже.

– А цыгане? К цыганам поедем?

– Не знаю, может быть, – отвечал я.

– У тебя никого нынче? – спросил он с некоторой тревогой.

Я успокоил его, обещав, что неприятных людей он не увидит, а матушка в Крыму.

– Не люблю я твою матушку. Она меня, знаю, не терпит. Ну, ясно, Лизаветина подружка. Обе клевещут на меня и козни строят. Царица сама мне сказала, что они врагини мои заклятые. Слышь, нынче вечером Протопопов у меня был, никуда, грит, не ходи. Убьют, грит, тебя. Грит, враги худое затеяли... Дудки! Не родились еще убивцы мои... Ладно, хватит балакать... Идем, что ль...

Я взял с сундука шубу и помог ему надеть ее.

Невыразимая жалость к этому человеку вдруг охватила меня. Цель не оправдывала средства столь низменные. Я почувствовал презрение к самому себе. Как мог я пойти на подобную гнусность? Как решился?

С ужасом посмотрел я на жертву. «Старец» был доверчив и спокоен. Где ж его хваленое ясновидение? И что толку прорицать и читать в чужих мыслях, если ловушки самому себе разглядеть

не умеешь? Словно сама судьба ослепила его... чтобы свершилось правосудие...

И вдруг предстала предо мной жизнь Распутина во всей ее мерзости. И сомнений моих, и угрызений как не бывало. Вернулась твердая решимость довершить начатое.

Мы вышли на темную лестницу. Распутин закрыл дверь.

Снова послышался скрип засова. Мы очутились в кромешной тьме.

Пальцы его судорожно вцепились мне в руку.

– Так надежней идтить, – шепнул «старец», увлекая меня вниз по ступенькам.

Пальцы его больно сжимали мне кисть. Хотелось закричать и вырваться. В голове у меня помутилось. Не помню, что он сказал, что я ответил. Хотелось в тот миг одного: выйти скорей на волю, увидеть свет, не чувствовать больше этой страшной руки в своей.

На улице паника моя прошла. Я вновь обрел хладнокровие.

Мы сели в автомобиль и поехали.

Я оглянулся проверить, нет ли филеров. Никого. Всюду пусто.

Кружным путем добрались мы до Мойки и въехали во двор, подкатив к тому же крыльцу.

Войдя в дом, услыхал я голоса друзей и веселые куплеты. Крутили американскую пластинку. Распутин насторожился.

– Что это? – спросил он. – Праздник у вас, что ль, какой?

– Да нет, у жены гости, скоро уйдут. Пойдемте пока в столовую, выпьем чаю.

Спустились. Не успев войти, Распутин скинул шубу и с любопытством стал озираться. Особенно привлек его поставец с ящичками. «Старец» забавлялся как дитя, открывал и закрывал дверцы, рассматривал внутри и снаружи.

И последний раз попытался я уговорить его уехать из Петербурга. Отказ его решил его судьбу. Я предложил ему вина и чая. Увы, не захотел он ни того, ни другого. «Неужели почуял что-нибудь?» – подумал я. Как бы там ни было, живым ему отсюда не выйти.

Мы сели за стол и заговорили.

Обсудили общих знакомых, не забыли и Вырубову. Вспоминали, разумеется, Царское Село.

– А зачем, Григорий Ефимыч, – спросил я, – приезжал к вам Протопопов? Заговор подозревает?

– Ох, да, голубчик. Говорит, речь моя простая многим покоя не дает. Не по вкусу вельможам, что суконное рыло в калашный ряд лезет. Завидки их берут, вот и злятся, и пужают меня... А пущай их пужают, мне не страшно. Ничего они мне не могут. Я

заговоренный. Меня уж скоко раз убить затевали, да Господь не давал. Кто на меня руку поднимет, тому самому не сдобровать.

Слова «старца» гулко-жутко звучали там, где ему предстояло принять смерть. Но я уж был спокоен. Он говорил, а я одно думал: заставить его выпить вина и съесть пирожные.

Наконец, переговорив свои любимые разговоры, Распутин попросил чаю. Я скорей налил ему чашку и придвинул печенье. Почему печенье, неотравленное?..

Только после того я предложил ему эклеры с цианистым калием. Он сперва отказался.

– Не хочу, – сказал он, – больно сладкие.

Однако взял один, потом еще один... Я смотрел с ужасом. Яд должен был подействовать тут же, но, к изумлению моему, Распутин продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало.

Тогда я предложил ему наших домашних крымских вин. И опять Распутин отказался. Время шло. Я стал нервничать. Несмотря на отказ, я налил нам вина. Но, как только что с печеньем, так же бессознательно взял я неотравленные бокалы. Распутин передумал и бокал принял. Выпил он с удовольствием, облизнул губы и спросил, много ль у нас такого вина. Очень удивился, узнав, что бутылок полные погреба.

– Плесни-ка мадерцы, – сказал он. Я хотел было дать ему другой бокал, с ядом, но он остановил:

– Да в тот же лей.

– Это нельзя, Григорий Ефимыч, – возразил я. – Вина смешивать не положено.

– Мало что не положено. Лей, говорю...

Пришлось уступить.

Все ж я, словно нечаянно, уронил бокал и налил ему мадеры в отравленный. Распутин более не спорил.

Я стоял возле него и следил за каждым его движением, ожидая, что он вот-вот рухнет...

Но он пил, чмокал, смаковал вино, как настоящие знатоки. Ничто не изменилось в лице его. Временами он подносил руку к горлу, точно в глотке у него спазма. Вдруг он встал и сделал несколько шагов. На мой вопрос, что с ним, он ответил:

– А ничего. В горле щекотка.

Я молчал ни жив ни мертв.

– Хороша мадера, налей-ка еще, – сказал он.

Яд, однако, не действовал. «Старец» спокойно ходил по комнате.

Я взял другой бокал с ядом, налил и подал ему.

Он выпил его. Никакого впечатления.

На подносе оставался последний, третий бокал.

В отчаянии я налил и себе, чтобы не отпускать Распутина от вина.

Мы сидели друг против друга, молчали и пили.

Он смотрел на меня. Глаза его хитро щурились. Они словно говорили: «Вот видишь, напрасны старания, ничего-то ты мне не сделаешь».

Вдруг на лице его появилась ярость.

Никогда прежде не видал я «старца» таким.

Он уставился на меня сатанинским взглядом. В этот миг я испытал к нему такую ненависть, что готов был броситься задушить его.

Мы молчали по-прежнему. Тишина стала зловещей. Казалось, «старец» понял, зачем я привел его сюда и что хочу с ним сделать. Точно шла меж нами борьба, немая, но жуткая. Еще миг – и я бы сдался. Под его тяжелым взором я стал терять хладнокровие. Пришло странное оцепенение... Голова закружилась...

Когда я очнулся, он всё так же сидел напротив, закрыв лицо руками. Глаз его я не увидел.

Я успокоился и предложил ему чаю.

– Лей, – сказал он глухо. – Пить хочется.

Он поднял голову. Глаза его были тусклы. Казалось, он избегал смотреть на меня.

Пока я наливал чай, он встал и снова стал ходить взад-вперед. Заметив на стуле гитару, он сказал:

– Сыграй, что ль, веселое. Я люблю, как ты поешь.

В этот миг мне было не до пения, тем более веселого.

– Душа не лежит, – сказал я.

Однако ж взял гитару и заиграл что-то лирическое.

Он сел и стал слушать. Сперва внимательно, потом опустил голову и смежил веки. Казалось, задремал.

Когда я окончил свой романс, он раскрыл глаза и посмотрел на меня с грустью.

– Спой еще. Ндравится мне это. С чувством поешь.

И я опять запел. Голос был словно чужой.

Время шло. На часах – половина третьего ночи... Два часа уже длится этот кошмар. «Что будет, – подумал я, – если нервы сдадут?»

Наверху, кажется, начали терять терпение. Шум над головой усилился. Не ровен час, товарищи мои, не выдержат, прибегут.

– Что там еще такое? – спросил Распутин, подняв голову.

– Должно быть, гости уходят, – ответил я. – Пойду посмотрю, в чем дело.

Наверху у меня в кабинете Дмитрий, Сухотин и Пуришкевич, едва я вошел, кинулись навстречу с вопросами.

– Ну, что? Готово? Кончено?

– Яд не подействовал, – сказал я.

Все потрясенно замолчали.

– Не может быть! – вскричал Дмитрий.

– Доза слоновья! Он всё проглотил? – спросили остальные.

– Всё, – сказал я.

Посовещались наскоро и решили, что сойдем в подвал вместе, кинемся на Распутина и задушим. Мы стали спускаться, но тут я подумал, что затея неудачна. Войдут незнакомые люди, Распутин перепугается, а там Бог весть на что этот черт способен...

С трудом убедил я друзей дать мне действовать одному.

Я взял у Дмитрия револьвер и сошел в подвал.

Распутин сидел всё в том же положении. Голову он свесил, дышал прерывисто. Я тихонько подошел к нему и сел рядом. Он не реагировал. Несколько минут молчания. Он с трудом поднял голову и посмотрел на меня пустым взглядом.

– Вам нездоровится? – спросил я.

– Да, голова тяжелая и в брюхе жжет. Ну-ка, налей маленько. Авось, полегчает.

Я налил ему мадеры, он выпил залпом. И сразу ожил и повеселел. Он явно был в полном сознании и твердой памяти. Вдруг он предложил ехать к цыганам. Я отказался, сказав, что уж поздно.

– Ничё не поздно, – возразил он. – Они привычные. Иной раз до утра меня ждут. Однажды в Царском с делами засиделся... или что ль, о Боженьке растабарывал... Ну, так и махнул к ним на автомобиле. Плоти грешной тоже отдых надобен... Нет, скажешь? Душа-то, она Божья, а плоть – человечья. Так-то вот! – добавил Распутин, озорно подмигнув.

И это говорит мне тот, кому я скормил громадную дозу сильнейшего яда! Но особенно потрясло меня доверие Распутина. Со всем своим чутьем не мог он учуять, что вот-вот умрет!

Он, ясновидец, не видит, что за спиной у меня револьвер, что вот-вот я наведу его на него!

Я машинально повернул голову и посмотрел на хрустальное распятие на поставце, потом встал и подошел ближе.

– Что высматриваешь? – спросил Распутин.

– Нравится мне распятие, – отвечал я. – Прекрасная работа.

– И впрямь, – согласился он, – хороша вещица. Дорого, я чай, стоила. Сколько дал за нее?

С этими словами он встал, сделал несколько шагов ко мне и, не дожидаясь ответа, добавил:

– А по мне, шкапец краше. – Он подошел, открыл дверцы и

стал рассматривать.

– Вы, Григорий Ефимыч, – сказал я, – лучше посмотрите на распятие и Богу помолитесь.

Распутин глянул на меня удивленно, почти испуганно. В глазах его я увидел новое, незнакомое мне выражение. Была в них покорность и кротость. Он подошел ко мне вплотную и заглянул в лицо. И словно увидел в нем что-то, чего не ожидал сам. Я понял, что настал решающий момент. «Господи, помоги!» – сказал я мысленно.

Распутин всё так же стоял предо мной, неподвижно, ссутулившись, устремив глаза на распятие. Я медленно поднял револьвер.

«Куда целиться, – подумал я, – в висок или в сердце?»

Дрожь сотрясла меня всего. Рука напряглась. Я прицелился в сердце и спустил курок. Распутин крикнул и рухнул на медвежью шкуру.

На миг ужаснулся я, как легко убить человека. Одно твое движение – и то, что только что жило и дышало, лежит на полу, как тряпичная кукла.

Услыхав выстрел, прибежали друзья. На бегу они задели электрический провод, и свет погас. Во тьме кто-то налетел на меня и вскрикнул. Я не сходил с места, боясь наступить на труп. Свет, наконец, наладили.

Распутин лежал на спине. Временами лицо его подергивалось. Руки его свело судорогой. Глаза были закрыты. На шелковой рубашке – красное пятно. Мы склонились над телом, осматривая его.

Прошло несколько минут, и «старец» перестал дергаться. Глаза не раскрылись. Лазоверт констатировал, что пуля прошла в области сердца. Сомнений не было: Распутин мертв. Дмитрий с Пуришкевичем перетащили его со шкуры на голый каменный пол. Мы потушили свет и, замкнув на ключ подвальную дверь, поднялись ко мне.

Сердца наши были полны надежд. Мы твердо знали: то, что сейчас случилось, спасет Россию и династию от гибели и бесчестия.

Согласно плану, Дмитрий, Сухотин и Лазоверт должны были изобразить, что отвозят Распутина обратно к нему домой, на случай, если все же была за нами слежка. Сухотин станет «старцем», надев его шубу и шапку. С двумя провожатыми «старец»-Сухотин уедет в открытом автомобиле Пуришкевича. На Мойку они вернутся в закрытом моторе Дмитрия, заберут труп и увезут его к Петровскому мосту.

Мы с Пуришкевичем остались на Мойке. Пока ждали своих,

говорили о будущем России, навсегда избавленной от злого ее гения. Могли ль мы предвидеть, что те, кому развязали мы руки, в этот исключительно благоприятный момент не захотят или не смогут и пальцем пошевелить!

За разговором появилось вдруг во мне смутное беспокойство. Неодолимая сила повела меня в подвал к мертвецу.

Распутин лежал там же, где мы положили его. Я пощупал пульс. Нет, ничего. Мертв, мертвей некуда.

Не знаю, с чего вдруг я схватил труп за руки и рванул на себя. Он завалился на бок и снова рухнул.

Я постоял еще несколько мгновений и только собрался уйти, как заметил, что левое веко его чуть-чуть подрагивает. Я наклонился и всмотрелся. По мертвому лицу проходили слабые судороги.

Вдруг левый глаз его открылся... Миг – и задрожало, потом приподнялось правое веко. И вот оба распутинских зеленых гадючьих глаза уставились на меня с невыразимой ненавистью. Кровь застыла у меня в жилах. Мышцы мои окаменели. Хочу бежать, звать на помощь – ноги подкосились, в горле спазм.

Так и застыл я в столбняке на гранитном полу.

И случилось ужасное. Резким движением Распутин вскочил на ноги. Выглядел он жутко. Рот его был в пене. Он закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь.

Распутин тихо и хрипло повторял мое имя.

Не могу описать ужаса, какой охватил меня! Я силился высвободиться из его объятия, но был как в тисках. Меж нами завязалась яростная борьба.

Ведь он уж умер от яда и пули в сердце, но, казалось, сатанинские силы в отместку оживили его, и проступило в нем что-то столь чудовищное, адское, что до сих пор без дрожи не могу о том вспомнить.

В тот миг я как будто еще лучше понял сущность Распутина. Сам сатана в мужицком облике вцепился в меня мертвой хваткой.

Нечеловеческим усилием я вырвался.

Он упал ничком, хрипя. Погон мой, сорванный во время борьбы, остался у него в руке. «Старец» замер на полу. Несколько мгновений – и он снова задергался. Я помчался наверх звать Пуришкевича, сидевшего в моем кабинете.

– Бежим! Скорей! Вниз! – крикнул я. – Он еще жив!

В подвале послышался шум. Я схватил резиновую гирю, «на всякий случай» подаренную мне Маклаковым, Пуришкевич – револьвер, и мы выскочили на лестницу.

Хрипя и рыча, как раненый зверь, Распутин проворно полз по ступенькам. У потайного выхода во двор он подобрался и навалился на дверку. Я знал, что она заперта, и остановился на верхней ступеньке, держа в руке гирю.

К изумлению моему, дверка раскрылась, и Распутин исчез во тьме! Пуришкевич кинулся вдогонку. Во дворе раздалось два выстрела. Только бы его не упустить! Я вихрем слетел с главной лестницы и понесся по набережной перехватить Распутина у ворот, если Пуришкевич промахнулся. Со двора имелось три выхода. Средние ворота не заперты. Сквозь ограду увидел я, что к ним-то и бежит Распутин.

Раздался третий выстрел, четвертый... Распутин качнулся и упал в снег.

Пуришкевич подбежал, постоял несколько мгновений у тела, убедился, что на этот раз всё кончено, и быстро пошел к дому.

Я окликнул его, но он не услышал.

На набережной и ближних улицах не было ни души. Выстрелов, вероятно, никто и не слышал. Успокоившись на сей счет, я вошел во двор и подошел к сугробу, за которым лежал Распутин. «Старец» более не подавал признаков жизни.

Тут из дома выскочили двое моих слуг, с набережной показался городовой. Все трое бежали на выстрелы.

Я поспешил навстречу городовому и позвал его, повернувшись так, чтобы сам он оказался спиной к сугробу.

– А, ваше сиятельство, – сказал он, узнав меня, – я выстрелы услыхал. Случилось что?

– Нет, нет, ничего не случилось, – заверил я. – Пустое баловство. У меня нынче вечером пирушка была. Один напился и ну палить из револьвера. Вон людей разбудил. Спросит кто, скажи, что ничего, мол, что всё, мол, в порядке.

Говоря, я довел его до ворот. Потом вернулся к трупу, у которого стояли оба лакея. Распутин лежал всё там же, скрючившись, однако, как-то иначе.

«Боже, – подумал я, – неужели всё еще жив?»

Жутко было представить, что он встанет на ноги. Я побежал к дому и позвал Пуришкевича. Но он исчез. Было мне плохо, ноги не слушались, в ушах звучал хриплый голос Распутина, твердивший мое имя. Шатаясь, добрел я до умывальной комнаты и выпил стакан воды. Тут вошел Пуришкевич.

– Ах, вот вы где! А я бегаю, ищу вас! – воскликнул он.

В глазах у меня двоилось. Я покачнулся. Пуришкевич поддержал меня и повел в кабинет. Только мы вошли, пришел камердинер сказать, что городовой, появлявшийся минутами ранее, явился снова. Выстрелы слышали в местной полицейской

части и послали к нему узнать, в чем дело. Полицейского пристава не удовлетворили объяснения. Он потребовал выяснить подробности.

Завидев городового, Пуришкевич сказал ему, чеканя слова:

– Слыхал о Распутине? О том, кто затеял погубить царя, и отечество, и братьев твоих солдат, кто продавал нас Германии? Слыхал, спрашиваю?

Квартальный, не разумея, что хотят от него, молчал и хлопал глазами.

– А знаешь ли ты, кто я? – продолжал Пуришкевич. – Я – Владимир Митрофанович Пуришкевич, депутат Государственной думы. Да, стреляли и убили Распутина. А ты, если любишь царя и отечество, будешь молчать.

Его слова ошеломили меня. Сказал он их столь быстро, что остановить его я не успел. В состоянии крайнего возбуждения он сам не помнил, что говорил.

– Вы правильно сделали, – сказал наконец городовой. – Я буду молчать, но, ежели присягу потребуют, скажу. Лгать – грех.

С этими словами, потрясенный, он вышел.

Пуришкевич побежал за ним.

В этот миг пришел камердинер сказать, что тело Распутина перенесли к лестнице. Мне по-прежнему было плохо. Голова кружилась, ноги дрожали. Я с трудом встал, машинально взял резиновую гирю и вышел из кабинета.

Сходя с лестницы, у нижней ступеньки увидел я тело Распутина. Оно походило на кровавую кашу. Сверху светила лампа, и обезображенное лицо видно было четко. Зрелище омерзительное.

Хотелось закрыть глаза, убежать, забыть кошмар, хоть на миг. Однако к мертвецу меня тянуло, точно магнитом. В голове всё спуталось. Я вдруг точно помешался. Подбежал и стал неистово бить его гирею. В тот миг не помнил я ни Божьего закона, ни человеческого.

Пуришкевич впоследствии говорил, что в жизни не видел он сцены ужаснее. Когда с помощью Ивана он оттащил меня от трупа, я потерял сознание.

Тем временем Дмитрий, Сухотин и Лазоверт в закрытом автомобиле заехали за трупом.

Когда Пуришкевич рассказал им о том, что случилось, они решили оставить меня в покое и ехать без меня. Завернули труп в холстину, погрузили в автомобиль и уехали к Петровскому мосту. С моста они скинули труп в реку.

Когда я очнулся, показалось, что я то ли после болезни встал,

то ли после грозы свежим воздухом дышу и не могу надышаться. Я словно воскрес.

Убрали мы с камердинером Иваном все улики и следы крови.

Приведя квартиру в порядок, я вышел на двор. Надо было подумать о другом: придумать объяснение выстрелам. Решил сказать, что подвыпивший гость прихоти ради убил сторожевую собаку.

Я позвал двух лакеев, выбегавших на выстрелы, и рассказал им всё, как есть. Они выслушали и обещали молчать.

В пять утра я уехал с Мойки во дворец великого князя Александра.

Мысль, что первый шаг ко спасению отечества сделан, наполняла меня отвагою и надеждой.

Войдя к себе, увидел я шурина своего Федора, не спавшего ночь и с тревогой ожидавшего моего возвращения.

– Наконец, слава Тебе, Господи, – сказал он. – Ну, что?

– Распутин убит, – ответил я, – но рассказывать сейчас не могу, валюсь с ног от усталости.

Предвидя, что завтра начнутся допросы и обыски, если не хуже, и что понадобятся мне силы, я лег и заснул мертвым сном.

Глава 24

1916–1917. Допросы – Во дворце у великого князя Дмитрия – Разочарования

Я проснулся в 10 утра.

Не успел я открыть глаза, доложили, что полицеймейстер Казанской части генерал Григорьев желает поговорить со мной об очень важном деле. Я поспешно оделся и перешел в соседнюю комнату, где генерал дожидался.

– Ваш визит, – сказал я ему, – вызван, вероятно, ночными выстрелами у нас в доме.

– Совершенно верно. Я пришел узнать подробности дела. Вчера вечером не было ль у вас Распутина в числе приглашенных?

– Распутин у меня никогда не бывает, – отвечал я.

– Видите ли, выстрелы прозвучали тогда именно, когда объявлено было об его исчезновении. Начальство приказало выяснить немедленно, что случилось у вас ночью.

Если выстрелы на Мойке свяжут с исчезновением Распутина, дело плохо. Я должен обдумать ответ и взвесить каждое слово.

– Да с чего вы взяли, что Распутин исчез?

Из рассказа генерала Григорьева выходило, что городовой, до смерти перепуганный, всё ж передал начальству неосторожные слова Пуришкевича.

Я, как мог, старался казаться равнодушным. Уговор у нас был молчать об убийстве в силу всех сложностей политических. Ведь же надеялись мы, что удастся скрыть концы в воду.

– Я очень рад, генерал, – ответил я, – что вы лично пришли узнать обо всем. Иначе рапорт бестолкового квартального стал бы причиной досаднейшего недоразумения.

И наплел я генералу с три короба про пьяного стрельца и убитую собаку. И прибавил, что, когда пришел на стрельбу городовой, Пуришкевич, последний из гостей, бросился к нему и понес что-то несусветное.

– Не знаю, об чем там они говорили, – продолжал я, – но, судя по вашим же словам, Пуришкевич был вдрызг пьян и, рассказывая о собаке, верно, сравнил ее с Распутиным и пожалел, что убили собаку, а не его. Квартальный, видимо, недопонял.

Генерал, казалось, удовлетворился моим объяснением, однако захотел знать, кто еще, кроме великого князя и Пуришкевича, был у меня на пирушке.

– Предпочитаю не отвечать, – заявил я. – Не желаю, чтобы по делу столь маловажному моих гостей замучивали допросами.

– Благодарю вас за объяснения, – сказал генерал. – Я так и передам все шефу.

Напоследок я сказал, что хотел бы лично увидеть господина директора департамента полиции, и просил назначить мне день.

Только он ушел, меня вызвали к телефону. Звонила м-ль Г.

– Что вы сделали с Григорьем Ефимычем?! – закричала она.

– С Григорьем Ефимычем? А в чем дело?

– Как в чем? Разве он не к вам вчера вечером поехал? – настаивала Г. Голос ее дрожал. – Да где ж тогда он? Бога ради, приходите скорей, я с ума схожу.

Говорить с ней мне вовсе не улыбалось. Деваться, однако ж, было некуда. Полчаса спустя я вошел к ней в гостиную. Она подлетела ко мне и проговорила, задыхаясь:

– Что вы с ним сделали? Говорят, его убили у вас! Говорят, вы-то его и убили!

Я попытался ее успокоить и рассказал ей свою байку про застреленную собаку.

– Ужасно! – воскликнула она. – Государыня с Анютой уверены, что ночью у себя дома вы его убили.

– Телефонируйте в Царское, – сказал я. – Попросите государыню принять меня. Звоните немедленно.

Г. послушно позвонила. Из Царского отвечали, что ее величество меня ожидает.

Я собрался уходить, но тут м-ль Г. остановила меня.

– Не ездите в Царское, – сказала она умоляющим голосом – с вами случится несчастье. Вашим оправданиям никто не поверит. Они все помешались. Разозлились на меня, говорят, я предала их. Господи, зачем я вас послушалась, не надо было звонить им! Нельзя вам туда!

Ее тревога меня тронула. По всему, тревожилась Г. не только за Распутина, но и за меня также.

– Да хранит вас Господь, – прошептала она. – Я буду за вас молиться.

Я был уж в дверях, когда зазвонил телефон. Звонила из Царского Вырубова. Императрица заболела, принять меня не может и просит изложить ей в письменном виде всё, что мне известно об исчезновении Распутина.

Я вышел, но не успел сделать и нескольких шагов, как встретил товарища по пажескому корпусу. Завидев меня, он в волнении кинулся навстречу.

– Феликс, слышал новость? Распутина убили!

– Быть не может! А кто?

– Пока неизвестно. А убили, говорят, у цыган.

– Слава Тебе, Господи! – сказал я. – Туда ему и дорога.

Когда я возвратился во дворец к великому князю Александру, передали мне, что директор департамента, генерал Балк, просил прийти к нему.

В департаменте полиции царила суматоха. Сам же генерал сидел за столом с озабоченным видом. Я объявил ему, что пришел разъяснить недоразумение, вызванное словами Пуришкевича. И еще добавил: хотелось бы уладить все по возможности поскорее, потому-де, что получил краткий отпуск и уезжаю нынче вечером в Крым к семье.

Генерал отвечал, что объяснения мои, данные утром генералу Григорьеву, удовлетворили их и причин задерживать меня у них нет. Однако ж предупредил, что государыня императрица распорядилась произвести обыск в нашем доме на Мойке. Ночные выстрелы, при том, что исчез Распутин, кажутся ей подозрительными.

– В доме на Мойке, – возразил я, – проживает моя супруга – родная племянница его величества. Жилище членов императорской фамилии неприкосновенно. Обыск невозможен без санкции самого императора.

Генерал вынужден был согласиться и ордер на обыск тотчас отозвал.

Камень упал с души моей! Я действительно боялся, что в спешной ночной уборке многое мы могли упустить. Пока не убедимся, что улик не осталось, полицию впускать нельзя.

Успокоенный на сей счет, я простился с генералом и вернулся на Мойку.

Дома я снова осмотрел место события и понял, что боялся не напрасно. При свете дня на лестнице ясно видны были засохшие пятна крови. С Ивановой помощью снова я вычистил всю квартиру. Покончив дело, я отправился обедать к Дмитрию. После обеда пришел Сухотин. Мы просили его съездить за Пуришкевичем, так как завтра мы разъезжались: великий князь – в Ставку, Пуришкевич – на позиции, я – к своим в Крым.

Следовало согласовать действия на случай нашего возможного задержания в Петербурге, допроса или ареста.

Собравшись все вместе, порешили мы, что будем, как бы там ни было, держаться всё той же басни, сказанной мною Григорьеву, барышне Г. и генералу Балку.

Итак, начало положено. Борьба с распутинщиной возможна, путь отныне свободен.

Мы же сделали свое дело и можем уйти.

Простившись с друзьями, я вернулся на Мойку. Дома я узнал, что все мои слуги были в течение дня допрошены. Результаты допроса неизвестны. Конечно, сам факт его был мне неприятен.

Однако, судя по рассказам слуг, прошло благополучно.

Я решил съездить к министру юстиции Макарову, разузнать, что и как.

В министерстве была та же суматоха, что и в полиции. Макарова увидал я впервые. Он мне сразу понравился. Был он немолод, сед, худ, с приятным лицом и мягким голосом.

Я объяснил ему цель визита и повторил по его просьбе байку свою, которую знал уже назубок.

Когда я заговорил о пьяном Пуришкевиче, министр перебил.

– Пуришкевича я прекрасно знаю. Он не пьет. Кажется, он даже член общества трезвенников.

– Так вот на сей раз он изменил своим трезвенникам. Да и как не изменить, когда я праздновал новоселье. А если он вообще, как вы говорите, не пьет, так ему и капли хватило, чтобы напиться.

Под конец я спросил у министра, будут ли еще допрашивать или иным образом терзать моих слуг. Они крайне встревожены, тем более что вечером я отбываю в Крым.

Министр успокоил меня: сказал, что допросов, по-видимому, достаточно. Заверил, что обыска не позволит и никаких сплетен слушать не станет.

Я спросил, могу ли уехать из Петербурга. Ответил он, что могу. И выразил сожаление по поводу причиненного беспокойства. Но всё ж осталось у меня впечатление, что ни он, ни Григорьев с Балком не очень-то поверили моим россказням.

От Макарова направился я к своему дяде Родзянко, председателю Государственной думы. Он и жена его знали о нашем плане и с нетерпением ожидали вестей. Когда я пришел, они были вне себя от волнения. Тетя со слезами поцеловала меня и благословила. Дядя громовым голосом одобрил всё. Их отеческое отношение успокоило и окрылило меня. Тогда, в трудный час, когда не было со мной близких, участие Родзянок, сердечное, искреннее, оказалось для меня великой поддержкой. Но долго сидеть у них я не мог. Поезд в девять, а вещи еще не сложены.

Перед тем как уйти, я вкратце рассказал им о случившемся.

– Отныне, – заключил я, – мы в стороне от политики. Теперь других черед. С Божьей помощью да послужат они на благо общему делу и да прозреет государь, пока не поздно. Благоприятней момента не будет.

– Настоящие русские, я уверен, поймут, что убийство Распутина – патриотический подвиг, – ответил Родзянко. – Поймут и объединятся, чтобы всем вместе спасти Россию.

Когда я вернулся во дворец великого князя Александра,

швейцар сообщил, что дама, которой я назначил прийти ко мне в семь, ожидает в малой гостиной. Никакой даме я свидания не назначал, потому визит этот показался мне подозрительным. Я попросил швейцара описать ее. Она была в черном, лицо скрыто вуалью. Описание ничего не разъяснило. Я прошел к себе в кабинет и приоткрыл смежную с гостиной дверь. В незнакомке узнал я одну из самых ярых распутинок. Я позвал швейцара и послал его сказать незваной гостье, что вернусь нынче очень поздно. После чего в спешке собрал чемодан.

Выйдя ужинать, на лестнице я столкнулся с приятелем, оксфордским своим однокашником, английским офицером Освальдом Райнером. Он был в курсе наших дел и пришел узнать новости. Я успокоил его.

В столовой уже сидели трое шурьев моих, женины братья, также ехавшие в Крым, их наставник-англичанин мистер Стюарт, фрейлина матери их, м-ль Евреинова и еще несколько человек.

Говорили о странном исчезновении Распутина. Одни в его смерть не верили, утверждали, что всё – досужие вымыслы. Другие спорили и клялись, что знают из первых рук, от самих даже очевидцев, что негодяя зарезали на оргии у цыган. Кое-кто объявил, что Распутин убит у нас на Мойке. Меня никто не подозревал, однако уверены были, что я знаю подробности. Посыпались вопросы. В лицо мое жадно вглядывались, надеясь что-то прочесть в нем.

Но я ничем не выдавал себя, а только радовался событию вместе со всеми.

Телефон меж тем звонил без умолку. Петербург упорно связывал мое имя с убийством «старца».

Директора заводов, представители самых разных предприятий звонили передать, что рабочие их постановили организовать для меня охрану в случае необходимости.

Я всем отвечал, что слухи на мой счет неосновательны и к делу я непричастен.

За полчаса до отбытия поезда я попрощался с гостями и домочадцами и сел в автомобиль вместе с шурьями, их гувернером Стюартом и товарищем своим, капитаном Райнером. Приехав на вокзал, обнаружили мы странное скопление жандармов.

«Неужели за мной?» – подумал я.

В миг, когда я проходил мимо жандармского полковника, тот приблизился ко мне и взволнованно что-то пробормотал.

– Пожалуйста, говорите громче, г-н полковник, я вас не слышу.

Он поборол волнение и сказал уже уверенней:

– Распоряжением ее императорского величества вам запрещено покидать Санкт-Петербург. Надлежит вам вернуться во дворец великого князя Александра Михайловича и ждать дальнейших распоряжений.

– Очень жаль, – ответил я. – Мне это крайне некстати.

Я повернулся к своим спутникам и сказал о полученном мной приказе.

Те обомлели.

– What's happened? What's happened? – повторял Стюарт, не понимая, о чем шла речь.

Андрей и Федор тотчас объявили, что остаются со мной. Решили, что в Крым поедет только младший Никита с гувернером.

Мы пошли проводить их до вагона. Жандармы шли по пятам, верно, в страхе, что я всё ж укачу.

Собралась толпа. Народ с любопытством смотрел на группку людей, шедших в окружении жандармов вдоль поезда.

Я поднялся в вагон попрощаться с Никитой. Жандармы всполошились. Я успокоил их, заверив, что не улизну ни в коем случае.

Когда поезд ушел, мы сели в автомобиль и уехали во дворец.

После всех переживаний дня сил во мне не осталось. Я пошел к себе в комнату и просил Федю и Райнера побыть со мной.

Несколько позже лакей сообщил нам, что приехал великий князь Николай Михайлович.

Поздний его приезд не сулил ничего хорошего. Видимо, великий князь хотел слышать от меня подробности. Я устал и не жаждал в энный раз повторять свою сказку.

Когда появился великий князь, Федя с Райнером вышли.

– Ну, – сказал мой гость, – говори, что натворил.

– Неужели ты тоже поверил этим сплетням? Всё это – одно недоразумение. Я тут ни при чем.

– Ври больше. Я всё знаю. Всё. Знаю даже, кто из баб там был.

Слова его показывали, что он не знает ничего, а только вызывает на откровенность.

Бог весть, поверил ли он сказке про собаку. Если и поверил, то виду не показал. Напротив, уходя, глядел подозрительно и обиженно. Не удалось-таки ничего выведать.

Как только ушел он, я позвал шурьев своих и Райнера и сказал, что завтра же переберусь к великому князю Дмитрию. Затем научил их, как отвечать, если пристанут с расспросами. Все трое обещали сказать всё в точности.

События последней ночи встали в глазах с ужасающей

яркостью... потом мысли спутались, голова отяжелела, и я уснул.

Рано утром я появился у Дмитрия. Он был удивлен, так как думал, что я уж уехал.

Я рассказал ему обо всем, что случилось вчера вечером, и просил приютить меня. В трудный момент лучше было держаться вместе.

Дмитрий в свой черед поведал, что накануне вечером поехал в Михайловский театр, но вынужден был уйти до конца спектакля, услыхав, что публика готовит ему овацию. Вернувшись домой, он узнал, что государыня считает его главным убийцей Распутина. Он тотчас телефонировал в Царское, прося аудиенции. Ему отказано было категорически.

Мы поговорили еще немного, затем я удалился в приготовленную мне комнату и раскрыл газеты. В них коротко сообщалось, что «старец» убит в ночь с 29 на 30 декабря.

Утро прошло спокойно. В час пополудни, во время обеда, адъютант его величества генерал Максимович вызвал великого князя к телефону.

Дмитрий вернулся взволнованный.

– Я арестован по приказу императрицы. У нее на то нет никакого права. Арестовать меня может только император.

Меж тем доложили о приходе генерала Максимовича.

Войдя, он сказал великому князю:

– Ее величество императрица просит ваше императорское высочество не покидать дворца.

– Что это значит? Что я арестован?

– Нет, не арестованы, но дворец покидать не должны. Ее величество на том настаивает.

Громким голосом Дмитрий ответил:

– Значит, всё-таки арестован. Передайте ее величеству, что я подчиняюсь ее воле.

Все бывшие в Петербурге члены царской семьи нанесли Дмитрию визит. Приходил и великий князь Николай Михайлович, вдобавок то и дело звонил по телефону, пересказывая разные толки и объясняясь недомолвками, какие понять можно было всяко. Уверял, что знает всё, – рассчитывал, видимо, что мы проговоримся.

В то же время он вовсю включился в поиски тела Распутина. Нам он поведал, что императрица, не сомневаясь, что убийцы «старца» – мы, требует расстрелять нас немедленно. Ей, однако ж, возражают все. Даже Протопопов, и тот советует подождать царя. Государю телеграфировали и со дня на день ждут его возвращения.

Позвонила меж тем м-ль Г. Рассказала, что человек двадцать

распутинцев-фанатиков собрались у ней дома и поклялись мстить. Она своими ушами все слышала. Потому умоляет нас быть осторожными. Возможно покушение.

Звонки и визиты держали нас в постоянном напряжении. Приходилось всё время быть начеку, отвечая на вопросы. Неосторожное слово, жест, взгляд – и нас заподозрят даже и те, кто желал нам добра. А таких было более всего. Конца дня, понятно, ожидали мы как манны небесной.

Слух нашей скорой казни вызвал необыкновенное волнение среди заводских рабочих. Объявили они, что в обиду нас не дадут.

Утром 1 января государь вернулся в Царское Село. Люди из свиты его говорили, что в ответ на весть об убийстве не сказал он ни слова, но стал на удивление весел. Подобной веселости не видели в нем с начала войны. Он, несомненно, почувствовал, что тяжкие цепи сняты. Сам снять эти цепи был он не в силах. Однако не успел вернуться в Царское, снова попал под влияние распутинцев и отношение к делу изменил.

Посещать нас позволено было только членам царской фамилии. Всё же тайком принимали мы и прочих. Несколько офицеров пришли сказать нам, что их полки готовы нас защитить. Даже предложили Дмитрию поддержать политическое выступление. Иные из великих князей считали, что спасение России – в перемене монарха. С помощью гвардейцев решили затеять ночью поход на Царское Село. Царя убедят отречься, царицу принять постриг, а царевича посадят на престол при регентстве великого князя Николая Николаевича. Дмитрий участвовал в убийстве Распутина, стало быть, пусть возглавит поход и продолжит дело спасения отечества. Лояльность Дмитрия заставила его отказаться от подобных предложений.

Вечером в день возвращения государя великий князь Николай Михайлович пришел сообщить нам, что тело Распутина обнаружили в Малой Невке в ледяной проруби под Петровским мостом. Позже стало известно, что перевезли его в Чесменскую богадельню в пяти верстах от Петербурга по Царскосельскому тракту. После вскрытия явилась сестра Акулина, молодая инокиня, из которой Распутин якобы изгнал бесов. Акулина предъявила бумагу от императрицы и, выслав всех, одна с помощником обмыла и убрала покойника. На грудь «старца» монахиня положила крест, а в руки императрицыно послание:

> Милый мученик, благослови меня, и да пребудет благословение твое со мною на стезе страданий в мире земном. Ты же поминай нас святыми молитвами в мире

небесном!

Александра.

Поздно вечером 1 января, несколько часов спустя после обнаружения трупа, генерал Максимович явился довести до сведения великого князя Дмитрия, что сей последний заключается под домашний арест у себя во дворце.

Ночь мы провели беспокойно. Около трех ночи доложили, что какие-то подозрительные субъекты проникли во дворец с черного хода, уверяя, что посланы нас охранять. Никаких бумаг в подтверждение они не предъявили и были изгнаны, а на охрану у дверей встали наши верные люди.

На другой день, как и накануне, члены царской семьи сидели у нас на Невском.

У всех только и разговору было, что великий князь Дмитрий арестован. Казалось, нет важней события, чем арест члена царской фамилии. Никому и в голову не приходило, что случились вещи поважней личных и что от скорого решения государя зависит будущее монархии и России, не говоря уж о войне, в которой не победить без единства царя с народом. Смерть Распутина дала политике новое направление. Теперь или никогда порвать сеть интриг, опутавших отечество!

3-го вечером пожаловал во дворец на Невском агент охранки. Заявил он, что имеет от Протопопова приказ защитить великого князя Дмитрия от возможных покушений. Дмитрий ответил, что в защите Протопопова не нуждается и полицию к себе не впустит. Агенты тем не менее остались сторожить близ дворца. Вскоре подоспели новые сторожа, на сей раз жандармы, посланные петербургским генерал-губернатором Хабаловым по настоянию председателя Совета министров Трепова, узнавшего, что распутинцы затеяли заговор против нас. Так что протопоповские «сторожа» сами оказались под стражей.

Во дворце на втором этаже размещен был британско-русский лазарет. Внутренней лестницей он сообщался с апартаментами великого князя в первом этаже. По этой лестнице попыталась вломиться к Дмитрию шайка распутинцев, проникших во дворец под предлогом посещения раненых. Их остановила охрана, поставленная на площадке старшею медицинской сестрой леди Сибилой Грей.

Словом, оказались мы в осаде. Новости узнавали только из газет и рассказов тех, кто приходил. Всяк, разумеется, высказывал свою точку зрения. Но у всех заметили мы боязнь действия и полное отсутствие каких-либо планов. Те, кто мог что-то сделать, благоразумно держались в сторонке, бросив Россию на произвол

судьбы. Сильнейшие были слабейшими, не в силах даже объединиться, дабы действовать сообща.

К концу своего царствования Николай II был совершенно раздавлен событиями и политическими неудачами. Как фаталист считал он, что против судьбы не пойдешь. И всё же государь, если б увидел, что члены его семьи и лучшие люди государства сплотились, спасая династию и Россию, очевидно, воспрял бы духом и нашел бы в себе силы исправить дело.

Куда ж подевались эти «лучшие люди»? Распутинский яд долгие годы отравлял высшие сферы государства и опустошил самые честные, самые горячие души. В итоге кто-то не хотел принимать решения, а кто-то считал, что их и принимать-то незачем.

Проводив посетителей, мы с Дмитрием обсуждали всё, что услышали за день, и видели, увы, что радоваться нечему. Рушились надежды, ради которых пережили мы ужасную ночь убийства. Поняли мы, как трудно изменить ход событий, во имя даже самых благородных идей и в полной готовности пожертвовать всем.

И всё ж надеяться мы еще не перестали. Россия была за нас. Россия жаждала обновления. Обе столицы поднялись в едином патриотическом порыве. Газеты печатали пламенные статьи о том, что раздавили гадину и наступает время перемен. И так думала вся страна. Свобода слова, правда, была недолгой. На третий день вышел указ, запрещающий всякое упоминание имени «старца» в печати. Но не в печати, так в народе без конца говорилось о нем. Не стало наконец в России злого духа! Петербургские улицы глядели празднично. Незнакомые люди обнимались, поздравляя друга друга. Перед дворцом Дмитрия и нашим домом на Мойке вставали на колени, молясь за нас. По церквям служили благодарственные молебны и ставили свечки в Казанском соборе. На театрах пели «Боже, царя храни». В офицерских собраниях пили наше здоровье. Заводские, фабричные кричали в нашу честь «ура». Со всей России потекли к нам письма с благодарностями и благословениями. Не забывали нас и распутинцы – проклинали и грозили кровавой расправой.

Сестра Дмитрия, великая княгиня Мария Павловна, приехала из Пскова, где размещался штаб Северного фронта. Она рассказывала, с каким неистовым восторгом встречена была войсками весть об убийстве. Никто не сомневался, что теперь-то государь найдет себе людей честных и преданных.

Спустя несколько дней меня вызвал председатель Совета министров Трепов. Встречи я ждал с нетерпением, но и тут был разочарован. Трепов призвал меня по приказу царя, желавшего

узнать, кто убийца.

Меня под охраной привезли в министерство внутренних дел. Министр принял меня запросто и просил говорить с ним дружески, а не казенно.

– Полагаю, – сказал я, – вы вызвали меня по приказу императора?

– Именно так.

– Стало быть, все слова мои будут переданы его величеству?

– Разумеется. Я ничто не скрою от своего государя.

– Тогда неужели я доверюсь вам? Даже если и убил я Распутина? Неужели назову имена товарищей? Соблаговолите передать его величеству, что убийцы Распутина преследовали одну цель: спасти царя и Россию. А теперь, ваше превосходительство, – продолжал я, – позвольте задать вопрос вам лично: так ли необходимо терять драгоценное время на розыски убийц, когда каждая минута дорога и надо Россию спасать, Россию! Посмотрите, как ликует народ, узнав о смерти Распутина, и как беснуются распутинцы. А что до государя, он, я уверен, втайне тоже рад и надеется теперь на вашу общую помощь, чтобы выйти из тупика. Так объединитесь и помогите, пока не поздно. Неужели никто не понимает, что мы накануне страшных потрясений и только коренные перемены во всем решительно, во внутренней политике, в монархии, и в самом монархе и семье его смогли бы спасти нас от чудовищной революционной волны, которая вот-вот на Россию нахлынет?..

Трепов слушал внимательно и удивленно.

– Князь, – сказал он, – откуда в вас подобные идеи и силы?

Я ничего не ответил, на том и кончилось.

Беседа с Треповым была последним нашим призывом к властям.

А участь великого князя Дмитрия и моя всё не могла решиться. В Царском совещались.

3 января тесть мой, великий князь Александр Михайлович, приехал из Киева, где находился он в качестве командующего военной авиацией. Узнав, что угрожает нам, он телефонировал в Царское Село императору и просил принять его. По дороге в Царское он заехал ненадолго к нам.

В результате хлопот великого князя генерал Максимович привез Дмитрию приказ немедленно оставить Петербург и ехать в Персию под начало генерала Баратова на турецкий фронт. Генерал Лейминг и адъютант его величества граф Кутайсов должны были сопровождать великого князя. Поезд отходил в два пополуночи.

Мне также предписывалось покинуть Петербург. Наше

имение Ракитное указано было мне как место постоянного пребывания. Ехать надлежало мне, как и Дмитрию, этой же ночью в сопровождении офицера-наставника пажеского корпуса капитана Зенчикова и агента охранки Игнатьева. Везти меня следовало изолированно, как арестанта.

Больно было нам с Дмитрием расставаться. Четыре дня вдвоем под арестом связали нас прочней долгих лет дружбы. Мечты погибли и надежды рухнули! Где и когда свидимся мы теперь? Будущее было темно. Мрачные предчувствия мучили нас.

Ночью в половине первого великий князь Александр Михайлович заехал за мной везти меня на вокзал.

Вход на перрон для публики был закрыт. На каждом углу жандармы.

С тяжелым сердцем сел я в вагон. Прозвенел звонок, локомотив пронзительно свистнул, перрон дрогнул, поплыл, исчез... А вскоре в зимней ночи исчез Петербург. Поезд устремился во мрак по пустым заснеженным равнинам.

И погрузился я в свои грустные мысли под монотонный перестук колес.

Глава 25

1917. Ссылка в Ракитном – Первый этап революции – Отречение Николая II – Его прощание с матерью – Возвращение в Петербург – Странное предложение

Путешествие было долгим и нудным, но на месте, к счастью, ожидали меня отец с матерью и Ирина. Предупрежденные великим князем Александром Михайловичем, они уехали из Крыма в Ракитное, оставив дочку нашу с няней в Ай-Тодоре.

Я знал, что письма мои досматриваются, и писал родным кратко, о пустяках. О важном они узнавали стороной, неполно и тем более беспокоились. Окончательно смутили и сбили с толку их две телеграммы. Одна из Москвы от великой княгини Елизаветы Федоровны, так звучавшая:

> «Молитвами и мыслями вами. Да благословит Господь вашего сына патриотический подвиг».

Другую прислал из Петербурга великий князь Николай Михайлович. Телеграмма такая:

> «Труп найден. Феликс покоен».

Мое участие в убийстве Распутина уже, стало быть, признанный факт.

Ирина рассказала, что в ночь на 30 декабря она проснулась, и было ей видение: Распутин по пояс, гигантского роста, в голубой рубашке с вышивкой. Миг – и призрак исчез.

Слух обо мне облетел всю округу, и повалили любопытные. Велено было, однако, никого не впускать.

Вскоре прибыл ко мне генеральный прокурор, ведший следствие. Свидание наше напоминало сцену из водевиля. Явится, думал я, важный чиновник, будет нападать на меня. А вбежал смущенный гость, разве что в объятия не кидался! За обедом он встал с бокалом шампанского в руке, сказал патриотическую речь и выпил за мое здоровье. Когда заговорили об охоте, отец спросил его, охотился ли он когда-нибудь. «Нет, – добросовестно отвечал чиновник, – никогда никого не убивал». И тут же, заметив свою бестактность, густо покраснел.

После обеда говорили мы наедине. Сперва он ходил вокруг да около, не зная, как приступить к делу. Я помог ему, объявив, что в Петербурге уже сказал, что имел, и более добавить мне нечего.

Он вздохнул с облегчением и за всё время нашей дальнейшей двухчасовой беседы о Распутине не упомянул ни разу.

Жизнь в Ракитном была однообразна. Главное развлечение – сани. Мороз и солнце, дни стояли чудесные; катались мы в открытых санях и на морозе тридцатиградусном не мерзли. По вечерам – чтение вслух.

А из Петербурга приходили вести одна другой тревожней. Мир сошел с ума и погибал на глазах.

12 марта грянула революция. В Петербурге стрельба и пожары. Почти вся армия и полиция перешли на сторону революции. То же и казаки конвоя – цвет лейб-гвардии.

После долгих обсуждений с советами рабочих и солдатских депутатов образовали Временное правительство с князем Львовым во главе. Социалисты выдвинули Керенского министром юстиции.

В тот же день император отрекся от престола. Не желая покидать больного сына, царь передал престол брату, великому князю Михаилу. Текст царского манифеста известен, однако ж не могу не напомнить благородные его слова:

> «Божиею милостию Мы, Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, и прочая, прочая, прочая. Объявляем всем верным Нашим подданным:
>
> В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.
>
> Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага.
>
> В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы.
>
> Поэтому, в согласии с Государственной Думой, признали мы за благо отречься от Престола Государства

Российского и сложить с себя верховную власть.

Не желая расстаться с любимом сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу.

Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет Господь Бог России!

Николай».

На другой день, 16 марта, великий князь Михаил отказался от восприятия верховной власти. Керенский принудил его подписать отказ и рассыпался в благодарностях.

Временное правительство милостиво «позволило» императору проститься с армией. Вдовствующая императрица в сопровождении тестя моего тотчас выехала из Киева в Могилев, где располагалась Ставка.

Николай II поднялся в вагон к матери и два часа оставался с ней один на один. О чем говорили они – неизвестно. Когда тесть мой, будучи позван, вошел, императрица рыдала без удержу. Император стоя курил.

Временное правительство подчинилось советам, требовавшим ареста монарха. Тогда же опубликован был пресловутый приказ №1, отменявший военную дисциплину, приветствия офицерам и т.д. Солдатам предлагалось организовывать советы и самим назначать угодных им командиров.

Это был конец русской армии. В иных частях уже убивали офицеров.

Три дня спустя императору позволили уехать в Царское к семье. Николай простился с матерью, как оказалось, навсегда. Зрелище было душераздирающе. В простой гимнастерке с Георгиевским крестом он поднялся к себе в вагон. Поезд его стоял напротив императрицыного. Императрица в слезах смотрела в окно вагона, крестя и благословляя сына. Из своего окна Николай махнул ей в последний раз, и поезд тронулся.

В Царском императора не встретил никто. Один князь В. Долгоруков проводил его до дворца.

В конце марта меня освободили, и мы вернулись в Петербург. Накануне отъезда отслужили в Ракитном молебен. В церковь стеклись крестьяне. Все плакали. «Как жить теперь будем? – твердили они. – Отняли у нас царя-батюшку!»

В Харькове мы сошли с поезда подкрепиться в привокзальном буфете. С трудом пробирались в сутолоке. Люди говорили друг другу «товарищ». Кто-то узнал меня, окликнул по имени. В толпе сделалось волнение. Нас окружили. Народ напирал со все сторон, стало нечем дышать. Нас приветствовали, хотя в любую минуту могли растерзать. Военные вызволили нас и довели до буфета. Толпа за нами. Пришлось закрыть двери столовой. От меня требовали речей. Я отказался, сказав, что не умею говорить на публике. Тут мы узнали, что прибыл поезд, в котором едет с Кавказа великий князь Николай Николаевич. Чтобы увидеть его, пришлось нам снова прорываться сквозь толпу, теперь уже приветствовавшую великого князя. Великий князь Николай расцеловал меня. «Наконец, – сказал он мне, – расправимся мы с врагами России!» Но поезд его отходил, и он попрощался. Вернувшись к себе в вагон, я встретил в коридоре певца Ольшевского. Объявил он, что едет из деревни, где лечил нервы. Вошел ко мне в купе, предложил спеть и запел. Вдруг остановился он, устремил на меня мутный взгляд. «Что смотрите так? – спросил он. – Петь не даете». Я, опешив, просил его продолжать, но петь он отказался, а понес вдруг околесину и даже перешел на крик. Прибежали соседи. Друг Ольшевского, ехавший вместе с ним, привел врача. Тот сделал ему успокаивающий укол. Всю ночь, однако, Ольшевский орал как резаный. Ко всему кошмару недоставало, разумеется, только умалишенного.

Петербург, как показалось нам, сильно переменился. На улицах разор. Люди все почти с красными кокардами. Даже шофер наш, поехав за нами на вокзал, из осторожности нацепил красный бант. «Сними эту мерзость!» – в сердцах сказала матушка.

Первое, что сделал я, – полетел в Москву и навестил великую княгиню Елизавету Федоровну, которую не видел вечность. Она обняла меня и благословила со слезами на глазах.

– Бедная Россия! – воскликнула она. – Какие тяжкие испытания ей предстоят! И бессильны мы все против воли Господней. Остается нам молиться и уповать на милосердие Его.

Рассказ о трагической ночи она выслушала очень

внимательно.

– Иначе ты и не мог поступить, – сказала она, когда я замолк. – Твой поступок – последняя попытка спасения родины и династии. И не твоя вина, что ожиданиям твоим не ответили. Вина – тех, кто свой собственный долг не понял. Убийство Распутина – не преступление. Ты убил дьявола. Но это и заслуга твоя: на твоем месте так должен был поступить всякий.

Потом великая княгиня Елизавета Федоровна поведала, что несколько дней спустя после смерти Распутина пришли к ней игумены монастырей рассказать о том, что случилось у них в ночь на 30-е. Священники во время всенощной охвачены были приступом безумия, богохульствовали и вопили не своим голосом. Инокини бегали по коридорам, голося, как кликуши, и задирали юбки с непристойными телодвижениями.

– Русский народ не в ответе за всё, что случится, – продолжала великая княгиня. – Бедный Ники, бедная Аликс! Какие муки им уготованы! Да свершится воля Господня. Святую Русь и Церковь православную никаким силам зла не одолеть. Добро непременно восторжествует. И те, кто сохранят в себе веру, увидят наконец свет. Господь карает и милует.

В Петербурге дом наш на Мойке был всегда полон народу. Бесконечные визиты утомляли. Одним из наших постоянных гостей стал председатель Думы Родзянко. Однажды матушка позвала меня к себе. Пришли мы с Ириной и застали у нее дядю Михаила. Завидев меня, Родзянко встал, подошел и спросил с ходу:

– Москва желает объявить тебя императором. Что скажешь?

Не впервые слышал я это. Два уже месяца находились мы в Петербурге, и самые разные люди – политики, офицеры, священники – говорили мне то же. Вскоре адмирал Колчак и великий князь Николай Михайлович пришли повторить:

– Русского престола добивались не наследованием или избранием. Его захватывали. Пользуйся случаем. Тебе все карты в руки. России нельзя без царя. Но к романовской династии доверие подорвано. Народ более не желает их.

А ведь предложение это взялось из убийства. И тому, кто, убивая Распутина, пытался спасти монарха, предлагают самому захватить престол!

Тем временем я крайне тревожился за Дмитрия, заболевшего в Тегеране и страдавшего вдали от дома.

Глава 26

1917 (Продолжение). Всеобщее бегство в Крым – Обыск в Ай-Тодоре – Встреча Ирины с Керенским – Революционные дни в Петербурге – Ссылка царской семьи в Сибирь – Последняя встреча с в.к. Елизаветой Федоровной – Таинственные ангелы-хранители – Революционные события в Крыму – Заключение тестя с тещей в Дюльвере – Задорожный – Освобождение пленников – Краткий период эйфории – Слухи об убийстве царской семьи – Предсказания ялтинской инокини

Жизнь в Петербурге становилась всё невыносимей. Революцией бредили все, даже люди обеспеченные, те даже, кто считали себя консерваторами. В очерке «Революция и интеллигенция» Розанов, не поддавшийся заразе, так описал их конфуз: «С удовольствием посидев на спектакле Революции, интеллигенция собралась было в гардероб за шубами да по домам, но шубы их раскрали, а дома сожгли».

Весной 1917-го многие петербуржцы бежали в свои поместья в Крым. Великая княгиня Ксения с тремя старшими сыновьями, мои отец с матерью и мы с Ириной тоже стали беглецами. В ту пору революция еще не докатилась до юга России, и в Крыму было относительно безопасно.

Младшие Иринины братья, жившие в Ай-Тодоре, рассказывали, что, узнав о революции, жители соседних деревень пришли к ним с красными флагами, «Марсельезой» и ... поздравлениями. Гувернер братьев, швейцарец мсье Никиль, вывел детей с боннами на балкон и с балкона поздравил толпу ответно. Моя Швейцария, – сказал он, – триста лет уже республика, ее граждане счастливы, и такого ж счастья, мол, желаю и русским. Толпа радостно взвыла. Бедные дети были ни живы ни мертвы. Слава Богу, всё обошлось. Шествие как пришло, так и ушло с пением «Марсельезы».

В Ай-Тодор приехала и вдовствующая императрица в сопровождении тестя моего и своей старшей дочери Ольги Александровны с мужем ее, полковником Куликовским.

После ареста императора Мария Федоровна не желала отдаляться от сына и отказывалась уехать из Киева. К счастью, Временное правительство предписало членам царской семьи Киев покинуть. Местный совет согласился с предписанием. Насилу уговорили императрицу.

До мая в Крыму жили благополучно. Крымская жизнь, однако, грозила затянуться. Я решил съездить проведать дом на

Мойке и лазарет у себя на Литейной. Шурин Федор напросился в провожатые, и мы уехали. Из Петербурга удалось мне вывести двух Рембрандтов из шедевров нашей коллекции: «Мужчина в широкополой шляпе» и «Женщина с веером». Довез я их легко, сняв рамы и скатав в рулоны.

Обратно в Крым добирались мы с мучениями. Толпа солдат-дезертиров осадила поезд. Заполонили коридоры, залезли на крыши. Вагон 3-го класса от тяжести рухнул. Все были пьяны, многие свалились с поезда по дороге. Чем дальше на юг, в Крым, тем больше набивалось по вагонам беженцев. Мы с Федором ехали в разрушенном спальном вагоне, в купе ввосьмером, в том числе старуха и двое детей. Были как сельди в бочке.

Ехал с нами пятнадцатилетний мальчик, явившийся на Мойку перед нашим выездом на вокзал. Не помню уж, а может, и вообще не знал, как он попал ко мне. Искал он, чем жить. Пришел он в армейском мундире и с револьвером. Мальчик мальчиком, а видно было, боевое крещение получил. Даже и смельчак, судя по Георгиевскому кресту на рваной гимнастерке. Я заинтересовался. Заняться героем в тот миг было некогда, и я позвал его с нами в Крым, обещав работу. Черт бы меня побрал! Мал, тощ, он не много занял места, но спокойно ему не сиделось. Он то вскакивал на полку, как обезьяна, то лез на крышу в окно и оттуда принимался палить из револьвера. Потом тем же путем обратно, и опять скачки и прыжки. Когда он улегся и заснул, мы смогли отдохнуть немного. Мы и сами задремали, но тут на нас сверху пролилось. Наглец был парень наш.

Наконец, прибыли в Симферополь. Мальчишка нырнул в толпу, и более мы его не видели.

В одно время с нами в Крым приехала знаменитая «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская. Прикатила на поправку после сибирского отдыха. Керенский предоставил ей императорский поезд и дворец в Ливадии. Ялта, увешанная красными тряпками, встретила старую грымзу с ликованием. О старухе ходило множество небылиц. В народе говорили, что она родная дочь Наполеона и московской купчихи... На вокзале толпа, машучи ей, кричала: «Да здравствует Наполеон!»

Пока были мы с Федором в Петербурге, первая ласточка беды прилетела в Ай-Тодор.

Утром ни свет ни заря тесть мой проснулся, ощутив револьверное дуло у себя на виске. В дом нагрянули с обыском матросы, посланные севастопольским Советом. У великого князя отобрали ключи от письменного стола и оружие. Вдовствующую императрицу подняли с постели и переворошили простыни. Она

стояла за ширмой и не смела слова сказать. Главарь забрал ее письма, бумаги моего тестя. Взял даже государынину Библию, с которой не расставалась она с тех пор, как покинула Данию и вышла за Александра. Обыскивали всё утро. Всего оружия нашли дюжину старых винчестеров, хранившихся прежде на яхте, о которых тесть мой и думать забыл. В полдень главный их, офицер, явился объявить великому князю, что арестует Марию Федоровну: дескать, оскорбила Временное правительство. Еле угомонил его тесть, объяснив, что, если матросы ломятся к пожилой даме в пять утра, она, понятное дело, недовольна.

Сей милый моряк при большевиках возвысился и в конце концов ими же был расстрелян.

Обыск в Ай-Тодоре лишний раз показал, как слабо Временное правительство. Обыскивать приказал Петросовет: этим начальникам взбрело на ум, что Иринины родители – контрреволюционеры.

Узнав, что случилось, к родителям примчалась Ирина, но в имение войти не смогла. Все ходы и выходы, до последней лазейки, охранялись. Только с уходом банды она попала к своим.

С этого дня обитатели Ай-Тодора постоянно подвергались оскорблениям. Двадцать пять солдат и матросов, скоты и хамы, расположились в усадьбе. Их комиссар объявил тестю с тещей, что они под арестом. Видеть им дозволялось только Ирину, меня, детских гувернеров, врача и поставщиков. А иной раз и вовсе никого, даже Ирину. Потом вдруг снова – пожалуйста.

Когда Ирина рассказала мне обо всем, сообща мы решили, что ей следует пойти к Керенскому. Мы поехали в Петербург. Целый месяц ожидала Ирина встречи с главой Временного правительства.

Войдя в Зимний, увидела она старых служителей, трогательно выразивших ей свою радость. Ее провели в бывший рабочий кабинет императора Александра II. Вскоре вошел Керенский – сама любезность, смущение даже. Он пригласил ее сесть, и она села, по-хозяйски устроившись в прадедовском кресле, так что пришлось ему сесть, как гостю, на гостевой стул. Услыхав, о чем речь, Керенский хотел было в кусты, но Ирина не отступала. В конце концов он обещал сделать что может. И она ушла, навсегда покинула дворец своих предков, и последний раз почтительно поклонились ей старики служители.

Вопреки событиям и общим тревогам гостей принимали мы по-прежнему часто. Жизнь берет свое, тем более в юности. Собирались мы с друзьями чуть не каждый день то у нас на Мойке, то еще у кого-то. Однажды ездили даже в Царское к великому князю Павлу Александровичу. После ужина дочери его,

Ирина и Наталья, блистательно спели французскую пиесу, сочиненную для них братом Владимиром. Часами сиживал у нас на Мойке великий князь Николай Михайлович, ругая всех и вся на чем свет стоит.

К концу нашего пребывания в Петербурге большевики впервые попытались силой завладеть властью. Грузовики с вооруженными людьми колесили по городу. С грузовиков веером разлетались пулеметные очереди. Солдаты, лежа на тротуаре, нацеливали винтовки на прохожих. Трупы и раненые на каждом шагу. На сей раз, правда, переворот не удался. На время всё снова утихло.

Вскоре мы вернулись в Крым. Пока не было нас, приезжала следственная комиссия по жалобе Ирининой семьи: тесть с тещей написали о кражах во время майского обыска. Всех обитателей дома допросили поодиночке. Настал черед императрицы. Под конец допроса ей предложили поставить подпись: «бывшая императрица». Она подписалась: «вдова императора Александра III».

Через месяц приехал человек от Керенского. Он всего боялся и ничего не мог. Лучше при нем не стало.

В августе мы узнали, что царя отправили в Тобольск. По указке большевиков отправили или, как божился Керенский, в пику им, ибо собирались их прижать. В любом случае за судьбу пленных царя и семейства мы страшно тревожились. Король Георг V предложил принять их, но Ллойд Джордж от лица английского правительства воспротивился. Король Испании предложил то же, но царская семья отвечала: что бы ни случилось, России они не покинут.

Осенью я решил съездить в Петербург – припрятать драгоценности и самые ценные предметы коллекции. Как приехал, тотчас взялся за дело. Слуги, из самых преданных, помогали. В Аничков дворец я отправился забрать большой портрет Александра III. Императрица Мария Федоровна дорожила им и просила меня привезти его. Я вынул его из рамы и скатал, как весной своих Рембрандтов. А вот драгоценности проворонил. Их увезли в Москву по распоряжению Временного правительства. Покончив дела в Петербурге, я собрал все фамильные брильянты и с верным слугой Григорием поехали мы в Москву спрятать их. Схоронили под лестницей. Я говорил уже, что Григорий был замучен пытками, но тайны большевикам не выдал. Узналось всё восемь лет спустя. Рабочие чинили ступеньки и нашли тайник.

Накануне отъезда из Москвы состоялся у меня долгий разговор с великой княгиней Елизаветой. Она была бодра, хотя

насчет будущего иллюзий не питала и также беспокоилась за судьбу императора и близких его. Мы помолились вместе в часовне при обители и простились. С тоской я предчувствовал, что более ее никогда не увижу.

В тот же вечер я уехал в Петербург. На другой день Временное правительство пало. Большевики с Лениным и Троцким взяли власть. Комиссары-евреи с русскими псевдонимами заняли ключевые правительственные посты. В столице был хаос неописуемый. Банды солдат и матросов ломились в дома, грабили квартиры, сплошь и рядом убивали жильцов. Город отдан был на потребу разбушевавшейся кровожадной черни.

Ночью становилось еще страшней. У себя под окнами я видел жуткую сцену: матросы вели старого генерала, подгоняя его пинками и ударами приклада по голове. Старик стонал и еле волочил ноги. На залитом кровью лице зияли две дыры вместо глаз.

На Мойку приходили просить приюта знакомые и незнакомые. Думали, тут надежней. Нелегко было устроить и накормить всех. Однажды явились солдаты. Я провел их по дому, убеждая, что музей – не лучшая казарма. Они не спорили, но ушли неохотно.

Вскоре, выйдя из комнаты, я чуть было не споткнулся о тело: в прихожей на мраморной ступеньке почивал вооруженный солдат. Ко мне подошел офицер и сообщил, что имеет приказ беречь и охранять дом. Не слишком мне это понравилось. Можно подумать, я большевикам верный друг! Не желая иметь с ними дела, я решил, что уеду в Крым. Вечером, однако, пожаловали ко мне комендант квартала, комиссар, молодой парень, и человек в штатском. Коменданта я знал, в штатском – нет. Они объявили, что должен я немедленно ехать с ними в Киев. Вручили мне уже готовые фальшивые документы.

Это звучало как приказ. Приходилось подчиниться. Да и дело меня заинтриговало. Что хотели они? Я терялся в догадках. Садясь с ними в мотор, я заметил, что на фасаде нашего дома красной краской намалеван крест.

В поезде было битком. Стекла в окнах выбиты, шторки сорваны. На крышах вагонов – люди. К удивлению моему, мои спутники подвели меня к купе, закрытому на ключ. Ночью нас никто не беспокоил.

В Киеве в гостиницах тоже битком. Идти на постой к комиссару не хотелось, однако всё ж лучше, чем ночевать на улице. К счастью, по дороге из пролетки увидал я на улице добрую знакомую свою, княгиню Гагарину. Она узнала меня и

остановилась, опешив. Я крикнул извозчику остановиться, попросил комиссара подождать и бросился к ней.

– Что вы здесь делаете? – спросила княгиня. – И как же вы устроились с жильем?

– Что делаю, и сам хотел бы узнать, – ответил я. – А с жильем устроился скверно.

Княгиня предложила мне поселиться у нее, и согласился я с радостью.

На другой день, узнав, что телеграф еще действует, я пошел телеграфировать своим в Крым, чтобы подать о себе весть и успокоить их. Дело оказалось не из легких. В Киеве царила такая же неразбериха, как и в столице. Ружейная пальба отовсюду, того и гляди убьет шальной пулей. По временам жарил пулемет. До телеграфа и обратно я, в общем, полз. Хозяйка моя пришла в ужас, увидав меня в порванном платье и в грязи с головы до пят.

Командир мой явился ко мне и сообщил, что в дом, где устроился он и куда звал и меня, попала бомба. Дома более нет. Ночевал он в другом месте и потому спасся.

Раскрыв случайно газету, я так и подскочил: разыскивался преступник с именем, какое стояло в моем липовом документе. Я к командиру. Он забрал документ и с легкостью выдал мне новый, также липовый.

Через неделю я заявил ему, что не желаю до бесконечности торчать в Киеве и бить баклуши, а намерен вернуться к семье в Крым. Кроме того, сказал я, мне нужно заехать в Петербург за вещами, которые не успел собрать, уезжая впопыхах. Командиру мое заявление пришлось не по вкусу. Всё ж обещал он устроить отъезд, как только «обстоятельства позволят». По всему, расстаться со мной и не думал. Два дня спустя он пришел снова. «Собирайтесь, – сказал он. – Едем завтра». На другой день он заехал за мной со своим таинственным штатским.

На вокзале в Петербурге я купил газету и прочел:

«Князь Юсупов схвачен и посажен в Петропавловскую крепость».

Я показал газету своим спутникам.

– Вы уверены в своих слугах? – спросил командир.

– Уверен совершенно.

– Тогда поезжайте к себе и ни шагу из дома, пока я не объявлюсь. Никого не впускайте, по телефону не отвечайте. В Крым, надеюсь, вы скоро уедете.

Я поднял воротник и поехал на Мойку. Слуги, прочитавшие в газетах о моем аресте, были в слезах. Увидев меня, они разинули рты и заплакали уже от радости. Несмотря на командирский запрет, встретился я кое с кем из друзей. Наконец, несколько

дней спустя я всё с теми ж своими ангелами-хранителями, военным и штатским, выехал в Крым. И опять ехали мы с шиком в собственном купе. Тишь и благодать. Только даром я выводил на чистую воду своих скрытных попутчиков. На все мои вопросы – ни гу-гу. Но, спасибо им, в Бахчисарае наконец они вышли. Позже выяснилось, что были они масонами.

Родители приехали за мной в большом «делонебельвиле». На капоте развевался флажок с родовым гербом Юсуповых и короной. Из чего понял я, что в Крыму всё еще тихо. Не успел я, однако, приехать, начались бои. Черноморский флот перешел на сторону большевиков. За несколько месяцев перед тем адмирал Колчак, командующий флотом, не в силах более, как ни старался, поддерживать дисциплину, сломал свою золотую саблю – награду за легендарное мужество, бросил обломки за борт и покинул флот. В Севастополе перебили моряков-офицеров. Бойня пошла по всему Крыму. Матросы врывались в дома, насилуя женщин и детей на глазах у семьи. Мужчин замучивали до смерти. Мне пришлось видеть их: на волосатой груди ожерелья жемчужные и брильянтовые, руки в браслетах и кольцах. Были средь них и пятнадцатилетние подростки. Многие грубо напудрены и нарумянены. Точно маскарад в аду. В Ялте мятежные матросы привязывали камни к ногам своих жертв и бросали их во море. Впоследствии водолаз, спустившись на дно, сошел с ума, когда увидел, как мертвецы стоймя колышутся, точно морские водоросли. Всякий раз, ложась спать, мы не знали, проснемся ли завтра. Однажды днем банда ялтинских матросов с вожаком-жидом явилась арестовать моего отца. Я сказал им, что он болен, и потребовал предъявить ордер на арест. Разумеется, его у них не было. Я решил потянуть время и просил принести его. Долго пререкались мы, наконец двое пошли за бумагой, остальные остались ждать. Прошло несколько часов. Посланные не вернулись. Бандитам надоело дожидаться, они тоже ушли.

Несколько дней спустя с гор заявилась новая банда – морская кавалерия, головорезы, которых боялись даже большевики. Бандиты, вооруженные до зубов, верхом на краденых лошадях влетели к нам на двор с красными флагами. На флагах многообещающее: «Смерть буржуазии!», «Смерть контрреволюционерам!», «Смерть собственникам!». Кто-то из слуг прибежал ко мне в панике и сообщил, что бандиты требуют есть и пить. Я вышел. Двое матросов спешились и подскочили ко мне. Лица скотские. На одном – брильянтовый браслет, на другом – брошь, гимнастерки в крови. Они пожелали говорить со мной. Я послал всю шайку на кухню, а этих провел к себе. Ирина посмотрела на гостей с недоумением. Я велел принести вина.

Уселись мы вчетвером, словно поболтать дружески. Бандиты не смущались, во все глаза разглядывали нас. Внезапно один спросил, правда ли, что я убил Распутина. Когда я сказал, что правда, они выпили за мое здоровье и заявили, что, коли так, бояться ни мне, ни семье моей нечего. И принялись похваляться подвигами против «беляков». Заметив гитару, попросили, чтоб я им спел. Пришлось петь. К счастью, прекратилась похвальба. Я пел, они подпевали припев. Бутылки быстро пустели. Гости становились всё веселей. Мои родители, помещаясь в комнатах прямо над нами, верно, удивлялись, откуда такое веселье. Кончилось всё хорошо. На прощание они долго жали нам руки и рассыпались в благодарностях. Потом вся шайка вскочила на лошадей, приятельски помахала и унеслась со знаменами, надписи на которых сулили нам смерть.

В Ай-Тодоре комиссара-керенца сменил большевик.

«Докатилась до нас новая революция, – писал в „Воспоминаниях“ мой тесть. – Джорджулиани, стража нашего, отозвали, на его место севастопольский Совет прислал матроса Задорожного. В день его приезда я познакомился с ним в караульной. Здоровенный детина с грубым, но в общем не злым лицом. Слава Богу, беседовали мы с глазу на глаз. Он был вежлив. Сели, заговорили. Я спросил, где служил он. Отвечал – при аэропланах. Сказал, что видел меня несколько раз в Севастополе. Обсудили с ним общую ситуацию. Понял я, что он нам сочувствует, хоть поначалу, по его словам, увлекся революцией... Расстались мы друзьями. Великим благом было для нас очутиться под такой стражей. При товарищах своих он обращался с нами жестко, не выдавая истинных чувств своих...»

Меж тем в Ай-Тодор явился еврей Спиро и созвал всех нас, желая устроить нам перекличку. Императрица Мария Федоровна не спустилась – только показалась на миг на верхней ступеньке.

Задорожный приехал в декабре. В феврале он объявил тестю, что все Романовы, проживающие в Крыму, а также семьи и свита их должны быть перевезены в Дюльвер, в имение великого князя Петра Николаевича. Как объяснил Задорожный, для их же безопасности. Потому что ялтинские большевики требуют их немедленной казни, а севастопольский Совет, в котором состоит он, Задорожный, хочет дождаться распоряжений товарища Ленина. Но ялтинцы того и гляди вломятся и устроят расправу. А Дюльвер с толстыми высокими стенами – как крепость, отсидеться возможно. Не то что Ай-Тодор, куда войдет всяк, кому не лень... Таким образом, Дюльвер назначен был местом пребывания всем Романовым, находившимся в Крыму. В Крыму же находились: вдовствующая императрица и мои тесть и теща с

шестью сыновьями; великие князь и княгиня Петр и Милица с детьми; княгиня Марина и князь Роман. Однако ж младшую дочь их, княжну Надежду, в замужестве княгиню Орлову, великую княгиню Ольгу Александровну и мою жену отпустили.

В Дюльвере к пленникам никого не впускали. Навещать их позволили только двухлетней дочери нашей. Дочка стала нашим почтальоном. Няня подводила ее к воротам имения. Малышка входила, пронося с собой письма, подколотые булавкой к ее пальтецу. Тем же путем посылался ответ. Даром что мала, письмоноша наша ни разу не сдрейфила. Таким образом знали мы, как живут пленники. Кормили их скверно и скудно. Повар Корнилов, впоследствии хозяин известного парижского ресторана, старался, как мог, варил щи из топора. Чаще всего были суп гороховый да черная каша. Неделю питались ослятиной. Еще одну – козлятиной.

Зная, что по временам они гуляют в парке, жена придумала способ поговорить с братьями. Мы шли выгуливать собак у стен имения. Ирина что-нибудь кричала собакам, и мальчики тотчас взлезали на стену. Завидев поблизости охранника, они спрыгивали обратно, а мы преспокойно шли дальше. Увы, скоро нас раскусили и свидания у стен пресекли.

Однажды я встретил Задорожного. Мы немного прошлись вместе. Поспрошав о пленниках, я сказал, что хочу поговорить с ним. Он удивился и смутился. По всему, боялся, что его увидят вместе со мной. Я предложил ему прийти ко мне поздно вечером, в темноте. Войти незаметно можно через балкон моей комнаты на первом этаже. Он пришел в тот же вечер и приходил еще после. Жена часто сидела с нами. Часами мы придумывали, как спасти императрицу Марию Федоровну и близких ее.

Становилось всё очевидней: цербер наш Задорожный предан нам душой и телом. Объяснил он, что хочет выиграть время, пока препираются о судьбе пленников кровожадные ялтинцы с умеренными севастопольцами, желавшими, в согласии с Москвой, суда. Я посоветовал ему сказать в Ялте, что Романовых надо везти на суд в Москву, а убить их – они и унесут все государственные тайны с собой в могилу. Задорожный так и сделал. Однако всё трудней становилось ему оберегать пленников. Ялтинцы заподозрили неладное, уж и его самого положение висело на волоске. Однажды ночью он разбудил меня: от верных людей узнал он, что утром за пленниками явится отряд матросов, доставит их в Ялту и расстреляет. Задорожный решил на время исчезнуть, так как люди у него в Дюльвере надежные и без него никого не впустят. К тому ж, добавил он, и ребята-пленники начеку. Случись что, винтовки им дадут. Под конец он сообщил,

что готовится поголовная резня. Не пощадят никого… Новость неприятная, тем более что всё оружие у нас отняли, защититься нечем.

В самом деле, на другой день в Дюльвер явилась банда и потребовала открыть ворота. Задорожный рассчитал верно. Охрана ответила, что комиссара нет, а без приказа они не впустят. Пулеметы охранников были наготове. Матросы отступили, матерясь и обещая расправиться с Задорожным.

Мы понимали, что Ялта отмстит. Предвидя атаку, Задорожный поехал в Севастополь за подкреплением. Сказал, что вернется с отрядом вечером. Ялта, однако, была ближе Севастополя…

Всю ночь мы сидели на крыше дома. Смотрели на башни Дюльвера и стерегли дорогу: с одной стороны ждали подкрепления, с другой – бандитов. Только под утро показались севастопольские грузовики. Со стороны Ялты не показался никто, и мы отправились спать.

Не успели проснуться – новая весть: пришли немцы. Вот уж никак не ждали. Но в них-то и оказалось наше спасение.

Был тогда апрель, накануне Пасхи. 8 марта советское правительство подписало Брест-Литовский мир. Немцы уже входили в Россию. Входили освободителями. Немудрено: простодушное население, устав голодать и умирать, встречало их с восторгом. Впрочем, они же спасли и дюльверских пленников. Радости дюльверцев, не чаявших выжить, не было предела. Немецкий офицер приказал повесить Задорожного и охрану. И ушам своим не поверил, когда великие князья заступились за них и даже просили оставить матросов у них в Дюльвере и Ай-Тодоре еще на время. Немец офицер согласился, но сказал, что в таком случае умывает руки. По всему, он решил, что от долгого плена их императорские высочества повредились в уме.

Несколько дней спустя узники и тюремщики распрощались. Расставались трогательно. Самые молодые плакали и целовали бывшим пленникам руки.

В мае в Ялту прибыл адъютант императора Вильгельма. Привез от кайзера предложение: русский престол любому Романову в обмен на подпись его на брест-литовском договоре. Вся императорская семья отвергла сделку с негодованием. Кайзеров посланник просил у тестя моего переговорить со мной. Великий князь отказал, сказав, что в семье его не было, нет и не будет предателей.

После освобождения императорское семейство оставалось некоторое время в Дюльвере, потом перебралось в Аракс, в имение брата моего тестя, великого князя Георгия, остальные

вернулись восвояси.

Жизнь мало-помалу наладилась. Старики вздыхали с облегчением, но всё ж и с опаской, а молодежь просто радовалась жизни. Радость хотелось выплеснуть. Что ни день, то теннис, экскурсии, пикники.

Мы нашли еще одно развлечение, затеяв газету. Подруга наша, Оля Васильева, очень милая, умная и красивая барышня, стала редактором. По воскресеньям команда наша собиралась в Кореизе. Сперва составлялись «новости», потом Оля читала вслух статьи всех шестнадцати «сотрудников»: каждый на неделе должен был написать одну, тема – по желанию. Мы, молодые люди с неопределенным будущим, описывали воображаемые путешествия и невероятные приключения в дальних странах. Начинались и кончались наши собрания пением газетного гимна. В полночь электричество отключалось, досиживали мы при свечах.

Родные наши тоже интересовались и даже увлекались газетой, но и побаивались. Говорили они, что и невинные забавы могут плохо кончиться. Впрочем, их послушать было, так всё вообще плохо кончится.

Еженедельник просуществовал недолго. Вышло тринадцать номеров. На роковой цифре «журналисты» заболели испанкой и поочередно переболели все. Но, однако ж, когда настал час отъезда и вещей разрешалось взять самую необходимую малость, газету нашу моя жена положила в чемодан первым делом.

Великий князь Александр Михайлович подарил дочери сосновый лесок на скале над морем. Место красивейшее. В 1915 году мы построили в соснах домик, беленный известью, с черепичной внутри и снаружи зеленой крышею. Домик стоял на склоне, так что был кособок и асимметричен. У входа – цветочный газон. В дверях несколько ступенек вниз – и вы на галерее. С галереи еще вниз – холл-прихожая. Холл выходил на террасу с уступами, с бассейном посреди. Вкруг бассейна – колоннада, вся, как и сам коттедж, в розах и глициниях. На той стороне – лесенка в воду. В доме неровность уровня мы обыграли причудливыми лесенками, площадками, балкончиками и т.д. Мебель – дубовая, напоминает английский деревенский дом. На креслах и стульях – кретоновые подушки, на полу циновки вместо ковров. Построить дом построили, а жить не жили: помешали известные бурные события. И только в начале лета 1918 года, в краткий миг всеобщей эйфории, мы устраивали здесь пикники. С продовольствием было туго, съестное приносил каждый с собой. Зато вино лилось рекой: виноградники в Крыму были у всех. И веселились напропалую. Были молоды и жаждали жить вопреки

испытаниям прошлым и будущим.

Накануне одной из таких вот увеселительных прогулок разнесся слух, что царь и семья его убиты. Но столько тогда рассказывалось всяких небылиц, что мы перестали им верить. Не поверили и этому, и веселье наше не отменили. Несколько дней спустя слух и в самом деле опровергли. Напечатали даже письмо офицера, якобы спасшего государево семейство. Увы! Вскоре стала известна правда. Но и тут императрица Мария Федоровна верить отказывалась. До последних своих дней она надеялась увидеть сына.

События следовали одно трагичней другого, и я стал спрашивать себя, уж не убийство ль Распутина вызвало их. Так, во всяком случае, думали многие. И сам не понимал, да и теперь не понимаю, как мог я замыслить и совершить поступок нимало не в духе натуры моей и принципов. Действовал я как во сне. Недаром после ночи кошмаров, вернувшись домой, я заснул, как дитя, безмятежно. Совесть не мучила меня, мысль о Распутине спать не мешала. Когда просили меня рассказать об убийстве, я говорил как очевидец, и только.

«Каждый поступил бы так», – сказала великая княгиня Елизавета Федоровна. Да, но «так» – это хорошо или плохо?

В Ялте в ту пору жила старуха инокиня. Почитали ее святой и пророчицею. Непонятная болезнь случилась у нее, доктора помочь не могли. Она стала наполовину парализована и девять лет лежала в келье, закрытой наглухо, ибо ни малейшего сквозняка не переносила. Келья не проветривалась вообще, но всякий, кто входил, говорил, что дивно пахнет цветами.

Отзывались о прорицательнице с таким благоговением, что захотелось сходить поговорить с ней инкогнито. Но, когда я вошел к ней, она протянула ко мне дрожащие руки. «А вот и ты! – сказала она. – Я ждала тебя. Мне приснилось, что ты – спаситель отечества». Я подошел под благословение, но она схватила мою руку и поцеловала. Я был смущен и взволнован. Она смотрела на меня сияющим взглядом. Проговорили мы долго. Я признался ей, что мучаюсь, не убийство ль Распутина причиной всем нынешним трагедиям.

«Не мучься, – сказала она. – Господь хранит тебя. Распутин – орудие дьявола, ты убил его, как святой Георгий дракона. Да и „старец“ отныне хранитель твой. Убив его, ты уберег его самого от будущих его страшнейших грехов.

А Россия должна искупить вину испытаниями. Много времени пройдет, пока будет прощена. Романовы немногие уцелеют. А ты переживешь их и обновлению России поможешь.

Ты начал, тебе и закончить».

Ушел я от старицы в смятении. Немыслимым казалось, что и Бог, и Распутин – соохранители мои!.. И всё ж, признаюсь, в течение всей жизни моей имя Распутина не раз спасало и меня, и близких.

Глава 27

1918–1919. Последние дни императора и его семьи – Убийство великих князей в Сибири и Петербурге – Вел. князь Александр тщетно просит союзников о помощи – Отъезд в изгнание

Первой большевицкой расправой над императорским семейством было убийство великого князя Михаила, младшего брата царя. Второй – расстрел самого императора и его семьи.

До августа 17-го Николая с женой и детьми продержали под арестом в Царском Селе. Затем Временное правительство постановило сослать их – вопреки надеждам их не в Крым, а в Сибирь, в Тобольск.

С ними же поехали, решив разделить их участь, преданные им люди: фрейлина графиня Гендрикова, гофлектриса м-ль Шнейдер, гофмаршал князь Долгоруков, генерал Татищев, доктора Боткин и Деревеньков, учителя швейцарец Жильяр и англичанин Гиббс и матрос Нагорный, дядька царевича, носивший мальчика на руках, когда тот не мог ходить, и несколько верных слуг.

Когда пароход, переправлявший пленников из Тюмени в Тобольск, плыл мимо Покровского, родного села Распутина, императорская семья увидела с палубы дом «старца». Все потрясения, случившиеся со времени смерти распутинской, так и не смогли поколебать веру императрицы в сибирского «пророка». Может, и это видение на палубе расценила она как распутинское благословение.

В Тобольске узников поселили в доме тамошнего губернатора. Не раз караульным приходилось отгонять от дома народ. Люди, проходя мимо, снимали шапки, крестились, стояли под окнами.

Поначалу условия содержания царской семьи были сносные. Охранники вежливы, а начальник охраны, полковник Кобылинский, искренне привязанный к государям, делал для них всё, что мог. Но после октябрьского переворота «солдатский комитет», так сказать, обесправил его, и узники стали подвергаться унижению и оскорблениям. В феврале 18-го армия было демобилизована, прежние солдаты охраны сменились новыми – наглецами и подонками. Положение заключенных становилось с каждым днем все хуже. Попытки выручить их ничего не дали. Во-первых, государи и сами не раз заявляли, что России не бросят. Во-вторых, делу помешал некто Соловьев, распутинский зять, посланный Вырубовой в Тобольск устроить

бегство императорской семьи. Субъект же этот, которому Вырубова слепо вверилась, был разом агентом и большевиков, и немцев. Немцы, временно оккупировав часть России, затеяли вернуть императора и заставить подписать брест-литовский договор. Притом везти его следовало, понятно, тайно. Соловьев вызвался исполнить поручение. С помощью отца Алексея, духовника государей, он связался с ними и убедил государыню, что он и только он, ведомый духом Распутина, в силах спасти их. Уверил их, что отряд, триста человек офицеров, ждет только знака его, чтобы броситься к ним на выручку. Бегство государей действительно готовили монархические организации, но все их посланцы попались в ловушку к Соловьеву и бесследно исчезли. В 1919 году Соловьева с женой арестовала белая армия во Владивостоке. Бумаги его проверили. Вина его была налицо. Все ж удалось им бежать в Германию.

В апреле 1918 года из Москвы прибыл комиссар Яковлев с отрядом в сто пятьдесят человек и неограниченными полномочиями. Спустя три дня он объявил императору, что должен перевезти его, однако не уточнил куда. Уверил только, что никакого вреда ему не причинят. Разрешил вдобавок сопровождать его всем желающим. Императрица оказалась перед мучительным выбором. Царевич заболел, перевозить его нельзя. Сына она бросить не может, отпустить мужа в неизвестность тоже. В конце концов решила последовать за императором, оставив с сыном трех дочерей, учителя Жильяра и доктора Деревенькова. Великая княжна Мария, князь Долгоруков, доктор Боткин и трое слуг поехали с императором и императрицей.

Ехали тяжело, тряслись в тарантасе по скверным дорогам. Лошадей переменили в Покровском, под окнами распутинской избы. В Екатеринбурге путешествие неожиданно окончилось. Всех заключили в доме богатого купца Ипатьева.

Выяснилось, что пленников везли в Москву, но посадили под арест в Екатеринбурге происками уральского Совета с тайного согласия московских властей, чтобы получше припрятать императора. Истинные намерения Яковлева, впрочем, неизвестны. Некоторые считали, что он, напротив, хотел спасти арестантов. Известно одно: позже перешел он на сторону белых, был схвачен большевиками и казнен.

Спустя три недели царевичу стало лучше, и его вместе с тремя сестрами, великими княжнами, перевезли из Тобольска в Екатеринбург. Теперь семья была вместе – это стало ей последним утешением перед гибелью.

Для нового предназначения Ипатьевский дом срочно обнесли двойным дощатым забором чуть не до третьего этажа высотой.

Часовые с винтовками сторожили всюду, у дома и в доме.

Бежать отсюда было невозможно. Да и Германия, отчаявшись заставить императора подписать Брест-Литовский мир, бросила его и семью его на произвол судьбы.

Сомнений о своей судьбе у императорской семьи не оставалось. Последние свои дни провели они в ужасающих условиях. Перенесли они все мыслимые и немыслимые унижения. Но еще горшим страданием было жить на глазах охраны, наглой и всегда пьяной. В комнате великих княжон солдаты даже сняли дверь и входили, когда угодно.

Но горячая вера поддерживала их, и они, казалось, уже не страдали. Они жили уже в другом мире, в другом измерении. В последние дни свои в смирении и кротости они оправдывали даже скотство солдатни. Их, как только привезли в Екатеринбург, лишили почти всех их людей. Единственно доктор Боткин и несколько слуг остались им в последнюю поддержку, с ними и приняли смерть.

Судьба узников была решена. Приближение белой армии, сформированной в Сибири под командованием адмирала Колчака, ускорило казнь.

Не буду описывать мерзость злодеяния. Факты сегодня известны. Вопреки стараниям большевиков скрыть следы дела, все подробности его восстановлены следователем Соколовым, терпеливо и добросовестно изучавшим его на месте. Материалы следствия опубликованы. В волнующей книге «Трагическая судьба Николая II» рассказал обо всем и учитель царевича Жильяр, бывший с царской семьей в ссылке. В 1920 году, после падения колчаковского правительства, Жильяр встретился в Харбине с Соколовым и шефом его, генералом Дитерихсом, искавшими куда бы спрятать документы следствия, которые изо всех сил старались заполучить большевики. Глава французской миссии генерал Жанен, отъезжавший с рубежа на рубеж и оказавшийся в Маньчжурии, взялся увезти в Европу несколько личных вещей царской семьи, найденных в ходе расследования, и все материалы дела. Так разоблачены были подробности преступления и названы имена преступников.

Расскажу лишь о странной находке, сделанной следователем Соколовым в подвале Ипатьевского дома. О том слышал я от него самого. На подвальной стене оказались две надписи. Одна – 21-я строфа из поэмы Гейне «Валтасар»: *Balthasar war in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht* («Был Валтасар убит в ночи. Рабы – его же палачи»). Другая – на древнееврейском. Позже был сделан перевод: «Здесь казнили вождя Веры, Народа, Отечества. Казнь свершилась».

Двадцать четыре часа спустя расстрела царя и его семьи другая трагедия совершилась в Алапаевске, в ста пятидесяти верстах от Екатеринбурга.

Арестованные весной 1918 года, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, князья Иван, Константин и Игорь, сын великого князя Константина князь Владимир Палей, инокиня сестра Варвара и секретарь великого князя Сергея были привезены в Алапаевск и посажены под стражу в здании школы.

Поначалу условия содержания были сносны. Заключенным позволили даже ходить в церковь. Потом все изменилось. К строгости режима добавилась грубость охраны.

Раньше я говорил уж, как погибла великая княгиня и ее спутники. В октябре 18-го тела их обнаружили в разрушенной шахте, куда узников, избив прикладами, бросили еще живыми.

После казней в Сибири и на Урале настал черед расправы в Петербурге. Братья моего тестя, великие князья Николай и Георгий Михайловичи, великий князь Павел Александрович, великий князь Дмитрий Константинович и племянник его князь Гаврила были арестованы. Князь Гаврила уцелел благодаря усиленным хлопотам и ловкости жены его. Остальных посадили в Петропавловскую крепость и вскоре расстреляли. Великие князья Георгий и Дмитрий умерли с молитвой. Великий князь Павел, тяжелобольной, был убит на носилках. Великий князь Николай шутил с палачами и ласкал на руках любимого котенка.

В семье Романовых были они последними жертвами большевиков. Так, в крови и прахе, окончилось правление одной из самых могущественных династий мира, более трех столетий ведшей Россию, и возвеличившей ее, и невольно ее же и погубившей.

В соответствии с договором о перемирии от 11 ноября немецкие войска должны были покинуть Крым и все занятые ими весной российские территории. И оказалось, что в Крыму находится несколько сот русских офицеров. Пробрались они к Ялте еще ранее, тайком, намереваясь спасти великих князей во время пленения их в Дюльвере. Мы с шурьями моими решили вступить в Белую Армию и подали просьбу о зачислении командующему, генералу Деникину. Нам было отказано. Причины – политические: присутствие родственников императорского семейства в рядах Белой Армии нежелательно. Отказ сильно расстроил нас. Мы горели желанием вместе со всеми офицерами-патриотами принять участие в неравной борьбе с разрушителями отечества. В едином патриотическом порыве

поднялись по России люди. Новую армию возглавило несколько военачальников. Имена генералов Алексеева, Корнилова, Деникина, Каледина, Юденича войдут в историю российскую, составив славу ее и гордость.

В конце 1918 года флот союзников прибыл в Крым. Мой тесть покинул родину на английском корабле вместе со старшим сыном Андреем и женой его. Великий князь намеревался сообщить союзным правительствам о положении в России, всю тяжесть которого союзники, по всему, недооценивали. Клемансо выслал к нему своего секретаря. Тот слушал великого князя любезно и рассеянно. Прочие оказались не внимательней. Даже и в визе английской было ему отказано. Всё, что случилось с тех пор, только доказало роковую слепоту тогдашних европейских вождей.

Когда весной 1919 года красные подошли к Крыму, поняли мы, что это конец. Утром 7 апреля командующий британскими военно-морскими силами в Севастополе явился в «Аракс» к императрице Марии Федоровне. Король Георг V, в силу сложившихся обстоятельств сочтя отъезд государыни необходимым и безотлагательным, предоставил в ее распоряжение броненосец «Мальборо». Командующий настаивал на отплытии ее и семьи ее вечером того же дня. Сначала императрица решительно отказалась. С трудом убедили ее, что отъезд необходим. В то утро мы все собрались в «Араксе» отметить день рождения великой княгини Ксении. Императрица поручила мне отнести великому князю Николаю Николаевичу письмо, в котором сообщала, что уезжает, и предлагала ему и семье ехать с нею также.

Весть о близком отъезде императрицы и великого князя Николая разлетелась со скоростью света и вызвала колоссальную панику. Люди просились также уехать. Но один военный корабль не мог вместить тысячи и тысячи граждан, бежавших от большевитской пули. Мы с Ириной поднялись на борт «Мальборо», где уже находилась императрица с великой княгиней Ксенией и моими шурьями. Когда Ирина сказала бабке, что для эвакуации людей ничего не сделано и не делается, ее величество объявила севастопольскому союзному командованию, что никуда не поедет, пока хоть один человек, из всех тех, чья жизнь в опасности, останется в Крыму.

Ей уступили, и большое количество союзных кораблей прибыло в Ялту для эвакуации беженцев.

На другой день отплыли и мы вместе с моими родителями.

Тотчас вслед за нами из ялтинского порта отчалил корабль с нашими офицерами, ехавшими присоединиться к белой армии.

«Мальборо» еще не поднял якорь, и, стоя на носу броненосца, императрица смотрела, как уплывали они. Из глаз у нее текли слезы. А молодежь, плывшая на верную смерть, приветствовала свою государыню, замечая за ней высокий силуэт великого князя Николая, их бывшего главнокомандующего.

Покидая Россию в этот день, 13 апреля, мы знали, что изгнание – еще не самое тяжкое из того, что ожидало нас. Но мы представить себе не могли, что и спустя тридцать два года ему не будет конца!

Книга вторая
В изгнании

Глава 1

1919. На борту броненосца «Мальборо» – Радушие мальтийских моряков – Всеобщая забастовка в Сиракузах – Париж – Встречаю в Лондоне вел. князя Дмитрия и возвращаюсь в свой лондонский дом – 14 июля 1919 года в Париже – Бал у Эмильены д'Алансон – Вилландри – Проездом в Гаскони – Возвращение в Лондон – Надежды и разочарования – Организация помощи беженцам – Королева Александра и императрица Мария Федоровна – Кража наших бриллиантов

13 апреля 1919 года эмигранты смотрели с палубы «Мальборо», как исчезает крымский берег, последние пяди родной земли, которую пришлось им покинуть. Одна и та же тревога, одна и та же мысль мучила их: когда возвращение?.. Луч солнца, прорвавшись в тучах, осветил на миг побережье, усеянное белыми точечками, в которых всяк пытался различить свое жилище, бросаемое, быть может, навеки. Очертания гор таяли. Вскоре все исчезло. Осталось вокруг бескрайнее море.

На борту броненосца народу была тьма. Пожилые пассажиры занимали каюты. Кто помоложе устраивались в гамаках, на диванах и прочих случайных ложах. Спали где придется, многие просто на полу.

С горем пополам разместились все. Корабельная жизнь скоро наладилась. Главным занятием стала еда. После долгого-долгого вынужденного поста мы вдруг почувствовали, как оголодали. Никогда еще английская кухня не казалась столь изысканной! А белого хлеба мы и вкус-то забыли! Трехразового питания едва ли хватало утолить голод. Ели мы постоянно. Наша прожорливость не на шутку перепугала капитана. И то сказать: в два-три дня исчезали месячные припасы.

Утром мы вставали чуть свет, чтобы постоять на поднятии флагов и выслушать английский и русский гимны. Потом голодной ордой бежали на завтрак – сытный английский *breakfast.* Позавтракав, гуляли на палубе, с нетерпением ожидая обеда. Пообедав, ложились соснуть до пятичасового чая. После чая до ужина – жить еще три часа. В ожидании слонялись по каютам или играли в карты.

В первый вечер молодежь собралась в коридоре. Расселись на баулах и саквояжах. По просьбе друзей я взял гитару и запел цыганские песни. Открылась дверь, из каюты вышла императрица Мария Федоровна. Кивком она просила меня продолжать, села на

чей-то чемодан и стала слушать. Глянув на нее, я увидел, что глаза ее полны слез.

Впереди над Босфором сияло солнце в ослепительно синем небе. Позади – черные грозовые тучи опускались на горизонт, как завеса на прошлое.

У Принцевых островов нас обогнали другие корабли с крымскими беженцами, соотечественниками нашими и друзьями. Все они знали, что на «Мальборо» – вдовствующая императрица, и, проплывая мимо нас, встали на палубе на колени и спели «Боже, царя храни».

Пока стояли в константинопольском порту, побывали в соборе Св. Софии. На Принцевых островах великий князь Николай Николаевич с семьей пересели на броненосец «Лорд Нельсон», плывший в Геную, а мы на «Мальборо» продолжали путь на Мальту, где стараниями британских властей крымским беженцам приготовили жилье.

По прибытии очень сердечно простились мы с капитаном и моряками. Императрица с дочерью, великой княгиней Ксенией, и внуками, моими шурьями, временно поселились в Сан-Антонио, в губернаторской летней резиденции, предоставленной местным губернатором в распоряжение ее величества. Дворец окружали апельсиновые и лимонные рощи. Место было восхитительно. Что до нас, мы с родителями моими остановились в гостинице. И только тут наконец почувствовали себя в безопасности. От радости я и Федор отправились в тот же вечер по городским ресторанам. Всюду чествовали прибывших на «Мальборо». Загулявшие моряки, англичане и американцы, ходили с нами от кабака к кабаку и поили нас бесплатно. Несколько часов угощения – и мы дали деру, пока могли это сделать без посторонней помощи.

Дней через десять «Лорд Нельсон», завершив задание, прибыл из Генуи на Мальту, чтобы доставить императрицу в Англию. Государыня отплыла с дочерью и тремя внуками. В Лондоне она поселилась в Мальборо-хаус у сестры, королевы Александры, а великая княгиня Ксения с сыновьями, по приглашению Георга V, – в Букингемском дворце.

Мы с Ириной также не собирались гулять по Мальте вечно. Оставили дочь моим отцу и матери, уезжавшим на житье в Рим, и выехали с Ириниными братьями Федором и Никитой в Париж с заездом в Италию.

Отчалив 30 апреля, 1 мая мы ошвартовались в Сиракузах и попали в самый разгар всеобщей стачки. Коммунисты устроили шествие с красными флагами. На стенах было намалевано: *«Evviva Lenine!», «Evviva Trotski!»* и *tutti quanti.* От чего ушли, к тому и

пришли. Настроение вмиг испортилось.

Отправки поезда пришлось, стало быть, прождать порядочно. Наконец, выехали. В Мессине пересели на паром и, переправившись через пролив, доехали до Рима благополучно. Новая забота – кончились лиры. К счастью, было с собой кое-что из ценностей. Почти все наши фамильные украшения остались в России, моя мать и Ирина спасли только то, что имели при себе, уезжая в Крым. Я заложил Иринино брильянтовое колье. Теперь мы могли спокойно продолжать путешествие.

Весть о нашем приезде вмиг облетела Париж. В отель «Вандом» повалили друзья. Все жаждали выразить сочувствие и послушать рассказ о наших мытарствах. Целый день шел гость и звонил телефон. Ни минуты покоя. Ювелир Шоме принес мешочек с брильянтами, оставшийся у него с того времени, когда переделывал он для Ирины старинные ожерелья. Мешочек был приятным сюрпризом: об этих брильянтах забыли мы начисто. Другим сюрпризом был автомобиль. Он по-прежнему находился в гараже, ждал нас пять лет. Упрощались, стало быть, разъезды из Франции то в Италию, то в Англию, где остались все наши.

Где обосноваться самим нам, мы еще не знали. Ирина поехала проводить отца в Биарриц, а я отправился в Лондон устроить дела с квартирой, которую до сих пор нанимал, но сам впустил квартиранта в годы войны. Временно я остановился в «Ритце». В первый вечер в гостинице, чтобы заглушить тоску, стал напевать под гитару и вдруг услыхал стук. Стучали в дверь, смежную с соседним номером. Я решил, что мешаю кому-то, и замолчал. Стучать продолжали. Я встал, отпер дверь, открыл... на пороге стоял великий князь Дмитрий. Я не виделся с ним со времен распутинского дела, когда стерегли нас с ним денно и нощно у него во дворце. Мы не знали друг о друге ничего, пока он не услышал за стеной лондонского гостиничного номера мой голос. Мы так обрадовались встрече, что проговорили до утра.

Следующие дни мы не расставались, однако вскоре заметил я, что Дмитриево обращение со мной несколько переменилось. В то время среди эмигрантов существовала монархическая партия, верившая в скорое возвращение в Россию и в восстановление монархии. Всякого, в ком члены партии видели будущего императора, старались отдалить они от людей, по их мнению, опасных. Опять эти дворцовые интриги, каких всегда терпеть я не мог. К счастью, освободилась моя лондонская квартира. Я тотчас покинул гостиницу и вернулся в родные пенаты.

Вскоре Дмитрий навестил меня. Признался он, иные в его окружении хотят вырвать его из-под моего влияния и наговаривают на меня. Но он и сам понимал, что дело тут только

в их личной выгоде. Да и к тому ж не верил во все затеи эти. Просил не бросать его, даже предложил переселиться к нему неподалеку от Лондона. Я отвечал, что не время сейчас покидать Лондон. Беженцы из России прибывали, и первейшим долгом казалось мне помогать им. Впоследствии, правда, я и сам не знал, правильно ль сделал, что не переехал к Дмитрию. Один, он становился добычей интриганов, а эти только и ждали взять его в оборот и скомпрометировать.

Как же обрадовался я, когда очутился в своей квартире на Найтсбридже! Только тут теперь и был мой собственный угол! И прекрасно было все, с ним связанное! Вспоминал я о том, однако, не без грусти. С войной многих друзей юности я недосчитался.

Но вновь увидал я португальского короля Иммануила, герцогиню Ратлендскую с красавицами дочерьми, старушку миссис Хфа-Уильямс, и Эрика Гамильтона с Джеком Гордоном, оксфордских однокашников.

Недолго пробыл я в Лондоне, наводя порядок в квартире, где мы собирались временно поселиться. Вскоре уехал в Париж и провел там несколько дней, перед тем как ехать за Ириной в Биарриц.

В Париже веселились. Был день 14 июля, праздничное гуляние. На улицах радостно бесновалась толпа, ни пройти, ни проехать. Кричали, смеялись, целовались. Проходили ватаги людей с флагами, патриотическими плакатами. Пели «Марсельезу». С этой песней связаны у меня отвратительные картины революции. Вспомнилось многое мучительное, совсем еще недавнее. С горечью подумал я и о том, что, вопреки всем жертвам своим и благородству царя, Россия была брошена союзниками. Ничего не досталось ей от плодов победы. Положение оказалось болезненным и притом парадоксальным. В Париже русских знамен с триумфом не проносили, а в России-то зверства творились во имя свободы – под французский гимн!

Повидался я со многими приятелями-парижанами. Побывал у Эмильены д'Алансон, которую давным-давно потерял из виду. Приняла она меня очень сердечно, даже задала бал-маскарад в мою честь. Я надел восточный шелковый черный халат и шитую золотом чалму. Собрался весь парижский полусвет. Гости были разряжены в пух и прах. Бал удался на славу. Царила атмосфера веселья и беззаботности, как вообще в послевоенном Париже.

В тот вечер узнал я, что некий голландский художник, как говорили, гений, заочно написал мой портрет, и якобы получился вылитый я. Я заинтересовался и пошел посмотреть. «Гений» этот мне сразу не понравился. Портрет тоже. Нет, верно, на портрете в бледном субъекте на фоне грозового неба какое-то сходство и

было. Но от субъекта исходило что-то сатанинское. Я оглядел мастерскую. С удивлением заметил, что все кисти художника были искусаны – видимо, его же зубами. Это еще более усилило неприятное впечатление и от картины, и от него. Потом он поставил меня рядом с картиной. Глаза его перебегали с портрета на меня. Сравнением он, кажется, остался доволен и преподнес мне мерзкий портрет в подарок.

Вскоре его вдохновила моя фотография, увиденная им в иллюстрированном журнале. И он сделал мой новый портрет – изобразив меня в том самом восточном наряде, в каком красовался я на балу у Эмильены. И этот портрет преподнес мне также. Когда он сотворил мой третий портрет – на сей раз конный, – я написал ему письмо, прося его впредь подыскивать другие модели для своих шедевров.

Выехав на автомобиле в Биарриц, мы с Федором решили остановиться в Турени и осмотреть знаменитые замки Луары. Один из таких осмотров оказался непредвиденным, но и самым незабвенным.

По пути заехав на ночлег в Тур и выйдя вечером на прогулку, я увидал в витрине книжной лавки репродукцию с мужского портрета Веласкеса. Мне безумно захотелось увидеть саму картину. Я зашел в лавку и узнал от продавца, что портрет принадлежит испанцу по имени Леон Карвальо, владельцу замка Вилландри в нескольких километрах от Тура. Я решил заехать к этому испанцу на другой день по дороге. Но выехали мы рано утром, когда в гости не ходят. И все же захотелось попытать счастья.

Около семи утра мы подъехали к воротам замка Вилландри. Привратник, изумясь столь ранним гостям, спросил, приглашены ли мы, и, узнав, что нет, впустить отказался. Я настаивал. Он пошел к хозяину. Не жалует псарь, да жалует царь. И провели нас в картинную галерею, и я наконец досыта насладился веласкесовым портретом. Пока я стоял перед ним, дверь открылась и вошел сам хозяин в красном бархатном халате.

– Я очень рад, господа, что могу удовлетворить ваше любопытство, – сказал он. – Все ж согласитесь, что для визита еще рановато.

Я назвал себя и извинился, прося не сердиться за бесцеремонность.

– Не сержусь, а радуюсь, – расшаркался хозяин, – ибо ей обязан я знакомством с вами.

Он повел нас по замку и показал его красоты. Прежние переделки обезобразили было всю эту архитектуру, но, купив

замок, испанец вернул строение в первозданный вид.

Однако более всего понравились нам сады. С высокой террасы восхищались мы упорядоченностью и притом самобытностью их. Увитая виноградной лозой решетчатая изгородь. Рвы с водою, фонтаны и огороды. Грядки, устроенные, как клумбы, на французский манер. Перед домом – розы и самшитовые деревья, настоящий андалузский сад, родной сердцу испанца испанский рай в Турени.

На прощание хозяин подарил мне на память репродукцию с «моего» Веласкеса. Гостеприимство его рассеяло наши угрызения совести.

В тот же вечер приехали мы в Биарриц. В Гасконь я влюбился с первого взгляда. Но долго быть здесь я не мог. Надо было возвращаться с Ириной в Лондон и устраивать житье. Успели мы, правда, побывать в Сан-Себастьяне на бое быков. Корриду я видел впервые. Зрелище и отвращало, и восхищало.

Спустя несколько дней мы уже сидели у себя дома на Найтсбридже. В свой черед великая княгиня Ксения с детьми переехала из Букингемского дворца в дом в Кенсингтоне.

В России к концу этого лета 1919 года генерал Деникин, тесня большевиков, наступал на Москву, а генерал Юденич шел к Петербургу. Радовались, однако, мы недолго. В ноябре Юденича разбили на подступах к столице. Деникин же чуть было не соединился с сибирской армией адмирала Колчака. Посланные на разведку деникинцы даже встретились с колчаковскими разведчиками. Соединение, казалось, состоится вот-вот. Все же большевикам удалось помешать ему.

Будущее было еще неясно, но ясно было, что беженцам-соотечественникам необходима помощь. По приезде в Лондон я тотчас снесся с графом Павлом Игнатьевым, председателем русского отделения Красного Креста. Требовалось прежде всего организовать мастерские для трудоустройства эмигрантов, обеспечить военных бельем и теплой одеждой. Одна милая англичанка, миссис Лок, предоставила нам помещение в своем особняке на Белгрэйв-сквер. Помогла мне и графиня Карлова, вдова герцога Джорджа Мекленбург-Стрелицкого. Женщина была достойнейшая, энергичная, умная, любимая всей русской колонией. Она сразу же взяла на себя управление мастерскими. Шурья мои Федор с Никитой и многие английские наши друзья пришли на подмогу.

Дело стало расти. Вскоре на Белгрэйв-сквер повалили не только безработные эмигранты, но и те, кому просто приходилось

туго. Дело, стало быть, ширилось, а средств не прибавлялось. Деньги таяли быстро. Поехал я по большим промышленным городам Англии. И встретил всюду сочувствие и понимание – не только словом, но и делом. Результат поездки превзошел все ожидания. Благотворительные вечера, устроенные с помощью друзей-англичан, также пополнили нашу кассу. Самой большой удачей оказалась пьеса Толстого «Живой труп», сыгранная в Сент-Джеймсском театре с Генри Эйнли в главной роли. Великий артист не только сыграл. После спектакля он обратился к публике с потрясающей речью, призывая сограждан помочь русским беженцам, их недавним союзникам.

С утра и до вечера сидели мы на Белгрэйв-сквер. Ирина занималась беженками, а мы с графиней Карловой за большим столом принимали беженцев-мужчин – нескончаемый поток людей. Приходили за работой, советом, помощью. Однажды явилась даже целая делегация англичан, желавших записаться добровольцами в белую армию. Попросили они помочь с визой, ибо английские власти их вежливо выставили.

В другой раз в числе просителей оказался маленький странный человечек, которого я приметил тотчас. Он был уродлив, хил и робок, двигался скованно, как кукла. Голову держал набок и без конца улыбался – хитровато и угодливо. Были тут и комизм, и убожество, но и патетика. Напоминал он иных героев Диккенса и Достоевского. Он встал на колени перед графиней, поцеловал ей руку. То же и со мной. Потом сел на краешек предложенного стула и поведал свою грустную и жалкую историю.

Звали его Буль. Был он наполовину русак, наполовину датчанин и англичанин. В юности женился на девице, которую любил. Но с невестой случилось несчастье, и супружеский долг исполнять она не смогла. «Если хотите, – добавил он, – расскажу подробности». Тут графиня Карлова незаметно наступила мне на ногу, делая знак прекратить. Но я не послушался. «Валяйте, – сказал я, – подробности – самое интересное». Ободренный, рассказчик продолжил, а графиня встала и вышла. В общем, Буля мы взяли на службу, и оставался он у нас долго, хоть толком и неизвестно было, в чем состоят обязанности его.

Частенько навещали мы императрицу Марию Федоровну, гостившую в Мальборо-хаус у сестры, королевы Александры. Принцессы-датчанки ничуть не походили друг на друга. Напротив, каждая казалась типичной дочерью второй своей родины. Королева была старше и уже почтенных лет, но выглядела моложе сестры. Лицо гладкое без морщин, как у

тридцатилетней. Она словно знала секрет вечной молодости.

Опозданиями своими она постоянно сердила сестру. Та была сама пунктуальность. Когда они шли куда-то вместе, императрица всегда спускалась первой и ждала копушу, лихорадочно шагая из угла в угол и грозно сжимая в руке зонтик. Королева наконец появлялась, но тотчас же сообщала, что забыла что-то. Начинались поиски. Императрица окончательно выходила из себя.

Мелкие ссоры ничуть, впрочем, не роняли престиж и достоинство государынь. Ни в ком из членов августейших домов, кого довелось знавать мне, не встречал я столько величия и вместе с тем доброты и простоты.

По субботам собирались в нашей найтсбриджской квартире. Цыганские песни под гитару напоминали о России. Моя старая жилица, попугаиха Мэри, свободно разгуливала по гостиной. К гостям нашим у нее был свой интерес, в частности – русские папиросы. Она склевывала их дюжинами, а потом жадно косилась на пустые коробки.

Наши друзья приводили своих друзей, часто иностранцев. Атмосфера, радушная и немного безалаберная, влекла к нам всех. Иногда приходили люди и вовсе нам не знакомые.

В одно воскресное утро, после такого вот собрания, собираясь идти с Ириной в церковь, у себя в кабинете я открыл ящик письменного стола, где хранил деньги и ценности, и увидел, что мешочек с брильянтами Шоме исчез. Опрос слуг ничего не дал. Я велел им заняться поисками, пока нас не будет. Мешочек не отыскали. Слуги наши были вне подозрений. Мы подумали на кого-то из вчерашних гостей. Я отправился к директору Скотленд-Ярда сэру Бэзилу Томпсону и рассказал дело. Сначала он попросил у меня список гостей. Но знал я не всех. Потому списка дать не мог. Да и не хотел. Все же он обещал искать вора и брильянты.

Прошли недели. Ни вора, ни брильянтов не отыскали. Не нашли и потом. Разумеется, я сам был виноват, потому что взял себе за привычку и за принцип никогда ничего не запирать на ключ. Я считал, запереть – значит оскорбить слуг наших.

Кража брильянтов занимала некоторое время светские разговоры, но потом дело забыли, и никто уж о нем не вспомнил.

Глава 2

1920. В Риме – За деньгами вместе с Федором – Герцогиня д'Аоста – Разочарование римлянки – Ужин у маркизы Казати с Габриеле д'Аннунцио – Возвращение в Лондон – Как я разыграл короля Иммануила и принял дядю его за лакея – Синий бал – Моя операция – Дивонна – Снова Италия – Окончательный разгром белой армии – Выбираем Париж – Вор нашелся, брильянты нет

В каждом письме матушка торопила нас приехать к ней в Рим. Мастерские на Белгрэйве работали уже вовсю. Нам можно было и отлучиться. Мы с Ириной и шурином Федором поехали в Италию.

В Риме, как и везде, положение большей части наших соотечественников было тяжелейшее. Моя мать собиралась организовать дом помощи беженцам по примеру нашего в Лондоне. Трудности возникли те же, то есть в основном денежные. Средств, какие могли собрать мы в Риме, не хватило бы. Надо было создавать в других городах комитеты по сбору пожертвований с дальнейшей отправкой в центр в Рим.

Взяв в помощники Федора, я отправился по итальянским городам, где надеялся на добрый прием. Таким он и был, особенно в Катанье. Тамошние жители не забыли еще самоотверженность русских моряков во время землетрясения, разрушившего Мессину в 1908 году.

В Неаполе горячо и сердечно откликнулась нам герцогиня д'Аоста. На обеде у нее в Каподимонте по ее просьбе рассказали мы о последних событиях в России, очевидцами которых были. Наделенная не одной только красотой, а и умом, и сердцем, хозяйка наша возмущалась слепотой союзников, упорно считавших, что большевизм – явление чисто русское и миру вовсе не грозит. Из Каподимонте уехали мы с рекомендательными письмами, которые открывали нам новые двери и возможности.

У нас с Федором были свои роли. У меня – рассказать, разжалобить, попросить. У Федора – потребовать. И действительно его рост и осанка убеждали лучше моих слез и жалоб.

В Рим мы вернулись с победой. Тотчас же образовался и начал работу центральный комитет помощи. Моя мать возглавила его.

Однажды, поджидая кого-то в холле «Гранд-Отеля», я заметил в глубине двух незнакомых дам, смотревших на меня пристально.

Раздраженный беззастенчивым разглядыванием, я решил игнорировать их и углубился в газету. Тогда дамы пустились на военные хитрости, чтобы очутиться поближе. И вот итальянки в двух шагах от меня. Слышу, как одна говорит другой:

– А он, право, и не так хорош, как говорят.

Я резко обернулся.

– Сожалею, сударыня, – сказал я, – что разочаровал вас.

Тут появился мой знакомец. Тем и закончилось.

Несколько дней спустя на ужине в одном доме соседкой моей за столом оказалась та самая дама. От души посмеялись мы, вспомнив наше с ней гостиничное знакомство.

В Риме я почти никого еще не знал. В одно прекрасное утро приносят мне конверт с почерком преудивительным. В конверте – приглашение на ужин к маркизе Казати.

С Луизой Казати познакомиться я не успел, но слышал о ней много. Имя ее было известно в эмигрантских кругах. Рассказы о ее чудачествах сильно занимали мое воображение. Я, конечно, отправился, ожидая, что будет любопытно. Действительность превзошла ожидания.

В гостиной, куда ввели меня, у камина на тигровой шкуре возлежала писаная красавица. Газовая материя обволакивала ее тонкий стан. У ног ее сидели две борзых, черная и белая. Завороженный зрелищем, я не сразу заметил второго присутствующего – итальянского офицера, пришедшего прежде меня. Хозяйка подняла на меня дивные, с поллица, глаза и ленивым змеиным движением протянула мне руку, унизанную перстнями с громадными жемчужинами. Сама ручка была божественна. Я склонился поцеловать ее, предвидя по интересному началу захватывающее продолжение. Тут мне представлен был офицер, на которого я поначалу едва посмотрел. Звали его Габриеле д'Аннунцио. Д'Аннунцио, с кем мечтал я познакомиться более всего!

По правде, глянув на него, я был слегка разочарован. Дурен собой, неуклюж, коротышка – кому такой понравится? Но, стоило ему заговорить, разочарования как не бывало. Глубокий взгляд и теплый голос обаяли меня совершенно. Слушая его, становилось ясно, откуда у него эта власть над толпой. Говорить он мог о чем угодно и сколько угодно. Правда, он то и дело перескакивал с итальянского на французский и обратно, но ни слова его я не упускал. Я был покорен и напрочь забыл о времени. Вечер пролетел как миг.

На прощание поэт еще раз явил себя поэтом, сказав неожиданно:

– Завтра я лечу в Японию. Полетите со мной?

Приглашение было заманчиво. Уверенный тон не допускал отказа. Я отказал. Слишком много было у меня обязательств.

Проведя Рождество с родителями, я помчался в Лондон. В белгрэйвском центре потребовалось мое присутствие. Ирина осталась на время с дочкой при моих родителях, Федор также решил побыть в Риме.

На перроне вокзала Виктория встречал меня Буль, очень важный, выставив перед собой букет. Цветы он вручил мне с ужимками и поклонами.

Секретарь мой Каталей, бывший конногвардейский офицер, замещавший меня на Белгрэйве во время моего отсутствия, рассказал о состоянии дел. А еще поведал, какие начались склоки, пока гулял я по Риму. Вечные истории уязвленного самолюбия, ничтожные и надуманные. Весь следующий день я только и делал, что утешал, мирил, успокаивал.

С жильем для беженцев дела обстояли все хуже. Судите сами, какова стала моя квартира в шесть комнат, когда я поселил в них десяток семей с детьми и вещами. Спали кто где, в основном на полу. А куда денешься? Не успею устроить одних – новые бездомные. И не было конца горемыкам. Я уж совсем отчаялся, но тут один русский промышленник, некто Р. Зеленое, сохранивший капитал за границей, предложил мне купить дом пополам с ним для расселения эмигрантов. Нашли мы подходящий особняк с садом в Чизвике, лондонском пригороде.

Помню, как поражался и негодовал португальский король, увидав в квартире моей вавилонское столпотворение. Окончательно добил я его, усадив ужинать в ванной комнате.

Не понимал король Иммануил беспорядка. Шуток тоже. А подшутить я над ним любил. Однажды, позвав его ужинать, я придумал нарядить Буля почтенной пожилой дамой. Королю я представил его как мою глухонемую тетушку, только что из России. Иммануил серьезно выслушал, поклонился и поцеловал «тетушке» руку. За ужином я кусал губы, чтобы не расхохотаться. Лакей, прислуживавший нам, прыскал втихомолку. Буль гениально изображал «тетушку», но вдруг, забывшись, поднял бокал с шампанским и гаркнул: «Здоровье его португальского величества!» Король терпеть не мог таких выходок. Он обиделся и не разговаривал со мной целый месяц.

Только я был прощен, как опять выкинул номер, на сей раз невольно. Явившись по приглашению на обед в туикнемский особняк Иммануила, я сильно опоздал. Поспешно сорвав с себя пальто и шляпу, сунул их субъекту в дверях, пронесся через холл и влетел в гостиную. Король Иммануил встретил меня с

прохладцей. Я забормотал извинения. Открылась дверь, и я обрадовался было, что пришел не последним, но вошел тот самый субъект, кому на бегу я бросил пальто и шляпу. Однако Иммануил пошел к нему навстречу, а потом повернулся ко мне со словами: «Кажется, я еще не представил тебя своему дяде, герцогу Опортскому».

Я готов был провалиться сквозь землю. Впрочем, его светлость ничуть не обиделся, что принят был за лакея. Дядя, в отличие от племянника, чувством юмора обладал.

Последнее время я испытывал сильные головные боли и колотье в боку. Притом уставал все чаще и больше. Решив, что переутомляюсь и недосыпаю, я хотел было несколько дней отдохнуть. Но русскому Красному Кресту снова понадобились деньги. Просили меня организовать благотворительные балы и представления. Организовал я комитет из видных лиц лондонского общества под попечительством королевы Александры, принцессы, одной из дочерей ее, и герцога Коннахтского. Положили устроить летом большой вечер в Альберт-Холле с танцами и балетным спектаклем. Участвовать в балете обещали Павлова и ее труппа.

Оформление зала поручил я молодому архитектору, со вкусом и талантом устроившему мою петербургскую квартиру, Андрею Белобородову, также эмигранту, жившему в Лондоне. Просил я сделать все в синих тонах. Синий цвет был моим любимым.

Вскоре в Лондоне только и разговору было, что про «синий бал».

В продажу пошло шесть тысяч пригласительных билетов, каждый тоже и лотерейный.

В лотерею английские монархи пожаловали коронационный альбом и «Историю Виндзорского замка» в роскошном издании, королева Александра – серебряный ларчик для карт в форме портшеза, король Иммануил – трость с золотым набалдашником. Лоты прочих дарителей были также ценные вещи. Знаменитые ювелиры жертвовали кольца и ожерелья.

Расскажу, как попал в последний миг к нам в лотерею брильянт в пять карат. Владелица его долго совещалась с друзьями на предмет оправы. Друзья восторгались и советовали кто что. Потом вспомнили, что «синий бал» на носу. В числе гостей была дама – секретарь «синего вечера». Владелица пяти карат пожалела, что не сможет пойти, но, желая послужить доброму делу, предложила триста фунтов за билет в ложу. Организаторша наша была дама не промах. Вместо денег она попросила брильянт и... получила.

Помощники, словом, оказались у меня отменные. Леди Эджертон, жена английского посла в Риме, миссис Роскол Браннер и верная моя миссис Хфа-Уильямс старались во всю.

Белобородов, в свой черед, трудился над декором. Чтобы не тратить время на приходы и уходы, он жил у нас. Днем он – архитектор, вечером вдобавок и музыкант, садился Андрей за рояль. Музыка снимала напряжение тяжелого дня.

Недомогания мои, однако, не проходили. Однажды бок разболелся столь сильно, что я вызвал врача. Врач констатировал приступ аппендицита. Позвали хирурга. Тот объявил, что срочно нужна операция.

Оперироваться я хотел непременно дома. Маленькую гостиную рядом с моей спальней превратили в операционную. На другое утро я улегся на бильярдный стол. Операция длилась час. Аппендицит оказался гнойным. Еще бы чуть-чуть, и дело кончилось плохо. Четыре дня ко мне никого не пускали. Приходил только врач да две сиделки несли попеременно вахту. Мой Тесфе, эфиоп-камердинер, не пил, не ел, пока длился запрет. А вот Буль страдал иначе. Узнав, что случай тяжелый, он оделся во все черное, чтобы быть наготове, и с утра до вечера причитал: «И на кого ты оставил нас, милый князюшка!»

Выражения сочувствия и от русских, и от друзей-англичан растрогали меня до глубины души. Присылали цветы, фрукты, подарки. Скоро спальня стала похожа на оранжерею. Добрая старушка моя Хфа-Уильямс пожаловала с кустом роз. Еле внесли его в дверь. Самым волнующим был букетик незабудок с короткой запиской, принесенные Павловой.

Ирину я решил понапрасну не беспокоить и в Рим ей сообщил обо всем только после операции. Несколько дней спустя она приехала вместе с Федором.

Вопреки всем предсказаниям болезнь моя оказалась не помехой, а помощью «синему балу». Многие, зная, как я, больной, пекся о нем, стали еще щедрее. Один из чеков прислал известный английский миллиардер сэр Бэзил Захарофф. Незадолго до того с сей загадочной особой я встретился и побеседовал о бедствиях своих соотечественников-эмигрантов. И вот теперь получил я от него чек на сто фунтов, а с чеком письмо, в котором заметил он мне, что его сто фунтов с учетом теперешней девальвации реально равны двумстам семидесяти пяти, то есть почти утроились.

Замечание показалось мне, мягко говоря, неуместным. И, посылая благодарственное письмо, я не удержался и предложил ему выдать русским беженцам означенную сумму в рублях, что по теперешнему курсу повысит его дар до целого миллиона.

А «синий бал» близился. Я был еще слаб. Вставать мне не разрешали. Но тут я не спрашивал разрешения. В этот бал я вложил всю душу и не пойти и не порадоваться верному успеху не мог. Бессовестно соврал я Ирине и сиделке, что врач позволил при условии, что поеду с санитарами. Дамы мои выслушали подозрительно и позвонили проверить врачу. По счастью, его не было на месте. Санитаров все же вызвали. Вечером мы с Ириной, Федором, Никитой и сиделкой вошли в домино и черных полумасках в Альберт-Холл.

Закружились и понеслись на середину зала первые пары. Я сидел в ложе и с восторгом смотрел на белобородовский декор. Фантазия художника превратила старый зал в волшебный сад. Синие ткани покрывали орган и обвивали ложи, скрепляясь гирляндами чайных роз. Розы аркою окаймляли сцену, а голубые гортензии падали каскадом по стенам зала. Люстры в венчиках роз с плюмажем белых страусовых перьев рассеивали на танцующих свет, как полная луна в летнюю ночь.

В полночь бал сменился балетом. Овацией встретили Павлову, синей птицей слетевшую с позолоченной крыши пагоды в середке сцены. Грянула буря аплодисментов, когда исполнила она рубинштейнову «Ночь». Далее кордебалет с «Голубым Дунаем», русскими плясками и восточными танцами. Далее Павлова с Волыниным и труппой в менуэте Маринуцци. Костюмы менуэта делал Бакст. Последний этот номер довел публику до экстаза. Вопили, кричали, рукоплескали. Наконец артистов отпустили, и они смешались с толпой. Бал продолжился с новым, большим жаром. Люстры под страусовыми плюмажами погасли лишь на заре, когда разошлись последние танцоры.

Вернулся я усталый, но счастливый. Знал я, что собрали мы неслыханно много: о стольком и мечтать не могли. Теперь наш Красный Крест мог действовать долгое-долгое время.

Для поправки здоровья и нервов доктор прописал мне покой и гуляние. Лучше Дивонны, казалось мне, для отдыха места нет. Воспоминания о нашем с братом дивоннском житье в 1907 году решили дело. И я уехал в Дивонну с женой, медицинской сестрой и Булем.

Городишко я не узнал. Высоченный отель «Чикаго», подавив небольшие гостиницы вокруг, совершенно видоизменил все. Не стало простоты и прелести.

На другой же день начал я оздоровительные процедуры: душ Шарко, массаж и лежание на террасе. Местные пациенты были вполне нормальны, то есть не психи, а только психопаты, но и

они, по правде, иногда вели себя странно. Мяукали, лаяли, чирикали. А то еще идет себе человек спокойно, вдруг остановится, крутанется, как волчок, и продолжает путь дальше. Одна из пациенток, гуляючи, измеряла лужи зонтиком и прыгала: прямо или вбок. Я всегда любил чудаков и полоумных и смотрел на них с интересом, находя, как всякий считающий себя нормальным, что дурной пример не заразителен.

Дивонна очень понравилась Булю. Особенно Монблан. «Рай земной, здесь рай земной», – твердил он.

Я послал его на лечебный душ. Буль полюбился служителям, извиваясь в поклонах и реверансах даже под водой.

Поехав в Дивонну, я надеялся побыть тут наедине с Ириной. Черта с два! Куда ни пойдем – непременно знакомых встретим.

Не прошло и месяца, как я окреп и стал годен на долгие прогулки. Прежде всего посетили мы давних учителей моих, мужа и жену Пенаров, живших в Женеве. Радость оказалась тем сильней, что пустились мы вспоминать времена моего детства. Вторым походом нашим было посещение имения, приобретенного некогда моими дедом и бабкой на Женевском озере. Виллу «Татьяна» видел я впервые. Сейчас ее нанимали американцы. Жильцы, узнав, что я – хозяйский сын, приняли нас необычайно любезно и повели показывать красоты. По истечении срока найма подумали мы было поселиться здесь сами. Место живописное, дом удобный, просторный, с садом на берегу озера. Чего ж нам боле? Уже представили мы, сколько пользы и выгоды извлечем... Но вошли в дом и тотчас передумали: в окнах, куда ни глянь, – сплошь Монблан.

Шурьи мои, Федор с Дмитрием, приехали к нам в Дивонну погостить. К концу сентября оздоровление мое закончилось, и мы вчетвером отправились в Италию.

Помню, уезжали, опаздывая, вещи бросали в поезд чуть ли не на ходу. Всего хуже, что спутники мои ворчали, говорили, что я нерасторопен и весь сыр-бор по моей вине. Во всяком случае, не по моей вине случилась всеобщая забастовка в Милане. Так что на миланском вокзале можно было уже не спешить. Два часа наблюдали мы шествие и выслушивали, как в Сиракузах, крики «Эввива Ленин!» и «Эввива Троцкий!», звучавшие для наших русских ушей хуже брани.

В Венеции повидались мы с давнишними друзьями, тут же встретили нашу старушку Хфа-Уильямс. Венецианцы отвели нас к княгине Морозини. Ее мрачный и роскошный палаццо – из красивейших в Венеции. Саму княгиню, высокую, видную, боялись больше, чем ценили, за простоту и язвительность. Из всех нас княгиня тотчас отличила Федора. Осмотрела его с ног до

головы и показала на него пальцем: «Кто это такое?» – спросила она.

В Венеции мы провели неделю. Далее в сопровождении нескольких друзей отправились во Флоренцию, прожили там несколько дней и уехали к моим родителям в Рим.

В Риме мы с утра до вечера спорили по поводу нашего дальнейшего семейного обустройства. Точки зрения разошлись. Отец надеялся вернуться в Россию. Матушка, да и мы с Ириной разубеждали его. Но оба, и отец, и мать, в данный момент перемен не желали и намеревались остаться в Риме. Встал вопрос, с кем оставить нашу малышку. Ирина хотела везти ее в Лондон. Я был решительно против. Дочка слабенькая, наше кочевое житье на пользу ей не пошло бы. Упорядоченную жизнь и уход матушка могла обеспечить ей не в пример лучше. Положили оставить ее на бабушку и дедушку. Тогда это казалось самым разумным, а вышло – так нет. Понял я это очень быстро. Мои родители обожали внучку, выполняли всякий ее каприз, и дитя скоро стало настоящим деспотом.

Едва мы вернулись в Лондон, пришло известие о полном и окончательном разгроме белых в Крыму. Последние наши надежды рухнули. В течение зимы узнали мы о трагической гибели сибирского главнокомандующего адмирала Колчака. Чехи предали его, союзники бросили, большевики расстреляли в Иркутске 7 февраля 1920 года. В марте генерал Врангель сменил Деникина, возглавив белую армию. Остатки ее отступили в Крым, где и были добиты.

Поражение генерала Врангеля означало конец гражданской войны. Ничто уже не мешало комиссарам. Россия, истерзанная и покинутая, оказалась во власти красной чумы.

Последние части белых отплыли к Галлиполийскому полуострову и рассеялись по Балканам. Генерал Врангель, чей престиж был неизменно велик, оставался с армией до конца. И он, и жена его терпели с ней все лишения, пеклись о малом воинстве своем и в изгнании и непременно поддерживали в нем дух дисциплины. И, лишь устроив судьбу последнего своего солдата, генерал уехал с женой в Брюссель.

Двери на родину для нас закрылись. Предстояло выбрать наконец место жительства. К русским повсюду относились враждебно. В изгнании это видеть было еще тяжелей. Личные связи и симпатии ничего не меняли.

Белой армии более не существовало. Работать на Белгрэйв-сквер стало не для кого. Эмигранты большей частью ехали во

Францию. Мы решили ликвидировать все дело в Лондоне и переехать в Париж.

Незадолго до отъезда, укладывая Иринины драгоценности, я вспомнил об украденных брильянтах. В ту же ночь мне приснился сон. Отчетливо видел я, что сижу у бюро в гостиной. Кто-то вошел. Это друг наших русских приятелей. «Друг» с семьей бедствовал, и я помогал ему. Музыкант, недурно поет, душа общества. И вот он подходит и садится рядом. Я встаю, иду к двери и оборачиваюсь. А «друг» сидит у бюро и теперь роется в ящиках. Схватил что-то и сунул в карман...

На этом я проснулся. Под впечатлением сна я позвонил по телефону «другу» и попросил зайти немедля. Не успел я положить трубку, как уже пожалел, что поддался чепухе. Обвинять человека на основании сна! И что я ему скажу? Хотел перезвонить, извиниться, отменить вызов. Но тут меня осенило – повторить с ним сцену, увиденную во сне.

Я сел у бюро и стал ждать. Минуты казались вечностью. Наконец «друг» явился. Вошел как ни в чем не бывало и, казалось, ничуть не удивлен был столь раннему приглашению. Я указал ему на стул, глянул на него в упор и выдвинул ящик, в котором некогда лежали брильянты. Тотчас поняв, что я все знаю, он бросился на колени, стал целовать мне руки, молил о прощении. Признался он, что продал брильянты какому-то заезжему торговцу-индусу. Ни адреса, ни имени его «друг» не знал. Чтобы преодолеть отвращение к нему, я подумал о его жене и детях. Ничего не попишешь. Пришлось забыть дело.

«Друг» этот более мне не встречался, но, пока жив он был, всякий год присылал мне на Рождество поздравительную открытку.

Глава 3

1920–1921. Париж – Покупаем дом в Булонь-сюр-Сен – Странное место отдыха – Макаров – Дом, потом ночлежка – Об эмигрантах – Ленин о русско-германских отношениях – Финансы поют романсы – Трудные переговоры с Виденером – Начали за упокой

Итак, мы в Париже, моем любимом городе. С ним связаны мои самые ранние воспоминания. Правда, пятилетнее дитя помнит лишь дома и лица. И от детских впечатлений оставался лишь смутный образ прабабки, графини де Шово, и парк-де-пренсовский особняк ее. В 1900 году я снова побывал здесь, но все еще мал был, чтобы разглядеть шарм и красоту французской столицы. Порядочные отцы и матери возили свое чадо по Европе, дабы образовать его. Их образовательная программа не включала многих парижских прелестей. Только годы спустя, путешествуя с братом, я в полной мере оценил несравненный город этот, полный искрометного ума и веселья. Мне нравились величавые памятники, шумные улицы, вольный столичный дух. И потом, в России, из домашней неги и роскоши тянуло меня в далекий волшебный город. Не имея в те поры забот о хлебе насущном, я частенько возвращался сюда и всякий раз открывал в этом городе новые прелести. Был я в Париже в 1914 году, накануне первой мировой. И вот я здесь снова, в 1921-м. Франция победила, но двуглавый орел обезглавлен, Россия утонула в крови, а у нас, россиян, впереди годы и годы хождения по мукам на чужбине. Но можно ль не улыбнуться Парижу? В ответ на его улыбку, и протянутую руку помощи, и поддержку, и массу возможностей и обещаний... И хвала Господу, что, изгнанный из России, жил я в Париже!

Временно остановились мы в гостинице «Вандом» и тотчас пустились на поиски жилья. Манил нас левый берег и Пале-Рояль. Нигде, однако, ничего. Агентство предложило дом в районе Булонь-сюр-Сен, по адресу: улица Гутенберга, 27. К дому прилегало два милых флигелька: один с выходом на передний двор, другой – за дом, в сад. Дом нам глянулся, мы купили его. Так судьба привела меня к местам моего детства. Покупка наша оказалась частью бывшего прабабкиного владения.

Прежде чем выписать свою лондонскую мебель, в доме я затеял кое-что изменить. Ирина в отличие от меня не была охотницей до переделок. Она подхватилась и поехала в Рим

пересидеть строительные работы. Я же понаблюдал за началом, сделал распоряжения и в свой черед решил задать стрекача. После операции оправился я еще не вполне. Хотелось побыть где-нибудь на покое и запастись силами на новые тяжкие труды по организации помощи эмигрантам, которые думал продолжить в Париже. Много нахваливали мне санаторию в горах близ Ниццы. Место показалось подходяще, и я поехал.

Хваленое заведение и впрямь, увидел я, преотлично. Одно «но», о чем никто прежде не заикнулся: приезжали сюда дамы и девицы для тайных родов. Медицинские сестры были прехорошенькие. Ко мне для ухода приставили красотку-шведку. Покончив с дневными обязанностями, она приходила ко мне по вечерам с подругами.

Тяжелобольных в заведении не имелось, и я велел принести к себе в комнату рояль. Стал я обучать барышень цыганским песням. Мы пели их хором, танцевали. Вечера пролетали незаметно. Кстати, и погребок в нашей санатории был полон. Шампанского пей не хочу. Может, не за тем я сюда приехал, зато не скучал. Своего Буля я привез в санаторию также и однажды нарядил его медицинской сестрой. Он был так уморителен в суровом женском платье, что я велел ему носить его до конца нашего пребывания.

Едучи сюда, адреса я никому не оставил и рассчитывал, что обойдется без гостей. Каково же было мое удивление, когда пожаловал ко мне бывший русский офицер Владимир Макаров, ставший поваром в семейном пансионе. Я не видел его аж с петербургской поры. Пришел он в затрапезе, но и тут выглядел элегантно, к тому ж пережитые испытания ничуть не убили в нем природной веселости. Он прекрасно пел и музицировал, словом, был находкой для наших вечерних посиделок. Вскоре появился Федор, и ростом и статью, как всегда, всех покорил. Потом по дороге из Рима заехала Ирина и сильно удивилась, что муж ее отдыхает в родильном доме. Макарова мы решили оставить при себе насовсем в качестве повара.

По возвращении домой нас ждал неприятный сюрприз. Переделки, вопреки нашим ожиданиям, не закончились. Лондонская мебель стояла как попало, в кучах щебня и мусора. Тут же несколько дней находились и мы.

Наконец, однако, все наладилось. Мебель и картины с гравюрами оказались где положено, комнаты приняли жилой вид. Своими сине-зелеными тонами они напоминали наши найтсбриджские апартаменты. Пристройки отвели мы для беженцев. В одной, бывшем гараже, внизу я устроил театрик. Художник Яковлев украсил его фресками – фигурами муз. В

Терпсихоре узнавалась Павлова. Зал-гостиную отделили от сцены занавесом. В углублении на лестнице, ведшей в комнаты, красовалась яковлевская Леда. Стены вкруг каминного зеркала расписаны были арфами и лирами, а потолок создавал иллюзию шатра.

Не успели хлев превратить в дом, повалила родня, и дом превратился в ночлежку при армии спасения. Наш Макаров был вне себя от такого количества едоков. А едоков становилось все больше, и Макаров кричал, что лучше б их всех удавить.

По вечерам собирались в театрике в пристройке. Зала была у нас самым большим помещением. Кто музицировал, кто беседовал о пережитом. Все восхищали нас стойкостью и спокойствием. Ни слезинки, ни жалобы. Обломки кораблекрушения, русские эмигранты все ж оставались открыты и жизнерадостны.

В эмиграции оказались представители самых разных слоев общества: великие князья, знать, помещики, промышленники, духовенство, интеллигенция, мелкие торговцы, евреи. То есть не только люди богатые, но и лишенные имущества. Тут была сама Россия. Почти все потеряли всё. Приходилось зарабатывать, кормиться тяжким трудом. Кто пошел на завод, кто на ферму. Многие стали шоферами такси или поступили в услужение. Их дар приспособиться был поразителен. Никогда не забуду отцову родственницу, урожденную графиню. Графиня устроилась судомойкой в кафе на Монмартре. Как ни в чем не бывало пересчитывала она мелочь, брошенную в тарелки на чаевые. Я приходил к ней, целовал ей руку, и мы беседовали под звук спускаемой в уборной воды, как в великосветской петербургской гостиной. Муж ее служил гардеробщиком в том же кафе. Оба были довольны жизнью.

Стали появляться русские предприятия. Открылись рестораны, ателье, магазины, книжные лавки, библиотеки, школы танца, драматические и балетные труппы. В Париже и пригородах строились православные храмы со своими школами, комитетами вспомоществования и богадельнями. Послевоенной Франции не хватало рабочих рук. Париж само собою стал центром эмиграции. Тем более что Германия эмигрантам двери закрыла. Германия в самом деле со времени Брест-Литовска снюхалась с большевиками. Франция же, по крайней мере тогда, глядела на них враждебно. Писатель-эмигрант Семенов, писавший об эмиграции, приводил текст доклада, представленного в 1920 году бельгийскому правительству священником из Ла-Шо-де-Фона пастором Дрозом. Пастор передавал разговор, который имел с Лениным в Москве. Ленин сказал:

«Немцы нам естественные союзники и помощники. Они проиграли, потому у них теперь волнения и беспорядки. На этой волне им самое время разорвать версальский ошейник. Они думают – реванш, а мы – революция. Сейчас нам с ними по пути. И будем мы вместе, пока на руинах старой Европы не встанет вопрос о гегемонии – Германии или европейского коммунизма».

Но всех русских отличал единый дух. Народ россияне в большинстве своем не любил большевиков и, живя в условиях террора, не отступился от православной веры. А церковь и вера народная были главными врагами советской власти, и она это знала. Ну, а что до эмигрантов, так те и вовсе старались объяснить правительствам стран, где жили, опасность большевистской заразы. От них же самих никаких волнений и беспорядков, в общем, быть не могло.

Кто останется равнодушен к их бедствиям? Я попытался и во Франции искать помощи у богатых людей, но ответа не получил. Возможно, после войны французы, потерпев более итальянцев и англичан, о своей разрухе думали и расщедриться не хотели. Словом, интерес к нам угасал. Да и ясно, что всеобщий порыв сочувствия к русским беженцам не мог длиться вечно.

А беженцам вечно надо было есть, спать, одеваться. И они по-прежнему обращались к нам. В самом деле, никто не верил, что от колоссальных юсуповских богатств остались рожки да ножки. Считалось, что у нас счета в европейских банках. А считалось напрасно. В самом начале войны родители перевели из Европы в Россию весь заграничный капитал. От всего, что было, остался только дом на Женевском озере, несколько камушков да безделушек, увезенных в Крым, да еще два Рембрандта, тайком укативших со мной из Петербурга, благо у большевиков прежде не дошли до них руки. А когда красные появились в Крыму, я завесил их в кореизской гостиной невинными цветочными натюрмортами двоюродной сестрицы своей Елены Сумароковой. Теперь Рембрандты были в Лондоне. Мы оставили их на Найтсбридже, едучи устраиваться в Париж.

Весной 1921 года с деньгами у нас стало совсем туго. На поддержку беженцев ушло все. На самих себя и на тех же беженцев пришлось заложить часть драгоценностей. Остальное мы продали, а Рембрандтов решили тоже или продать, или заложить. Стоили они, понятно, немало.

Я отправился в Лондон. Брильянты продал без труда, а вот с рембрандтовскими шедеврами неожиданно возникли трудности.

Один друг мой, Георгий Мазиров, известный своей деловой сметкой, свел меня с богачом и известным собирателем картин американцем Джо Виденером, находившемся в то время в

Лондоне. Он посмотрел картины, но счел, что двести тысяч фунтов, в которые их оценили, чересчур дорого. Предложил сто двадцать.

Мы долго спорили, наконец подписал я такую бумагу:

«Я, Феликс Юсупов, согласен получить от г-на Виденера сумму в сто тысяч фунтов в течение одного месяца со дня даты, указанной сим договором, за два портрета Рембрандта с правом выкупа их в любое время до 1 января 1924 года включительно за ту же сумму плюс восемь процентов, считая от момента заключения сделки продажи».

Несколько дней спустя Виденер отбыл в Соединенные Штаты, накануне подтвердив мне обещание выслать по приезде в Филадельфию деньги в обмен на картины.

Дело было в начале июля. 12 августа Виденер известил меня, что заплатит условленную сумму только, если я подпишу еще один договор, в котором обязуюсь в случае выкупа мной картин не продавать их более никому в течение десяти лет.

Я был потрясен. А я-то, положась на обещания Виденера, преспокойно подписывал своим кредиторам горящие чеки! Пришлось принять его условия, чтобы не опозориться. Так, взятый за глотку, я согласился подписать второй договор. А ведь помнил я, как в Париже ахал и охал Виденер над бедствиями наших эмигрантов. Значит, не бесчувственен он? Может, на этом-то и надо было сыграть... Я пошел к лучшему лондонскому адвокату, мэтру Баркеру. Баркер объявил, что и первый договор в силе, и я сохраняю за собой право получить в полное свое распоряжение картины, если смогу выкупить их до указанного в документе срока. Мэтр составил свой вариант второго договора. Я отослал бумаги Виденеру, приложив записку – воззвание к его совести:

«Несчастная страна моя потрясена небывалой катастрофой. Тысячи моих сограждан умирают с голоду. Потому вынужден подписать предложенный договор. Прошу вас перечесть его и буду крайне признателен, если вы сочтете возможным пересмотреть некоторые формулировки. Документ мной подписан. Теперь вся надежда на вашу добрую волю. Взываю к совести вашей и чувству справедливости».

Виденер не ответил. Да я и не ждал: не в моих правилах ловить журавлей в небе. Синица была у меня в руках, это главное. Притом и понимал я, что в нашей эмигрантской жизни все это только еще цветочки.

Глава 4

1921–1922. Бестактность некоторых парижских кругов – Миссис В. К. Вандербильт – Новые организации – Женитьба моего шурина Никиты – Нанимаю польского графа садовником – Визит Бони де Кастеллана – Булонские субботы – Леди Икс – Алварский махараджа

Во Франции моя скандальная известность стала причинять мне сильнейшие страдания. Куда ни пойду – провожают взглядами, шепчутся за спиной. Прежде, в Англии, такого не было. Англичане сдержанны и воспитаны.

Но хуже взглядов исподтишка на улице были бесцеремонные, неуместные или неприличные вопросы в гостиных. Одна хозяйка дома даже заявила при гостях: «Юсупов войдет в историю как полуангел-полуубийца!».

Думаю, потому и отошел я от светской жизни. Деланность людей комильфо меня тяготила. Милей мне были люди, хлебнувшие горя и ставшие самими собой, или же те чудаки и сумасброды, к каким тянулся всегда.

В остальном я по-прежнему занят был судьбой эмигрантов. Проблема казалось неразрешимой, но решать я ее старался. В отличие от русского генерала, который бегал по площади Согласия с криком «Все пропало, пропало все!», я поражений не признавал.

Я рассказал обо всем давнему другу юности, Уолтеру Крайтону. Тот свел меня с миссис В.К. Вандербильт.

Ради иных американцев полюбишь Америку. Миссис Вандербильт приняла наше дело близко к сердцу и обещала искать помощь на родине. А сделала много больше, чем обещала. Проявив огромный организаторский талант, открыла контору по трудоустройству эмигрантов, отдав под нее три комнаты в своем роскошном особняке на улице Леру.

Спасибо ей, подруге и помощнице, и верному другу Крайтону, и князю Виктору Кочубею: их стараниями наша новая организация трудоустроила многих и многих эмигрантов.

Среди помогавших иностранцев миссис Вандербильт оказалась не одинока. Были и еще две американки, княгиня Буонкампаньи (титул и фамилия по мужу-итальянцу) и мисс Кловер. Вечно благодарны им русские во Франции. После войны мисс Кловер вернулась в Париж и осталась в числе друзей наших. Другая благодетельница наша – англичанка мисс Дороти Паджет. Ее пожертвование помогло открыть дом для престарелых в Сент-

Женевьев-де-Буа. Директорствовала в нем княгиня Вера Мещерская. С годами необходимость в нем росла и росла. Кстати, именно там – знаменитая православная церковь и кладбище, где несчастные изгнанники нашли последний приют.

В те же годы открыли мы салон красоты, где иные русские дамы под руководством врачей и косметологов освоили азы массажа и макияжа и смогли зарабатывать на кусок хлеба.

Ирина всегда была охотницей до прикладного искусства, как, впрочем, и я. Основали мы школу художественных ремесел. Ученики осваивали их и получали профессию. Школу я поручил профессору Глобе. В Москве он руководил подобной школой. Руководитель был он прекрасный. Но ни вкуса не имел, ни выдумки. Потому мы вечно с ним ссорились, пока совсем не расстались. На его место я принял Шапошникова, и моложе, и артистичней.

Организации помощи стали расти как грибы. Я отдавался работе весь, без остатка, так что все окружение мое, и сама Ирина, забеспокоились. В Риме матушка даже забила тревогу, решив, что добром это не кончится, и молила меня умерить пыл.

А жизнь в нашем булонском доме шла своим чередом. В феврале 1922 года сыграли свадьбу шурина Никиты. Женился он на подруге детства, красавице графине Марии Воронцовой.

Дом наш был гостеприимен, весел и всегда полон. Правда, не все гости приходились Ирине по вкусу. Не любила она старую деву Елену Трофимову, которую прежде приютил я. А старуха оказалась недурной музыкантшей и хлеб свой отрабатывала, сидя аккомпаниаторшей на наших вечерах. Создание без возраста и пола, была, однако, великой кокеткой и в гостиную являлась в прозрачной кофточке, открывая то, что лучше бы скрыть. Венчало обворожительницу огромное страусовое перо на макушке.

Однажды летом Буль с загадочным видом доложил, что со мной желает говорить польский граф. У Буля и всегда был вид загадочный, но на сей раз – оправданно. Незнакомец выглядел престранно: кубышка, с большой головой и коротким туловищем, почти карлик, в поношенной куртке, клетчатых брюках и огромных стоптанных штиблетах. Перчатка была одна, и та дырява. Войдя, он встал в непринужденную позу, заведя ногу за ногу и вращая бамбуковой тростью. «Ну, чистый Чаплин», – подумал я. Я прервал вращение, спросив, чем могу быть полезен. Театральным жестом шут гороховый снял зеленую фетровую шляпу с пером и поклонился поклоном позапрошлого века.

– Ваше сиятельство, – сказал он, – судьба потомка славного рода в ваших руках. Ищу места. Прошу принять меня на службу.

Я отвечал, что слуг у меня достаточно, да и жить в доме

более негде.

– Ваше сиятельство, – продолжал коротышка, – пусть сие вас не беспокоит. Господь наш Иисус Христос родился в стойле. Ночевать могу на чердаке на соломе.

Я развеселился и готов был сдаться. Спросил его, какую работу может он выполнять. Он подошел к кувшину с розами, взял одну, долго нюхал, потом сказал:

– Обожаю цветы, ваше сиятельство. Буду садовником.

Ирина, узнав о том, не одобрила. Более того, раскричалась. «Мой дом, – повторяла она, – не цирк!» Ей, понятно, и без нового клоуна вполне хватало Буля с Еленой.

Ирина была, конечно, права по-своему. Вечерами, пробегав целый день по нашим богадельням, я развлекался, глядя на чудаков. А все остальное время сумасброды были на ней. Она нянчилась с ними, без конца мирила их меж собой и успокаивала.

В данном случае Иринина правота подтвердилась быстро.

На другой день ни свет ни заря разбудили нас лай и кудахтанье. Я подскочил к окну: в саду новый садовник, вооружась шлангом, поливал все что угодно, кроме цветов. Куры и собаки в панике отскакивали и встряхивались.

Открылось еще одно окно. Проснувшись на шум, выглянула старуха Елена. И черт же ее дернул! Струя оборотилась к ней и окатила ее с головы до ног. «Получай, – крикнул потомок славного рода, – о бесплодный цветок, свою порцию любви!»

В полдень того же дня ко мне впервые пожаловал Бони де Кастеллан. Выглядел он, как всегда, импозантно, в костюме с иголочки. Макаров и граф-садовник, говоря наперебой по-русски, вели его к флигелю, где репетировала певческая труппа. День выдался знойный, были мы все почти нагишом. Бони и бровью не повел. Благосклонно выслушал он импровизированный в его честь концерт, все с тем же важным видом. О впечатлении он поведал нам в своих «Воспоминаниях». Пересказать это впечатление имеет смысл только дословно. Сравнив меня с Антиноем, Нероном, Чингиз-ханом и Нострадамусом, Бони пишет:

> «Сей образ, несколько демонический, долго сиял в петроградских зеркалах. И вот я пришел и узрел, что дворец его – простой домишка в Булонь-сюр-Сен, а свита – собаки, попугаи да множество челяди из неудачников, коих приютил он по доброте душевной: вон один, садовник за работою в тужурке, перчатках и дырявой охотничьей шляпе, а вон и другой, повар, бывший

офицер лейб-гвардии.

Госпожа их, княгиня Юсупова, урожденная великая княжна, рассудительна и добра. Вера и надежда княгини в будущее России достойны восхищения.

Не прошло и пяти минут, как явился из погреба певческий хор и в мою честь исполнил лучшие русские народные песни и гимны. Далее показали мне старый сарай, превращенный в театр и убранный наисовременнейше, где князь предполагает разыграть любимые свои пьесы.

Атмосфере прекрасного, благоуханного распада я был чужд по природе своей латинской, практической и логической, и, однако, жалел бедного князя, непонятного и притягательного, и наслаждался неизбывной прелестью жизни безалаберной».

Вот так увиделась латиняну наша славянская жизнь.

По субботам собирались в боковом театрике. И, как бывало в Лондоне, друзья приводили друзей, всяк со своим харчем, добавляя нашему буфету закуски и выпивки. Душой собраний были моя раскрасавица-кузина Ирина Воронцова и братья ее, Михаил и Владимир.

Скоро наши субботние собрания вошли в моду. Стали бывать у нас на «субботах» самые разные люди, среди них – первоклассные артисты: Нелли Мелба, Нина Кошиц, Мэри Дресслер, несравненная Элси Максвелл, Артур Рубинштейн, Мураторе, Монтереоль-торес и многие, многие. Были иностранцы. Эти приходили к нам поглазеть, как ходят в наше время зеваки в экзистенциалистские кафе на Сен-Жермен-де-Пре. Может, думали они, что будет оргия или еще какая клубничка... Но вместо того – танцы, гитарные наигрыши, цыганские песни и просто веселье, которого они совсем уж не ждали у изгнанников. И, по правде, именно веселье примиряло нас с «туристами». Впрочем, западному человеку этого не понять. Угар веселья, даже легкое безумие были реакцией на пережитые недавние ужасы. И все же не потребность забыться и не наше русское наплевательство говорили в нас. Никто не понимал, что непоколебимая вера в волю Божью хранила нас от уныния и дарила нам радость жизни. И в этой радости черпал я силы, чтобы самому поддерживать всех несчастных, всех, просивших о помощи.

Один раз, впрочем, я разнообразил программу, неожиданно устроив номер весьма пикантный.

По цыганскому обычаю тот, кому поют здравицу, обязан

выпить стакан до дна до окончания песни. Многие дамы не справлялись с целым стаканом, и я допивал за них, чтобы не нарушать обычай. То ли вино было крепко, то ли я уже хватил лишку к моменту, когда запели здравицу. Результат был налицо, а хуже всего то, что стал я вдруг очень драчлив. Мои приятели-кавказцы в кавказских платьях подхватили меня под белы руки и повели вон.

Проснулся я наутро в незнакомой комнате с окнами в сад. В ногах возлежал мой мопс. На столике у кровати стоял граммофон. В кресле спал шофер. Кавказцы от греха подальше отвезли меня накануне спящего в Шантийи и уложили в номере гостиницы «Великий Конде».

Дома, разумеется, Ирина встретила меня неласково. Все ж удостоила сообщить, что гости, по всему, ничего не заметили и, уходя, горячо благодарили за прекрасный вечер. Может, и впрямь, решили, что мое «выступление» входило в программу. Тем более что появление кавказцев в черкесках с кинжалом на поясе было очень живописно.

Хочу рассказать о некой особе, сыгравшей в той моей жизни роль странную и, скорее, скверную. Для того вернусь несколько назад, а потом забегу еще и вперед.

Первое знакомство с леди Икс началось в 1920 году, в Лондоне, когда накануне «синего бала» сделали мне операцию. Леди Икс я не знал еще, но получал от нее цветы и фрукты с изящными записочками. Как только я стал выходить, поехал благодарить. Не знал я, что было две леди Икс: свекровь и невестка. Приняла меня старуха, недоумевая, за что благодарю, ибо ни плодов, ни букетов мне не слала.

Только в Париже познакомился я с невесткой. Несколько времени спустя стал я видаться с ней часто. Оригиналка, фантазерка, сибаритка и неженка. Притом богачка, потому мотала и потакала своим прихотям. Впрочем, сразу скажу: нашему делу благотворительности пожертвовала изрядно.

Однажды пригласила она меня к себе в имение близ Парижа и после полудня позвала прогуляться в экипаже. Я с радостью согласился, ни о чем не подозревая. Когда ехали мы с прогулки, она велела остановиться у кладбища, спрыгнула, открыла решетку и позвала за собой. Прошли мы с ней к роскошной усыпальнице. У леди был ключ. Она отперла, вошла, кинула на пол записку и убежала. Я подобрал записку и прочел: «Переселение душ существует. В прежней жизни мы с вами – это граф д'Орсей с леди Блессингтон». В усыпальнице, где стоял я, покоились останки сих Ромео с Джульеттой прошлого века.

Фантазиям странной леди границ не было. Порой казалось, она просто спятила. По всему, решила она, что безумие лучше ума, если, конечно, знала, для чего именно лучше.

Вот, к примеру, одна из первых и самых невинных ее затей.

Однажды вечером попивали мы кофе у себя в Булони в обществе тещи моей, приехавшей погостить ненадолго из Лондона. Вдруг вошел слуга – объявил, что во дворе у нас творится что-то чудное... Не успел он договорить, как явился нам рыцарь в доспехах, а за ним леди Икс в наряде Далекой Принцессы с длинной вуалью и длиннейшим шлейфом, который нес за ней мальчик, одетый пажем.

Странное шествие молча прошло по гостиной и скрылось в саду. Мы сидели, разинув рты. Может, приснилось?

Несколько дней спустя мне телефонировал кутюрье Ворт, прося прийти к нему в магазин за сюрпризом.

Я был заинтригован и тут же поехал на рю де ля Пэ. Ворт заговорил о моей матушке, давней своей клиентке. Сказал, что всегда восхищался ею. Однако где ж тут сюрприз? Наконец, просив ничему не удивляться, он ввел меня в салон. На троне восседала все та же Далекая Принцесса, рыцарь в доспехах нес при ней службу, а паж зевал у ног ее!

Не перечислить всех тех злых шуток, какие сыграла со мной леди Икс, пока не исчезла из моей жизни – столь же внезапно, сколь появилась.

Я уж давно раззнакомился с ней и не имел о ней известий, как вдруг в некоем журнале появилась статейка. Была она отголоском на публикацию вторым, иллюстрированным изданием драматической новеллы из недавней истории. Статейка называлась «Князь, монах и графиня». Привожу ее как есть, без комментариев, чтобы не портить впечатления.

Князь, монах и графиня

Герой новеллы легко узнается и в полумаске. Это князь Юсупов, зачинщик убийства Распутина, убитого за то, что осмелился взглянуть на княгиню. Княгиня, гордая и таинственная красавица, похвалялась к сему монаху презрением! И монах из самолюбия действовал на княгиню магнетизмом своим, и та поддалась понемногу, выказала интерес к святому отцу. Да только положили конец всему кинжалы заговорщиков.

После революции княжеская чета бежала из России

во Францию и кормилась чем придется: закладывали брильянты, шили платья, брали в долг и т.д. Благородная англичанка без памяти влюбилась в князя и бросила к ногам его свое баснословное состояние. Князь принял дар небес с легкостью чисто восточной. Заметив, однако, что благородная англичанка ждет, что он разведется и женится на ней, тотчас прекратил с ней всякие отношения.

Тем временем узнала влюбленная, что кумир поместил часть ее денег в банк к иудею. Влюбленная, вне себя, чрез верного своего рыцаря пригрозила князю, что все расскажет княгине.

– Напрасный труд, ваша милость, – на старинный лад отвечал сей галантный кавалер. – Княгиня только и скажет: «Бедняжка мой! В поте лица добывает нам пропитание!».

Надобно отдать должное и княгине. И она в поте лица добывает им пропитание. С утра до вечера сидит ее сиятельство в швейной мастерской, ею устроенной. И князь нет-нет да и осчастливит заказчиц, поклонниц своих, мелькнув в мастерской с вялым скучающим видом. По временам же, поддавшись русским тоске и раскаянию, князь впадает в мистицизм и бичует себя до бессилья и до крови.

Таков странный мир, нарисованный нам со сдержанной силою госпожою де Краббэ. Детство ее, как ощущает читатель, прошло близ замка Эльсинор, в коем все еще мечется призрак Гамлета, принца Датского.

После пьяного моего буйства прошла неделя. В следующую субботу леди Икс привела к нам махараджу из Алвара. Вечер был в самом разгаре. В зале царил полумрак, гости сидели на полу на подушках, слушая цыганский хор. Тут вступили в залу алварский махараджа, леди Икс и пышная свита.

С дальнего конца зала, сидя в углублении на ступеньке, я увидел сиятельного владыку, разодетого в пух и увешанного брильянтами. Грациозно и совершенно непринужденно он подошел ко мне. Я встал навстречу и предложил гостю кресло, однако он отказался и не сел вовсе, объяснив, что сидеть в кресле, если хозяин дома сидит на полу, у индусов не принято. Но мы в Булони, а не в Индии! Все ж я не спорил, чтобы не мешать пению. Просто поднялся и встал рядом с поборником индусского этикета. Впрочем, какой этикет, когда у ног моих сидели дамы, иные немолодые, но, видно, считавшие, что, сидя

на полу, они молодеют на двадцать лет.

Когда пение окончилось, я сделал пояснения. Попросили спеть меня самого. Индус, ни разу не слышавший русских песен, слушал крайне внимательно. Потом горячо меня похвалил и ушел, пригласив отобедать с ним на другой день.

Обед поистине царский ждал меня назавтра в отеле «Кларидж», где махараджа со свитою занимали целый этаж. Индус-адъютант стоял в холле, двое – у лифта на входе и выходе, еще двое распахнули двери в махараджевы апартаменты и ввели меня в гостиную, где был сервирован стол на две персоны.

Пришел я в «Кларидж» в час. Ушел в шесть. За это время выдержал я самый что ни на есть экзамен. И о чем только не спросил махараджа: о политике, философии, вере, любви, дружбе. Обо всем спросил.

Сперва пожелал узнать, монархист я или республиканец. Отвечал я, что – монархист и убежден, что только такая форма правления способна обеспечить моему народу счастье и процветание.

– Вы верите в Бога? – спросил тогда махараджа.

– Да. Верю. Я православный. Но не считаю православие важнее прочих конфессий. Пути к истине, на мой взгляд, различны. Но все равно хороши, ежели озарены любовью к Богу.

– Вы философ?

– Философ. Философия моя, как вера, проста: слушайся сердца прежде разума. И жизнь я принимаю как есть, не мудрствуя лукаво. Мой любимый философ – Сократ. Высшая мудрость в его словах: «Я знаю, что ничего не знаю».

– А как, – продолжал махараджа, – вам видится будущее России?

– Россия, по-моему, распята, как Христос. И так же воскреснет. Но силой не оружия, а духа.

Махараджа, ни слова на то не сказав, перешел на другое. Внимательней всего он выслушал мое мнение о любви и дружбе:

– О них, по-моему, все сказали, но говорить будут до скончания мира. Трудно определить, где кончается дружба и начинается любовь. Но дружба, любовь ли, главное в любом подлинном чувстве – взаимное доверие и самоотдача. А устанавливать, что можно, а что нельзя в отношениях двух существ, – глупость. По-моему, каждому – свое.

Интерес его ко мне временами пугал меня, но и меня тянуло к махарадже взаимно. Эта тяга объяснялась, видимо, странным его обаянием, то исчезавшим, то вновь возникавшим за долгие годы знакомства нашего, пока жив был странный индус.

Оказалось, он терпеть не может собак. Когда он в первый раз

приехал к нам ужинать, то, не успев выйти из автомобиля, вступил в схватку с нашими мопсами. Собачонки с яростным тявканьем бросились на него, решив стоять насмерть, но в дом махараджу не пускать. Махарадже в тот день не везло. За ужином подали телячье жаркое. Гость к нему не притронулся. Совсем мы забыли, что корова для индусов священна.

Когда сам он устраивал званый ужин, гостей кормил привычными вещами, но если звал и меня, то угощал тем, что ел сам. Притом усаживал меня на почетное место, кто бы на ужине ни присутствовал.

Однажды соседом моим за столом оказался министр его, величественный белобородый старец. Он стал расспрашивать меня о семейных корнях. Я и скажи, что ведем мы свой род от пророка Али. Тотчас старец вскочил, встал за моим стулом и так и простоял до конца ужина. Я был поражен и сконфужен. Махараджа, видя мое смущение, объяснил, что министр принадлежал к секте поклонников пророка Али, а для члена секты всякий потомок пророка Али непременно священен. Моя канонизация явилась для меня полной неожиданностью. Ей-Богу, я и в бреду о таком не помыслил бы!

Накануне своего отъезда махараджа позвал меня на прощальный ужин. На сей раз ужинали мы тет-а-тет, и захотелось ему нарядить меня индусским принцем. Он привел меня в гардеробную и открыл шкаф. Ахнув, увидал я море расшитых шелков и парчи золотой и серебряной.

Он просил меня надеть парчовое серебряное облачение, шаровары тончайшего белого шелка и чалму. Чалму он собственноручно навил мне на голову. Потом слуги принесли шкатулки с украшениями. Меня драгоценностями было не удивить, и все ж обомлел я, увидав эти жемчуга и брильянты. А таких совершенных изумрудов с куриное яйцо я и представить себе не мог.

Хозяин мой приколол мне к чалме брильянтовый аграф и надел на шею гладкие изумрудные бусы, перевитые жемчужными нитями.

Я посмотрел на себя в большое зеркало... Так бы и смылся теперь с баснословным состоянием на себе самом! Что бы сказали прохожие... и полицейские?

Махараджа прервал мои размышления.

– Если вы, ваше сиятельство, согласитесь последовать за мной в Индию, все эти драгоценности будут ваши.

Ей-Богу, «тысяча и одна ночь»!

Я ответил, что бесконечно благодарен ему за предложение столь щедрых даров, но, к величайшему своему сожалению,

вынужден отклонить его, ибо связан обязательствами семейными и деловыми.

Он молчал и смотрел на меня. В тот миг, показалось мне, он был таков, каков есть: сатрап гордый, властный и взбалмошный, а не ровен час, и жестокий.

Вернувшись в Индию, махараджа писал мне. Распечатав первое письмо, я так и подскочил. Вверху страницы стояло название штата его, и звучало оно: *Раджпутана.*

Глава 5

1922–1923. Миссис Хфа-Уильямс в Нейи – Отзыв британца о России довоенной – Тетя Козочка – Мучительный обед в «Ритце» – Женитьба Федора – Получаю предложение из Голливуда – Продать брильянты трудно – Гульбенкян дает в долг на выкуп Рембрандтов – Отказ Виденера – Отъезд в Америку

Моя старинная подружка миссис Хфа-Уильямс обосновалась после войны в Нейи. С радостью увидел я, что в новом ее особняке дух и убранство те же, что были в Англии. Сама она постарела, но сохраняла и веселость, и гостей: толпу молодых поклонников со всех концов света и артистов, звезд и звездочек. В Англии собрала она для меня газетные вырезки – статьи об убийстве Распутина, писанные в ту зиму знакомыми моими, знавшими меня по оксфордской поре. Один из моих однокашников, Сетон Гордон, в очерке «Старая Россия» рассказывал о тех днях 1913 года, когда гостил он у родителей моих в Петербурге. Думаю, любопытно узнать впечатления британского подданного о довоенной России. Привожу отрывок.

> «В Санкт-Петербурге привезли меня в юсуповский дворец и представили родителям графа Эльстона. Годы прошли с тех пор, но память о том свежа во мне и сегодня. Княгиня Юсупова, прямой отпрыск царского татарского рода, была красива, хороша и породиста. Супруг ее, статный и сильный, имел солдатскую твердость и выправку.
>
> Юсуповский дворец был гостеприимен. Всякий день давались ужины на тридцать – сорок персон. Великолепные вицмундиры, робронды и драгоценности сверкали в мягком свете люстр. Восхитили меня вина и блюды, а более того – беседы. Русская знать бегло говорила на нескольких иностранных языках и, беседуя, легко переходила с одного на другой, в зависимости от темы: об искусстве говорили по-итальянски, о спорте – по-английски и т. д...
>
> В Лондоне гуляку-туриста вмиг истолкали бы пешеходы. Не то в Петербурге. В 1913 году жили тут не спеша. Фланировали, словно на Гебридах, гуляй вволю. Да, именно – «воля». Хотя, заговори о нынешней российской тайной полиции, кто-нибудь да скажет с дрожью: «У нас она была испокон веков». Не верю. На

собственном опыте проверял. Гулял где хотел, часто с камерой на плече, и в городе, и за городом, и никто на меня даже не глянул…

Много воды утекло под невскими мостами с тех моих темных мартовских петербургских ночей 13-го года. Многие знакомые мои петербуржцы погибли в революцию, которая потрясла Россию до основания! Многие бросили родные дома и бежали на чужбину от зверств войны и злобы! Родилась Россия новая, какая – не мне судить. Одно скажу: в прежней – народ был красив и умен, чувствен, быть может, не в меру, зато благороден и щедр.

Русского императора более нет. Русская знать рассеяна по всему миру. Но любовь к отчизне живет в сердцах изгнанников – и князей, и крестьян, – и, хоть не суждено им вернуться на родину никогда, душа их останется в России вечно».

Всякий раз, навещая в Риме моих родителей, мы убеждались, что дочку нашу пора у них забрать. Дитя росло и становилось капризным и своевольным. Родители, как все деды с бабками, баловали внучку и были у нее в подчинении. Требовалось, понятно, все переменить. Но, оказалось, не обойтись без драм. Родители относились к малышке Ирине как к собственному чаду и расстаться с ней не мыслили. Мы, однако, вполне уж были устроены и могли забрать дочь к себе. Пожелай родители жить с нами – все бы и разрешилось. Но отец с матерью не выносили беспорядочно-богемного духа в нашем булонском доме. В нем они глядели бы чужаками. В Риме было им лучше.

В то время они жили у княгини Радзивилл, дальней матушкиной родственницы. Княгиня была весьма корпулентна, но звали мы ее «тетя Козочка» за легкость и грациозность. К тому ж умом она обладала тонким и острым. Держала она отменного повара, жила открытым домом и гостей потчевала по-королевски. Пастырей церкви, политиков, именитых иностранцев, все в Риме мало-мальски замечательное, видели у нее. Ее горячность и чувство юмора были на радость всем. Посетив однажды Муссолини, беседой она увлекла его так, что он, уделяя посетителям, как правило, не более десяти минут, с ней проговорил почти два часа. Молодость провела тетя Козочка бурно и, не краснея, о том вспоминала. «Нынче, – говаривала, – в постель ложусь только с собственным брюхом».

Были у нее потрясающей красоты жемчужные бусы, подарок Екатерины княгининой прабабке. Носила их, почти не снимая.

Однажды их украли. Княгиня бусы нашла и впредь прятала их перед сном в ночную вазу, говоря, что «говно вор не крадет».

Огромное состояние, которое имела она в России, пропало. Жизнь тем не менее она вела роскошную, к неудовольствию многочисленных своих детей. Остатки богатства, бывшие в Европе имения, дома и брильянты, потихоньку продавались. К концу жизни она потеряла все, кроме жизнелюбия. Цену деньгам знать она не желала. Однажды она попросила меня оценить стоимость ее украшений. Я считал, что у нее давно и нет ничего, и с удивлением услышал, как велела она горничной принести брильянты. Решил я, что это, верно, остатки знаменитых радзивилловских сокровищ. Оказалось – старые медальки, которым грош цена. Мое изумление привело тетю Козочку в восторг. «Да, это все, что осталось!» – воскликнула она со смехом. Ей это было смешно. С того дня, признаюсь, я по-настоящему зауважал ее.

Когда в очередной раз гостил я в Риме, родители попросили меня увезти и продать в Париже ожерелье из черного жемчуга и брильянтовые серьги Марии Антуанетты. В Риме в те дни познакомился я с заезжим иностранцем, искавшим для женушки историческое украшение. Жена была в Париже, так что условились мы, что драгоценности я привезу и покажу ей.

Приехав, я тотчас телефонировал ей в «Ритц» и просил назначить встречу. Она пригласила на завтрашний обед, прося привести товарища – в кавалеры для подруги, жившей также в «Ритце». Дело, кажется, принимало странный оборот... Ну, да ладно. На другой день я мобилизовал Федора, и мы явились в гостиницу. О ужас!.. Ожидали нас две уродины: расфуфыренные и размалеванные старухи с головы до пят в побрякушках. Фальшиво в них было все, кроме золота. Ожидая нас, старухи, по-видимому, откушали изрядно коктейлей и теперь, оскорбляя слух и взор, говорили чересчур громко. Хотели, по всему, привлечь внимание и своего добились. В ресторане было полно народу, многих мы знали. Заметив в дальнем углу короля Иммануила, я отвел глаза. Мне передали от него записку: «И тебе не стыдно водиться с такими?» Обед наш был пыткой. Спеша ускользнуть от всех взглядов, я предложил красоткам пить кофе у них в номере. Они одобрили и осмелели вконец. Когда речь зашла об украшениях, я сказал, что забыл их дома. Думать, что матушкины бусы и серьги нацепит обезьяна, было невыносимо. Вскоре я мигнул Федору, и мы покинули «Ритц» с глубочайшим отвращением.

С тех пор как мы жили в Европе, жизнь Федора была связана с нашей. Он поехал с нами в Англию, потом оставался у нас в

булонском доме и почти всегда сопровождал нас к моим родителям в Рим. Расстались мы, лишь когда он женился. Было это в июне 1923 года. Венчались в русской церкви на улице Дарю. Женой его стала Ирина Палей, дочь великого князя Павла Александровича от второй жены. На брак Федора мы возлагали большие надежды. Увы, союз оказался неудачным. Несколько лет спустя они разошлись, и Федор вернулся жить к нам.

Приходится признать: последствия поступков наших всегда нами ожидаемы, но порой совершенно неожиданны. Действительно, никак я не ждал предложения, которое сделал мне некий американец, уже одной настойчивостью своей ставший мне неприятен.

Я уж заранее был настроен против. Дело довершили манеры его: явившись, не снял ни пальто, ни шляпы, даже не вынул сигары изо рта. Он объявил мне, что приехал из Голливуда от одной американской кинокомпании, предлагавшей мне за кругленькую сумму сыграть самого себя в фильме о Распутине!

Мой отказ удивил его, но не обескуражил. Решив, что все дело в цене, он удвоил, утроил, удесятерил сумму! Насилу убедил я визитера, что он даром теряет время. Наконец янки ушел, но дал-таки волю раздражению, выпустив парфянскую стрелу: «Ваш князь – идиот!» – бросил он моему озадаченному лакею. И вышел, хлопнув дверью.

А с деньгами было все хуже. У нас оставались еще кое-какие украшения и ценные вещи. Эти не хотелось спустить за бесценок. Я знал, что в Америке продать их можно выгодней. Решил я отправиться в Штаты с заездом к родителям в Рим. Их я тоже хотел уговорить дать мне на продажу в Америке свои драгоценности. На вырученные деньги они смогли бы существовать.

Отца с матерью не видел я много месяцев. Они, как показалось мне, постарели и сдали. Их надежда на возвращение в Россию рухнула. Да и потом, они, конечно, сильно скучали по внучке. Я опять принялся уговаривать их переехать к нам в Париж, и опять ничего не добился. Они любили Рим, привыкли жить в нем и сниматься с места не хотели.

Матушка не одобрила нашу затею с Америкой. Боялась быть так далеко от нас. Уговорила остаться и попробовать продать вещи во Франции или в Англии. И несколько недель я челночил из Парижа в Лондон, и все без толку. Ювелиры словно сговорились. Приношу жемчуг – просят брильянты. Несу брильянты – хотят рубины и изумруды. О брильянтах Марии

Антуанетты сказано было, что-де приносят несчастье. То же с черным жемчугом.

Расскажу характерный случай. Продал я наконец брильянтовые серьги Марии Антуанетты американке. Вручил их ей в обмен на чек. Поехал с ней, по ее предложению, в банк. К несчастью, вздумалось даме по дороге зайти на рю де ля Пэ к знаменитому ювелиру. Ждал я ее в машине с беспокойством. И недаром беспокоился. Вскоре она вышла с расстроенной физиономией, вернула мне серьги и попросила чек обратно. Ювелир сказал, что брильянты великолепны, цена умеренна, но, если хозяйку их обезглавили, стало быть, они несчастливые. И таких случаев было у меня сколько угодно.

С Европой испробовали все. Я махнул на нее рукой и решил попытать счастья в Новом Свете. Была и другая причина ехать. Ведь я еще не отчаялся выкупить своих Рембрандтов у Виденера. Срок выкупа истекал 1 января 1924 года, а дело было в конце 23-го. Мэтр Баркер в письме снова подтвердил, что говорил прежде в Лондоне. По его словам, второй договор, который помимо воли подписал я, не отменял первого, составленного Виденером собственноручно.

«Я уверен, – писал мне Баркер, – что, если до истечения срока вы наберете деньги на выкуп картин, Виденер не вправе будет отказать. Любой суд решит дело в вашу пользу».

Два года я тщетно искал на Рембрандтов деньги. Незадолго до рокового дня посчастливилось мне встретить Гульбенкяна, ближневосточного нефтяного магната, которому я рассказал о виденеровском деле. Узнав обо всем, он предложил мне на выкуп ссуду через банк. Мало того, он не взял с меня никакой расписки, а только просил не продавать картины, а если продавать – ему и никому более.

Деньги я послал нью-йоркскому адвокату, поручив передать их Виденеру в обмен на картины. Виденер отказался. Я готов был вчинить ему иск, однако все же надеялся договориться с ним на месте.

Ехать не хотелось. Ехали не на гуляние, да еще расставались с восьмилетней дочкой, которую и так прежде почти не видели. Малышка была безутешна, что мы уезжаем. Взять ее с собой мы не могли, приходилось оставить ее на гувернантку мисс Кум, даму безупречную во всех отношениях, сполна оправдавшую нашу любовь и доверие. По правде, задача ее была не из легких. Характером дочка вышла в отца. Вспоминая свое собственное детство, я порой от души жалел несчастную воспитательницу.

Единственная радость была в нашей поездке: компанию нам собиралась составить баронесса Врангель, наш замечательный

друг. После разгрома белой армии они с мужем жили в Брюсселе и все время и силы отдавали помощи эмигрантам. Баронесса решила съездить вместе с нами в Штаты, надеясь найти там существенные средства для их дела.

В последний миг чуть было не сорвалось. Телеграмма от моей матери догнала нас в Шербурге: у отца случился удар, положение серьезно. Мы собрались отложить Америку и уехать в Рим. Однако вторая телеграмма успокоила нас. Опасность в данный момент миновала. Матушка просила не тянуть с отъездом.

Погожим ноябрьским днем 1923 года мы со всеми нашими фамильными брильянтами и ценностями сели на борт парохода «Беренгария» рейсом в Нью-Йорк.

Глава 6

1923–1924. Американские репортеры – Драгоценности конфискованы таможней – Радушный прием нью-йоркского общества – Трудные дни – Вера Смирнова – Наши обжедары у Элси Вульф – Виденер неумолим – Повезло – Русская колония – Уголок России в Америке – Танцоры-кавказцы – Организация международного фонда помощи эмигрантам – Пылкое дитя гор – Возвращение во Францию – Мое пребывание в Америке глазами Москвы

Путешествие прошло спокойно. На пароходе не знали, кто мы такие. Назвались мы графом и графиней Эльстон, и нас оставили в покое. Но, увы, только на время плавания. Не успели ошвартоваться – толпа репортеров с вожаком устремилась к нам. Было восемь утра. Мы едва проснулись. В дверь заколотили сильно и требовательно. Тем, кто не имел дела с американскими газетчиками, и не объяснить, что это за бич Божий. Молодцы набились в коридор и устроили толковище у нашей каюты. Пришлось телефонировать стюарду и просить увести их от двери, чтобы мы могли по крайней мере одеться.

Когда мы вошли в кают-компанию, куда в ожидании переместились они, стало ясно: живыми отсюда не выйдем. Их было человек пятьдесят. Обступили, наскакивали, кричали наперебой. Я подмазал их, угостив шампанским. И мы полюбили друг дружку. Тут, однако, пришли сказать, что американские власти противятся моей высадке, так как по американским законам убийцам въезд в Америку запрещен... Долго пришлось доказывать почтенным чиновникам, что я не профессионал.

Наконец, уладилось. Уладилось, да не все. Сойдя с парохода узнали, что все наши драгоценности и ценности конфискованы таможней! Итак, первый блин комом.

Миссис В.К. Вандербильт встретила нас и отвезла к себе обедать, а потом проводила в отель, где ждали нас заказанные апартаменты. Пришел директор. Важно и с выражением объявил он, что все меры безопасности приняты, полиция бдит, а пищу нам для верности готовит специальный повар. Я просил поблагодарить полицию за старания, но заверил, что беречь нас особой необходимости нет.

Мои первые впечатления от Нью-Йорка, верно, как и у всех приезжих из другого мира. Потрясение, растерянность, интерес. Однако ж я быстро понял, что для жизни нью-йоркской не гожусь: никогда не приспособлюсь к ее ритму. Совершенно чужды мне и

вечная спешка, и гонка за барышом.

Впрочем, ничто не помешало нам оценить нью-йоркское гостеприимство. Приглашения посыпались со всех сторон. Только успевай отвечать. Чтобы прочитывать почту и принимать посетителей, пришлось взять двух секретарей.

Но нет, в Новом Свете нам решительно не везло. Одна левая газетка вдруг вздумала утверждать, что драгоценности свои мы украли у императорской семьи! В стране, где все мимолетно, на час, и люди жадны до новых сенсаций, новость разлетелась вмиг. На нас стали коситься... Продадим ли теперь «ворованное добро», верни нам таможня драгоценности?

А власти все думали – вернуть, не вернуть? Впрочем, в нью-йоркском обществе мы по-прежнему были нарасхват.

Один вечер мы никогда не забудем. Дали банкет в Иринину честь. Роскошный дом, блестящий прием. Поднялись мы по круговой беломраморной лестнице. Наверху встречала хозяйка с видом торжественным – видимо, в силу торжественности момента. Она ввела нас в залу, где гости стояли полукругом, как на официальных приемах.

Ирина перепугалась, увидав, что все взгляды нацелены на нас, и заявила, что уходит. Я свою жену знал. Слово у нее не расходилось с делом. И не было бы счастья, да несчастье помогло – самым неожиданным образом.

Выйдя на середину залы, хозяйка величественным жестом указала на нас и громко возвестила: «Князь и княгиня Распутины!»

Гости обомлели. Нам было страшно неловко, больше даже за хозяйку, чем за себя. И, однако ж, комизм ситуации перекрыл все.

На другой день о «чете Распутиных» рассказали газеты. Хохотал весь Нью-Йорк.

Мы стали популярны, как кинозвезды, как слон в зоопарке.

Однажды в гостях подбежала к нам юная американка и уперла палец в Иринино колено: «Первый раз вижу настоящую княгиню! – крикнула она. – Позвольте дотронуться!»

Вдругорядь незнакомая дама написала мне, прося принять ее секретаря по вопросу сугубо личному. Секретарь явился и сразу приступил к делу:

– Хозяйка хочет от вас ребенка, – объявил он. – Каковы ваши условия?

– Миллион долларов, и ни цента меньше, – ответил я, еле сдерживаясь от смеха. И указал ему на дверь.

Бедняга вышел с разинутым ртом, и я нахохотался досыта.

Драгоценности наши по-прежнему лежали на таможне, а деньги у нас кончались. Гостиница стала не по карману. Надо было найти жилье поскромней. По совету знакомых нашли квартиру: недурную, крохотную, но удобную и дешевую. Тотчас и переехали.

В те дни познакомились мы с исполнительницей цыганских песен Верой Смирновой. Она влюбилась в нас, особенно в Ирину. Жена моя стала для нее кумиром. Вера врывалась к нам в любое время дня и ночи, как правило, в цыганском наряде. Сермяжная русская натура, была она взбалмошна и не ведала ни границ, ни приличий. Давно уже стала попивать, думая, как и многие, что этак забудет тяготы жизни. Голос ее был глубок и низок, а песни грубы и грустно-нежны. Имела она мужа, которого мучила, и двух маленьких дочек.

Как-то Ирина собралась на несколько дней за город, и Вера сказала ей, чтоб не волновалась: за мной, мол, она присмотрит. И присмотрела. Устроилась в вестибюле дома, где мы жили, и записывала имена всех, кто ко мне приходил.

Таможня вернула нам бусы из черного жемчуга, коллекцию табакерок, миниатюр и всякие ценные безделушки. За остальное потребовали пошлину в восемьдесят процентов от стоимости каждой вещи. Это было нам не по средствам.

Элси Вульф – впоследствии леди Мендл – держала в то время магазин со всяким декором. Она и взяла у нас на продажу безделушки. Я самолично расставил их в витрине в одном из залов. Миниатюры в брильянтовой осыпи, табакерки с эмалью, золотые часы, греческие боги и китайские идолы, бронзовые или из цельного рубина и сапфира, восточные кинжалы с рукоятями в самоцветах – остатки былой роскоши – разместил я в точности, как стояли они за стеклом у отца в кабинете в нашем доме в Санкт-Петербурге... Сходство не из веселых.

На мою выставку устремился весь Нью-Йорк. Элсин магазин вошел в моду. Но и только. Люди приходили поболтать и поглазеть на сокровища, а вернее – на нас с Ириной. И разглядывали безделушки, и нас, и жалели нас, и от души пожимали нам руки, и уходили, ничего не купив. Одна растрепанная экстравагантная дама пришла в магазин и потребовала показать ей *the black ruby* (черный рубин). Она, дескать, для того приехала из Лос-Анджелеса и не уедет, пока не увидит. Еле отделались мы от любознательной гостьи.

Вещи не продавались, и отнес я все в фирму Картье. Пьера Картье знал я лично. Человек он был услужливый и честный. На его содействие мог я вполне рассчитывать.

А деньги у нас кончились. Никто о том не догадывался, ибо трудностей своих мы ни с кем не обсуждали. В Нью-Йорке главное не что в душе, а что за душой. И мы по-прежнему вечерами выходили в свет, Ирина – в черном жемчуге, я – во фраке. Ночью Ирина мыла белье в ванной. Днем я бегал по делам, своим и эмигрантским, а Ирина убирала и стряпала.

Наша фанатично преданная Смирнова изредка приходила помочь. Выступала она в ночном кабаре неподалеку от нас и заявлялась часто в пять утра с карманами, полными снеди, которую утянула со столов своего заведения. Однажды принесла колоссальный букет цветов – еле втащила. Ирина знала, что она сама без гроша, и попеняла ей, что попусту тратит деньги. «Да не тратила я, – сказала Вера. – Он стоял в вазе в отеле „Плаза“. Я взяла, и бежать. Никто не заметил». Порой она приходила к нам на весь день, взяв с собой дочек и заперев мужа в чулане или уборной.

В эти постные наши дни из Парижа приехал мой шурин Дмитрий и устроился жить у нас. Он-то ждал, что у нас денег куры не клюют, и охал и ахал, узнав, что мы чуть что не побираемся.

Рембрандты тем временем лежали у Виденера, а гульбенкяновские, то есть теперь мои 225 000 долларов – в банке. Это при том, что в кармане у меня пусто. Через моего адвоката Виденер известил меня, что желает повторно купить картины, но цену предлагал негодную. Но главное: я уж обещал Гульбенкяну. Адвокаты, однако, думали иначе. По их мнению, обещание на словах – все равно что ничего. С точки зрения профессиональной они, конечно, были правы. Но с точки зрения человеческой слово для меня равносильно подписи. И я сказал, что, если суда не миновать, я готов.

Наконец черный жемчуг продали. И жизнь наша сразу изменилась. Ни стирок более, ни готовки с уборкой. Настал период временного благополучия.

Русская колония в Нью-Йорке была достаточно велика. Встретили мы старых знакомых. Оказались тут друзья наши полковник Георгий Лиарский, товарищ мой по гимназии Гуревича, талантливый скульптор Глеб Дерожинский, сделавший в ту пору прекрасные скульптурные бюсты, Иринин и мой. Новые нам люди барон с баронессой Соловьевы скоро также сделались нашими друзьями, притом близкими. Посещали мы круги в основном художественные и музыкальные. Рахманиновы, муж с женой Зилоти и особенно жена прославленного скрипача Коханского отнеслись к нам с огромным участием в наши самые тяжелые дни. Однажды Рахманинов исполнил свою знаменитую

прелюдию до-диез минор, а после дал интересное объяснение, сказав, что прелюдия выражает муки человека, заживо погребенного.

Барон Соловьев работал у авиаконструктора Сикорского и однажды сводил нас к нему. Только что у себя в мастерской с помощью всего шести русских офицеров-авиаторов Сикорский построил свой первый самолет. Визит закончился обедом в загородном домике Сикорского, где жил он с двумя своими старухами сестрами.

Иногда Соловьевы возили нас к другу своему, генералу Филиппову, купившему частное владение в горах в четырех часах езды от Нью-Йорка. Проводили мы там прекрасные дни, особенно Ирина, уставшая от светской нью-йоркской жизни. Это был уголок России. Хозяева, жилье их, домашний уклад, даже снег вокруг словно говорили нам, что мы дома, на родине. Днем катались в санях, вечером, отведав борща и пожарских котлет, собирались у камина, набитого дровами. Одним каминным пламенем комната освещалась... Я брал гитару, и пели мы русские песни. Счастьем было сидеть здесь, вдали от Нью-Йорка, от нью-йоркской утомительно-светской суеты и фальши.

Существовал в ту пору в Нью-Йорке ресторан «Русский Орел», принадлежавший генералу Ладыженскому. Генеральша, для близких Китти, была уж не первой молодости, но лихо, как девица, отплясывала русскую в сарафане и кокошнике с двуглавым орлом. Плясала она и цыганочку, а то и менуэт в робронде и пудреном парике. Но, конечно, не на нее ходили мы в «Орел», а на трех танцоров-кавказцев в белых черкесках. Один из них, Таухан Керефов, танцевал особенно замечательно.

Русский Красный Крест в Штатах, как, впрочем, и везде, остро нуждался в средствах. Председатель его, г-н Бурмистров, обратился к нам за содействием. В ответ мы организовали международное общество «Russian Refugee Relief Society of America and Europe». Целью его было обучение русских эмигрантов ремеслу, позволявшему прокормиться теперь и в будущем.

Ирина от себя лично бросила клич по Америке и Европе: «Прошу, помогите! – писала она. – Помощь ваша позволит изгоям снова стать членами общества. И в день возвращения на родину они вспомнят с любовью и благодарностью тех, кто помог им на чужбине в трудную минуту».

Откликнулись многие влиятельные люди. Появились комитеты по организации благотворительных аукционов и вечеров. На славу удался нам бал, данный в пользу кавказских

эмигрантов. Живописные танцоры и дети танцоров с их лезгинками были гвоздем программы. Успех огромный. Сбор тоже. Благодаря в основном Керефову, старавшемуся для нас, не щадя сил. Он был и устроитель, и исполнитель. Таухан, как и все кавказцы, дружбу ставил превыше всего. Верно, я заслужил его дружбу тем, что спас кавказских эмигрантов от голода, а его самого – от электрического стула. Красив и обаятелен, он был вечный дамский любимчик. Так, влюбилась в него одна замужняя дама и его стараниями забеременела. Но уговорами секретаря обманутого мужа и трудами повивальной бабки нежеланное дитя не появилось. Таухан, узнав о том, разгневался. Тонкостей в законах нашей европейской чести дикарь не понял. За убитого отпрыска он ничтоже сумняся решил убить разом и жену, и мужа, и секретаря, и повитуху. И для того немедленно купил револьвер. По счастью, накануне массового убийства он вздумал прийти ко мне излить душу.

Мы бурно говорили всю ночь. В результате от мести Таухан отказался. И с тех пор стал мне рабски предан. Так что, когда мы уехали из Соединенных Штатов, он последовал за нами.

Пришла весна. В Нью-Йорке прожили мы с полгода. Не терпелось вернуться домой. Виденер уперся. Ясно было, что придется судиться. Драгоценности, не имея средств, вызволить с таможни я не мог.

Деньги от продаж у Картье я поместил в предприятие, связанное с недвижимостью, и, получив назад «сокровища Российской Короны», мы отплыли во Францию. Нью-Йорк, гостеприимный и утомительный, покидали и с грустью, и с облегчением. Американская страница, казалось мне, перевернута. Мы радовались, что скоро увидим дочку и булонский дом, ставший в изгнании вторым родным.

Несколько дней спустя по приезде в Париж в числе вырезок из американских газет получил я статью под заголовком: «Приключения князя Юсупова в Америке». Напечатала ее просоветская русская газетка, издаваемая в Нью-Йорке.

> «Из Москвы по телефону:
>
> Из Москвы нам сообщают о неслыханном скандале, учиненном в Нью-Йорке светлейшим князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном.
>
> Прибытие князя Юсупова в Нью-Йорк наделало много шуму. В американской печати только и разговору было о нем. Всюду фото и интервью.

Юсупов пустился в спекуляции, открыл игорный дом и в конце концов оказался на скамье подсудимых. И по сей еще день говорят о нем в связи с двумя скандальными процессами. Первое дело таково. Светлейший князь соблазнил танцовщицу фокстрота из ночного кабаре. Бедная Мэри оказалась девицей. Чтобы выйти сухим из воды, князь предложил ей вместо денег картину Рубенса, которую, когда бежал, прихватил из своего петербургского дворца. Девица, зная, что почем, согласилась. Все было шито-крыто до поры, когда захотела она продать княжеский подарок. Оказалось, Рубенс – подделка, копия, сделанная за десять долларов нью-йоркским мазилой. Оригинал же продан нью-йоркцу-миллионеру и в настоящее время висит на видном месте в доме его на Пятой авеню. Дело разбирается в суде.

Вторая плутня и того пуще. Юсупов выступил в качестве оценщика гобеленов одного русского эмигранта. Светлейший князь ручался, что ковры происхождением из Версаля и прежде принадлежали великому князю Владимиру. Таким образом, они были проданы за баснословные деньги, с которых Юсупов, разумеется, сорвал хороший процент. Впоследствии, однако, выяснилось, что и гобелены – подделка. Поступок князя с девицей нью-йоркские газеты называют бессовестным, а дело с гобеленами – бесчестным».

И что бы подумали американцы, читай они по-русски и прочти они в красно-желтой газетенке, что дорогой их гость – негодяй и мошенник!

Глава 7

1924. Дома в Булони – Малышка Ирина – Поездка в Рим – Болезнь отца – Снова махараджа – Доктор Куэ – В Версале с Бони – Провозглашение императором вел. князя Кирилла – Династический вопрос – Раскол русской церкви – Дом «Ирфе» – Торжественное открытие не состоялось – Мадам В. К. Хуби

Наконец-то мы дома, с нашей дочкой, почти барышней. Девочке исполнилось девять лет. Она выросла и похорошела. На прелестной ее мордочке прочитывались ум и воля. У нее был особый шарм. Она это быстро поняла и использовала тонко и ловко. Но по своенравию ее учить дома стало трудно. Кроме того, общество сверстников пошло б ей на пользу. Решили мы отдать ее экстерном в школу Дюпанлу. Школа, вдобавок, была в двух шагах – в бывшем прабабкином доме. Школа девочке понравилась, и, будучи к тому ж самолюбива, учиться она стала прекрасно.

Дома засиживаться мы не могли. Надобно было спешить в Рим. Отец болел. Матушка беспокоилась и с нетерпением ожидала нас.

Состояние отца глубоко меня расстроило. Еще недавно был он бодр и полон сил. Не прошло и полгода, как увидел я дряхлого старика, в постели, скрюченного, с завалившейся набок головой и неразборчивой речью. Врач, однако, уверял, что состояние отца, вопреки видимой немощи, сносно и протянуть он так может долго.

Матушка была самоотверженна и спокойна. Много помогали ей тети Козочкины доброта и такт. Привязанность подруги и для матушки, и для нас в эти грустные дни стала бесценной.

Вернувшись в Булонь, я нашел письмо алварского махараджи. Он был проездом в Париже и звал проводить его в Нанси к доктору Куэ.

Мсье Куэ был знаменитостью. Говорили, он творит чудеса. Я воспользовался приглашением махараджи узнать его лично. Жил он в Нанси, в домике с большим садом, где всякий день паслось множество пациентов. Доктор оказался скромным пожилым человеком с приятным улыбчивым лицом. Он тотчас стал излагать нам свою методу. Заключалась она в постоянном, денном и нощном повторении фразы: «С каждым днем мне лучше и лучше, во всех отношениях». Твердить следовало, как перебирать четки. Слова «не могу», «не получится», «сложно»

следовало заменить на «могу», «получится», «просто». Воображение наше, по мнению доктора, одолевало волю и вызывало болезни. Укротить воображение значило победить болезнь.

Вопреки уверениям, доктор Куэ не был чудотворцем. В 1911 году он создал институт, впоследствии названный его именем, и имел немало учеников. Эти практиковали столь же успешно.

Я и сам подобным способом не раз спасался от бессонницы.

И снова встречи с махараджей. То и дело мы обедали или ужинали вместе, ходили в театр, который обожал он, и, реже, в луна-парк, от которого и вовсе, как ни странно, был без ума. В отличие от меня. Любимой его забавой были головокружительные русские горки, как, впрочем, и другие рискованные аттракционы. Да и в жизни махараджа любил всякий риск. Никогда не забуду наше с ним катание на автодроме в «альфа-ромео», одном из самых быстрых гоночных автомобилей. Мы прикрепились к сиденью ремнями и бешено понеслись по дорожке. Когда автомобиль, засвистев, достиг предельной скорости, махараджа взвыл от восторга. Скорость он снизить не захотел, чтобы продлить удовольствие, и безумная гонка продолжилась. Свист разрывал уши. И долго после, когда уж покинули мы автодром, я все еще слышал его. Даже ночью во сне свистело в ушах.

Махараджа знал, что у меня бывают головокружения. Может, потому и вздумал он сводить меня на верхнюю площадку Эйфелевой башни. Когда поднялись мы, там, на верхотуре, он силой нагнул меня над парапетом и жадно смотрел на мою реакцию.

Шутки махараджи мне надоели. Сыт я был по горло капризами садиста, если не сказать маньяка. Видеться с ним я прекратил.

А с Бони де Кастелланом сошелся я ближе. Он часто забирал меня в воскресенье на прогулку по парижским пригородам. Лучше вожатого я не мог пожелать. У него был дар на комментарии и объяснения, и это добавляло интересу к нашим осмотрам. «Памятник, – говорил он, – тело, в котором заключен дух страны, эпохи и, главное, человека».

В тот день мы гуляли по Версалю. «Тут, – продолжал Бони, – ничто не случайно. План дворца представляет собою крест. Королевское ложе – на пересечении и равноудалено от залов Войны и Мира, которые, залы, как две чаши весов с орлом-равновесом посередке. Над спальней сразу крыша, ибо король ближе всех к небесам. Однако выше всего – часовня, во славу Божию. Но она помещена сбоку, а не посреди Версаля. Посреди –

суверенный правитель. Божьей милостью король Людовик XIV. И дворец его – посреди всего королевства. Лестницы вокруг дворца также символичны. Чем выше к королевским покоям – тем ближе к Господу». Версальские сады Бони называл «садами Разума».

Люди без чести и совести, грязными кознями расколов русское общество и ускорив гибель его, продолжали свое черное дело и в эмиграции. Цель у них была двойная: рассорить эмигрантов друг с другом и уронить их во мнении Запада.

В 1924 году два важных события посеяли смуту в эмигрантских умах. Первое – манифест великого князя Кирилла, царева двоюродного брата, провозгласившего себя императором всея Руси. Второе – раскол в русской церкви.

Политические игры великого князя Кирилла начались еще в 1917 году в России. И тогда позиция, им занятая, порицалась всеми патриотами и произвела невыгодное впечатление в Европе. И в 22-м году великий князь назвался хранителем трона, и вот теперь, в 24-м, провозгласил себя императором.

Поддержали его немногие. Большинство эмигрантов, начиная с императрицы Марии Федоровны и великого князя Николая, осудили его и будущим государем признать отказались.

Новость я услыхал в Брюсселе. Генерал Врангель, у которого я обедал в тот день, не мог скрыть возмущения. Показал он мне один хранимый им документ. В 1919 году нашла его белая армия в архивах города, покинутого большевиками. Это была программа большевистской пропаганды в Европе. Первым пунктом стояло провозглашение великого князя Кирилла императором всея Руси.

Узнав о намерениях великого князя, генерал Врангель послал ему копию документа и умолял не подыгрывать комиссарам. Ответа он не получил.

После убийства царской семьи отсутствие прямого наследника осложняло вопрос о престолонаследовании. Тот, кто этим интересуется, найдет в справке в конце книги три статьи из свода законов Российской империи, введенного Николаем I. Виднейшие юристы и по сей день не пришли к согласию относительно толкования данных статей. Вопрос легитимности русского престолонаследования остается неясен. Неясность эта, впрочем, на мой взгляд, не так уж страшна. Если быть в России монархии с сохранением той же династии, то собор, скорее всего, и выберет в младшем поколении Романовых достойнейшего.

Раскол среди церковных пастырей, признававших власть московского патриарха, и тех, кто признать ее отказывался, расколол и эмиграцию. Как монархия, так и церковь обязаны быть безупречны. Только так сохранят они свой престиж и благое

влияние. Эмигранты были как дети-сироты. Кто верил, тому церковный приход заменил семью. Божий храм с иконами для многих стал вместо родного дома. Они шли туда помолиться, обрести мир душевный и забыть боль. К счастью, вера в них была крепка, и раскол не отдалил их от церкви.

Вскоре по возвращении из Америки появилась у нас мысль создать вместе с несколькими друзьями модное ателье. Учитель рисования, из эмигрантов, сдал нам в аренду часть своего помещения на первом этаже в доме на улице Облигадо. Места было мало, сидели друг у друга на голове, особенно в часы уроков.

Ателье мы назвали «Ирфе», сложив первые буквы своих имен. Модельершей взяли одну русскую даму, немного эксцентричную. Модели ее были хороши, однако носил бы их не всякий. Да и средств на рекламу у нас не имелось. Впрочем, в тот год готовился в отеле «Ритц» бал с показом моделей одежды известных фирм. Не попытать ли счастья? Сказано – сделано. Правда, не все было просто. Вечер уж начался, Ирина и несколько приятельниц наших собирались сами демонстрировать платья. Платья, однако, находились еще в ателье, где их поспешно оканчивали.

На бал мы примчались с опозданием, впрочем, моделям нашим рукоплескали. На крыльях успеха кинулись мы искать помещение попросторней. Некий чех предложил апартаменты на Виктора-Эммануила III. Сказал, что уже обещал кому-то, но предпочтет нас, если получит от нас деньги вперед. Квартира мне понравилась, я заплатил. На другой день я пришел завершить дело, но квартира была заперта, а чех исчез. Я подал заявление в полицию, на том и кончилось. Жулика не нашли.

С агентством оказалось верней. На улице Дюфо, 19, нашли помещение подходящее: весь первый этаж дома, места сколько угодно для примерочных и пошивочных. В два счета все устроили, как хотели. Деревянная обшивка стен, крашенная серым, мягкая мебель акажу с серой кретоновой обивкой в цветочек. От желтых шелковых занавесок светло и весело. Обычные горки и столики. Однако, благодаря гравюрам и старинным редким вещицам, никакой пошлости. Мастера почти все русские. С нами же мой шурин Никита, жена его и Миша и Нона Калашниковы, милейшая пара. В шитье не понимаем, но дело процветает. Любимого незаменимого Буля посадил я на телефон. Он записывал клиентов и назначал время. Делал это бессовестно небрежно, так что выходила постоянная путаница.

Настал день торжественного открытия. Разосланы сотни

приглашений и взяты напрокат золоченые стулья. Стульями заставлено все, негде ступить. Освещение продумано. Цветы расставлены преискусно. Волнуемся, ждем... Время идет. Приглашенных нет.

Приглашенные не пришли никто!.. Буль, которому поручили разослать приглашения, забыл опустить их в почтовый ящик.

Найти заказчиков было не так-то просто. В свет мы выходили редко и совершенно не умели охотиться за богатыми клиентами. Решил я найти посредника, так сказать, из мирян. Подходящ был Жорж Кюэвас, будущий супруг внучки Рокфеллера. Жорж знал всех, и все знали Жоржа. Его стараниями дом «Ирфе» стал известен и пошел. Посыпались заказы, пришлось арендовать второй этаж, чтобы разместить мастерские. Управление делами поручили француженке мадам Бартон, особе серьезной и сведущей. Поначалу бедная чуть голову не потеряла во всей этой славянской неразберихе.

Клиентки были всех национальностей. Приходили из любопытства и за экзотикой. Одна потребовала чаю из самовара. Другая, американка, захотела видеть «князя», у которого, по слухам, глаза фосфоресцировали, как у хищника! Всех переплюнула мадам Хуби. Во-первых, была она толстуха. Но сказать «толстуха» – ничего не сказать. Габариты мадам Хуби сравнить не с чем. Первый ее приход в дом «Ирфе» стал сенсацией. В салоне шел показ моделей, народу была уйма. Вступила она в зал, ведомая шофером, лакеем и, по-видимому, компаньонкой, пигалицей без лица и возраста. Впоследствии мы узнали, что компаньонка – австрийская баронесса.

Новая заказчица с трудом разместилась на канапе и сказала громовым басом:

– Подать сюда князя! И водки.

Мадам Бартон прибежала ко мне с вытаращенными глазами.

– Князь, что делать? Наш дом не кабак! Какой скандал!

– Не вижу никакого скандала, – ответил я. – Мы же одеваем тех, кому холодно, можем и напоить, у кого жажда. Скажите даме, что я сам принесу ей водки, пусть выпьет за наш успех.

Я послал Буля за водкой, потом вышел в зал.

– Черт подери! – пробасила «новенькая». – Вы и есть князь? На убийцу не похожи! Я рада, что вы от этих сук-большевиков удрали.

Смотрела толстуха лукаво. Глаза, большие, прекрасные, были жирно обведены тушью. Руки в браслетах и кольцах. Она взяла стопку и за мое здоровье опрокинула ее одним махом.

– Сделайте мне кокошник и пятнадцать платьев. И десять для

моей дуры, – прибавила она, указав на пигалицу-баронессу.

– Спасибо, большое спасибо, – прошептала пигалица смущенно и радостно.

– Заткнись, дура! – сказала толстуха.

С такой не поспоришь. Я принял вид профессионального кутюрье и сказал:

– Разумеется, мадам. Ваши желания – для нас закон. Могу ли я, однако, спросить: платья какого фасона и кокошник какой эпохи?

– Насрать на эпоху. Хочу кокошник. И платья. Пятнадцать для себя, десять для дуры. Усвоил? Ну и все... До свидания. Хорошо, говорю, что от красных сук удрал.

Она кивнула слугам, и те снова подхватили ее под руки и осторожно повели к выходу. Шествие замыкала благородная пигалица. Не успели они выйти, весь зал покатился со смеху. Посыпались вопросы, кто такая да откуда.

Несколько дней спустя Нона Калашникова привезла ей роскошный шитый золотом кокошник с драгоценными камнями и жемчугом. Приехала также главная закройщица снять мерки и записать фасоны двадцати пяти заказанных платьев. Вернувшись, Нона от смеха еле могла говорить. Мадам Хуби приняла их в электрической ванне посреди гостиной. Из монументальной лохани торчала одна голова. Подле сидела баронша и читала вслух газету. Вокруг стояли горничные с шампанским. Госпожу мучила жажда. Ей беспрестанно наливали.

Подали шампанское Ноне с закройщицей. Потом гостьи предъявили кокошник. Мадам сказала, чтоб ей его надели. Нона надела и напомнила, что надо снять мерки. Мадам поднялась и вышла из лохани в чем мать родила и с кокошником на голове.

– Тьфу, жопа, – сказала она. – Валяйте, снимайте ваши мерки, только живо.

Кокошник ей так полюбился, что она уже не снимала его, выходила в нем даже на улицу. Что до платьев, пожелания ее узнать не удалось. Пришлось шить наугад.

Новой клиенткой я заинтересовался безумно. Такую грех пропустить! Узнал я, что по происхождению она египтянка. Первым браком была замужем за французом. Произвела скандал на скачках в Лоншане, явившись в гусарском мундире. После развода вышла за англичанина, теперешнего своего мужа. Имела в Париже несколько домов, в одном из которых на авеню Фридланд проживала, и прелестное поместье за городом. Говорили, деньгам и сумасбродствам ее нет предела. Пила она как извозчик. Супруг ее так же.

Вскоре мадам Хуби позвонила мне по телефону и пригласила на ужин. Я смело согласился. Приехав, я застал ее в постели в кокошнике, под горою роскошных шуб. В ногах сидели муж и баронша. На столике в изголовье стояли бесчисленные бутылки и стаканы. Не успел войти – устремилась на меня собачья свора. Собаки были всех пород и размеров. Они злобно лаяли, заглушая оравшее радио.

– Привет, Святая Русь! – прогудела мадам. – Давно хотела с тобой познакомиться. Потому и в заведение твое явилась... Заведение – дрянь... А ты ничего, не разбойник. А я думала, все русские – разбойники... Спляши-ка мне пляску с кинжалами. Эй, Тюрпешка, – позвала она кого-то, кого я даже и не заметил, – поди на кухню, принеси ножи... Живо!

Барон Тюрпен де ля Рошмуйль, он же секретарь хозяйки, сбегал и принес четыре кухонных ножа. Хозяйка требовала кавказский танец. Я отказывался, она, чтоб ободрить меня, велела принести граммофон и пластинки с фокстротом... Внезапно баронша, австриячка и, видимо, испанка, вскочила, закричала «Оле, оле!» и забила в ладоши. Мадам Хуби, муж мадам и секретарь последовали ее примеру. Собаки помогали яростным лаем. Это был настоящий сумасшедший дом. Но мне, по правде, понравилось. Сказалось, наверное, монголо-татарское происхождение. В общем, миг – и я сорвал пиджак, воротничок, галстук, схватил ножи и исполнил под фокстрот половецкую пляску!.. Ножи разлетелись во все стороны, разбили стекла на гравюрах. Чудом никого не убило.

Сплясав, угомонились. Я оделся. Осколки прислуга вымела. У постели госпожи сервировали ужин.

Австрийскую баронессу я у мадам Хуби более не встречал. Узнав, что баронесса глотает живьем золотых рыбок из аквариума, мадам Хуби прогнала ее.

Так началась моя дружба с мадам Хуби, и была она столь же необычна, сколь и сама подруга моя. Ее чудовищная толщина, кривлянье, грубость даже – все было единым целым и, в общем, имело свою изюминку. Ее привязанность ко мне, вопреки дикости выражения, а, может, благодаря ей, не оставила меня равнодушным. Конечно, мне было лестно, но главное, занимательно, ибо всегда занимали меня люди из ряда вон, особенно любившие меня. Как ни странно, она напоминала мне моего алварского махараджу. По форме столь разные, по сути они имели много общего, к примеру, ту же ни-на-кого-непохожесть. Притом, оба азиаты. Оба смотрели на меня изучающе, так что приходилось все время быть начеку, что нравилось мне, опьяняло

и заставляло терпеть их прихоти. Разумеется, мадам Хуби была не так страшна, как загадочный махараджа, а все ж на свой лад опасна, а именно к таким-то злой мой гений всю жизнь толкал меня.

Глава 8

1924–1925. Гнев Виденера – В Нью-Йорк на суд – Грубость выражений в зале заседаний – Дело в шляпе – Поездка на Корсику – Покупаем два дома в Кальви – Приветливость корсиканцев – Дело в суде проиграно – Большевики нашли наш московский тайник – Новые предприятия: ресторан «Мезонет» и проч. – Открытие филиала «Ирфе» в Туке, потом в Берлине и Лондоне – Фрогмор-коттедж – Панч Второй

В конце года узнал я, что Виденер накануне суда точно сорвался с цепи: рассвирепел и кроет меня площадной бранью. Новость расстроила. Брань и за тридевять земель – все одно брань. До сих пор на суде я присутствовать не собирался. Но на виденеровские оскорбления надо было ответить. Я телеграфировал своим нью-йоркским адвокатам, что приеду на открытие суда и дам показания самолично. Я понимал, что придется мне несладко. Ирину ехать на эти передряги я отговорил. Весной 1925 года отплыл я на «Мавритании» с людьми своими Мазировым и Макаровым.

В нью-йоркском порту репортеры и таможенники встретили меня как старого знакомого. Чиновники на таможне захохотали, когда сказал я, что сокровищ российской короны на сей раз с собой не везу.

Макаров восхищался небоскребами, но переносил их неважно: в лифтах его тошнило, и он карабкался пешком на пятнадцатый этаж, где мы жили.

Днем совещался я с адвокатами, вечером сидел в «Русском Орле».

Вера Смирнова не отходила от меня ни на шаг. Она опять взялась за старое и со скандалом ломилась в гостиницу по ночам в вечном цыганском наряде.

Для поправки своих денежных дел Вера попросила меня устроить ей концерт в каком-нибудь частном доме. Договорился я с одним молодым богатым американцем, владельцем особняка. Концерт был устроен у него. Вера покорила слушателей, но в перерыве куда-то исчезла. Публика расселась по местам, Веры нет. Из дома она не выходила, но и в доме ее не сыскать. Наконец я нашел ее. Она спала голой в хозяйской кровати. В несколько минут отдыха, данные ей, она приняла ванну и улеглась спать, думать не думая о концерте. В этом была вся Смирнова.

Суд начался в начале апреля и продолжался двадцать дней. В ходе трехдневной дачи показаний виденеровский адвокат вел себя крайне грубо. Он явно рассчитывал вывести меня из себя. Хладнокровие мое раздражило его еще более, а симпатия ко мне публики и вовсе взбесила. Вечером третьего дня судейские устроили в мою честь ужин.

Виденер имел жалкий вид. Говорил он плохо.

– Сострадали ли вы князю и русским эмигрантам вообще, предлагая за картины сто тысяч фунтов? – спросил его один из моих адвокатов, мистер Кларенс Шим.

– Да, сострадал, как сострадают бездомной кошке или собаке… Но сострадание здесь ни при чем. Всем не насострадаешься.

Он признал мое право на выкуп, но еще признался, что спекульнул на моей вере, что в России все восстановится, хотя сам в то не верил. Просто сделал, как в игре, ставку, рассчитывая выиграть. Тоже имел право.

Обруган я был на все лады. Но надо сказать, и Виденеру досталось от моих адвокатов. Баркер обозвал его ростовщиком, Шим – хитрым, бессовестным спекулянтом.

– Я мог бы назвать Виденера вором, плутом и клятвопреступником, – сказал Шим в заключение. – Но в том уж нет необходимости. Он сам на суде показал, каков он есть. Добавить тут нечего.

Мои адвокаты не сомневались в успехе. Я также. Приговор должны были вынести через два месяца. Сидеть в Нью-Йорке резону не имелось. С первым же пароходом я отплыл в Европу.

В Париж скоро явился и Виденер. Как передали мне, он хотел обсудить со мной окончательную цену и в последний раз попытаться пойти на мировую. Я отказался с ним встретиться.

Хотелось развеяться. Предложил Ирине автомобильную прогулку. Взяли мы всех вещей – чемодан да гитару и сели с любимым мопсом в наш двухместный автомобильчик. «Направо или налево?» – спросил я Ирину. «Направо», – сказала она. И мы поехали и приехали в Марсель.

Пароход отплывал на Корсику. Погрузили автомобиль и самих себя и поплыли на «остров Красоты».

Приплыв, объездили мы его вдоль и поперек. От Кальви пришли в восторг. В крепости продавался дом за гроши. Не раздумывая ни минуты, мы купили и дом, и деревенскую ферму поблизости.

Корсиканцы нам полюбились с первого взгляда. Народ они

смышленый, непосредственный, гостеприимный и на редкость честный. «Корсиканский бандит» в наше время – сказки. Повстречай я его – вверился б ему куда охотней, чем многим нью-йоркцам, лондонцам, парижанам.

Доброе отношение корсиканцев к нам было трогательно. Не успели мы пожалеть, что в саду у нас на ферме мало цветов, сад стараниями соседей превратился в райские кущи. В портовых кабачках, куда ходили мы послушать рыбацкие песни, рыбаки постоянно угощали нас вином.

Корсиканка Реститута Орсини, прислуживавшая нам в Кальви, совершенно нас поразила. Когда в Париже сидели мы без денег, она, узнав о том, тотчас привезла нам свои сбережения.

На следующий год я жил в Кальви один. Как-то устроил я ужин для рыбаков. На закате показался караван автомобилей: приехали гости и привезли с собой «к столу»: лангустов, козлятину, фрукты и выпивку – вино, шампанское, коньяк, ликеры... Прихватили даже разноцветные фонарики, которые развесили на деревьях. Вмиг все стало праздничным. Я смотрел с недоумением... Гости на всякий случай решили успокоить меня: «Не бойтесь, счета вам не предъявим!»

В июне нью-йоркские адвокаты телеграфировали, что дело нами проиграно... Вот тебе раз! А я-то думал, победа в кармане! Что еще Виденер нам подстроил?..

Беда, как известно, не ходит одна. Из газет узнал я, что в Москве большевики нашли наши драгоценности, которые я так хитроумно спрятал в тайник под лестницей. Даром бедняга Бужинский молчал под пытками и принял смерть, ничего не сказав!

Конечно, не стоит сдаваться, не поборовшись. Но ведь и против рожна не попрешь. Проиграно дело в Нью-Йорке, пропали брильянты в Москве. Остается покориться судьбе и жить дальше.

Один мой друг-бельгиец, барон Эдмон де Зюилан, предложил с ним вместе открыть магазин фарфора. Нашли помещение неподалеку от «Ирфе» на улице Ришпанс. Салон назвали «Моноликс». Американка миссис Джинс взяла на себя торговую часть, художественную поручили русскому архитектору со вкусом и способностями, Николаю Истзеленову, работавшему вместе со своей женой и свояченицей.

Получил я еще предложение и от госпожи Токаревой, владелицы небольшого ресторана «Мезонет» на рю де Мон-Табор, звавшей войти к ней в дело. Что ж, кутюрье я уже состоявшийся, почему бы не попробоваться ресторатором? Начал я с оформительства. Большую ресторанную залу решил в ярких синих и зеленых тонах, а комнату за ней обил кретоном в

цветочек и устроил в ней зальцу для частных обедов – отдельный кабинет. Внес мягкую мебель, украсил безделушками и гравюрами, не пригодившимися в булонском доме. Годами позже я, решив выйти из дела, хотел забрать свои вещи, но госпожа Токарева сумела записать их в собственность ресторана, так что кровное мое добро осталось при ней.

Кухня, обслуга, оркестр – все в «Мезонете» было русское. На голосистых Акима Хана, Назаренко и жену его Адорель сходился весь Париж. Европейцы, жаждавшие нашего кулерлокаля, получали все, что хотели: икру, водку, самовар, романс под гитару, кавказскую пляску и славянский шарм – тот самый, который, говорят, придумали русским французы, а русские подхватили. Но лучше, по-моему, поняла его наша знаменитая писательница-сатирик Н. Тэффи. «Славянский шарм, – сказала она, – это: *да – сегодня, нет – завтра, да и нет – послезавтра».*

Впоследствии один за другим открылись еще два ресторана. «Лидо», оформленный в венецианском стиле художником Шухаевым, находился тут же, на рю де Мон-Табор. Но это было скорее «ночное заведение», дорогое и никакое. Открывалось оно, когда закрывался «Мезонет». Другой ресторан, на авеню Виктора Гюго, чуть позже стал так же, как и «Мезонет», именно русским, но скорее с «деревенском» уклоном, с зеленым двором, делавшим похожим ресторан на трактир. Я пристроил туда в шеф-повара нашего Макарова. Характер его портился, и нам в Булони было с ним трудно. Не хотелось расставаться с преданным и дорогим человеком. Но мир в доме дороже.

Окрыленные успехами, мы открыли филиал нашего дома «Ирфе» в Туке, поручив ведение дел жене князя Гаврилы. Князь Гаврила, двоюродный Иринин брат, и жена его жили у нас в Булони, и присутствие их стало нам великой радостью. Княгиня была балериной Императорского балета. Острая, резвая, веселая, Нина обожала мужа и только им и жила. Благодаря ее уму и ловкости князь Гаврила избегнул участи остальных Романовых.

И еще два отделения «Ирфе» открылись: одно – в Лондоне на Беркли-стрит, другое – в Берлине, в доме Радзивиллов на Паризерплатц. В Лондоне у нас директорствовала англичанка миссис Энсил, умная, энергичная и властная дама, а в берлинском бутике – княгиня Турн-и-Таксис. В обществе красавицы и остроумицы Тити, как звали ее близкие, я порядком позабавился. Незадолго до открытия бутика я приехал в Берлин и посетил с княгиней ночные кабаре в поисках девиц – возможных моделей. Действительно, кое-какие нам понравились. Тити

пригласила их к столу, но вблизи барышни показались мне странными... Я сказал о том Тити. Она покатилась со смеху: «Еще бы не странные! – воскликнула она. – Это же юноши!» Я, признаться, в тот день сильно засомневался насчет будущей моей директрисы... Впрочем, к открытию бутика сыскались и настоящие барышни.

В Туке мы наняли виллу и проводили очень весело и большой компанией воскресные дни. Вилла наша звалась «Грибы» и как никакая другая соответствовала своему названию. Место оказалось на редкость сырое. Но нам, молодым еще людям, море было по колено.

В Туке я решил сочетать приятное с полезным и взял с собой кучу бумаг и документов для разборки. Книги с адресами доставляли мне массу хлопот. Мне и с одной-то книгой была морока. Поди перепиши все перемены и перемещения в жизни знакомых. А тут дела наши расширяются, разрастаются, адресов все больше. К тому ж на каждую категорию я завел свою книжку: штатные служащие, поставщики, врачи, политики, друзья, враги, мошенники и так далее. Со временем иные меняли категорию и, стало быть, адресную книгу. В итоге, бывало, сам черт в записях ногу сломит.

Среди бумаг обнаружил я свои заметки о политических событиях, писанные в последние наши годы жизни в России. Я дал их прочесть Ирине. Она сочла их достаточно интересными и советовала перевести и напечатать. Столько чуши и вранья говорено было о тех делах, что и мне думалось: пора сказать слово и очевидцу, хотя бы о том, в чем оказался замешан сам.

Мой друг Эдмон де Зюилан помог мне упорядочить все заметки с целью сделать из них книгу под названием «Конец Распутина». Многие часы мы работали вместе, так что я в полной мере оценил Эдмоновы остроту ума и благородство сердца.

Тесть с тещей мои все еще жили тогда во Фрогмор-коттедже в Виндзоре. Дом удачно располагался прямо в парке. Король Георг V предоставил ее в распоряжении кузины пожизненно.

Теща, как всегда радушно, давала у себя приют своим многочисленным детям и внукам и со свойственной ей добротой терпела от них шум и беспорядок. Очень скоро вместить всех стало нельзя, пришлось Георгу пристраивать к дому крыло.

В числе людей, последовавших за великой княгиней в ссылку, оказалась старуха Белоусова, в России ведавшая дворцовой прачечной. Белоусовой было почти сто лет. Худая, сгорбленная, с большим крючковатым носом – чисто фея Карабос. Когда покидали мы Россию, из вещей позволено было взять только

самое необходимое. Белоусова умудрилась протащить чемоданы и ящики, набитые хламом. На всех она написала: «Не кантовать. Белоусова». По-французски она знала несколько слов, каковые произносила в особо торжественных случаях. Так, встречая в парке короля Георга, она издалека, как только замечала его, принималась часто кланяться и, если подходил он, говорила ему: «Мон сир!».

Английские государи часто навещали кузину, но чаще всех – сестра Георга принцесса Виктория. Из сестер она одна не вышла замуж и жизнь свою целиком посвятила матери, королеве Александре. Принцесса была добра, весела и самоотверженна. Притом обладала даром быть всеми любимой. Приезды ее во Фрогмор-коттедж становились праздником и для хозяев, и для гостей. Мои воспоминания о Фрогморе – из самых радостных.

Российские ценности, добытые большевистским грабежом в частных домах, стали появляться на европейском рынке. В Лондоне некий торговец скупал краденые русские ювелирные изделия. Он же был признанным поставщиком коллекционеров-собирателей Фаберже, знаменитого ювелира российского двора, прозванного «Челлини XIX века». По совершенству и тонкости исполнения вещам Фаберже не было равных в мире. Фигурки зверей, вырезанные из самоцветов, казались живыми. Эмали поражали воображение. В революцию 17-го магазины Фаберже в Москве и Петербурге были разворованы и сожжены. Ныне от былой славы осталось лишь небольшое дело в Париже в ведении Евгения Фаберже, сына мастера.

Среди собирателей-«фабержистов» была одна тещина приятельница. Приятельница эта пригласила тещу на обед, желая похвалиться новым приобретением: шкатулкой из розовой яшмы с инкрустированной брильянтами и изумрудами императорской короной и русскими инициалами на крышке.

– Интересно, чьи это инициалы, – сказала приятельница. – Не могли бы вы справиться?

– Инициалы мои, – сказала великая княгиня, тотчас признав свою вещь. – Шкатулка моя собственная.

– Ах, так! – сказала приятельница. – Очень интересно!

И поставила шкатулку обратно в шкаф.

Однажды, когда гостили мы во Фрогмор-коттедже, по неотложному делу я вызван был в Лондон и оставался там несколько дней. Проходя как-то утром по Олд-Бонд-стрит, я, по обыкновению, зашел в «собачий» магазин, где купил когда-то Панча. Хозяйка его была все та же, и я не упускал случая зайти

поздороваться и поболтать с ней. В тот день в уголке сидел бульдог – в точности мой старина Панч. Мне показалось даже, что у меня галлюцинация. Я б его в ту же минуту купил, не стой он так дорого. С грустью вышел из магазина и отправился к королю Иммануилу, к которому зван был обедать. Тот спросил, почему грущу. Я рассказал. На другое утро, не успел я проснуться, принесли мне от него записку. Иммануил писал, что счастлив был бы подарить мне бульдога. К записке приложен был чек.

Набросив плащ на пижаму, я помчался в магазин. Прохожие, верно, решили, что я сбежал из сумасшедшего дома. Но мне дела ни до чего не было. Я получил своего пса и назвал его Панчем Вторым в честь Первого.

В те дни я сидел без гроша. Однажды брели мы с новым Панчем по Джермин-стрит. С утра мы оба ничего не ели, животы у нас подвело от голода. Проходим мимо ресторана. На двери меню. Я глянул и прочел: «Пулярка по-юсуповски». «Кажется, повезло», – сказал я Панчу, и мы вошли как ни в чем не бывало. Метрдотель, впечатленный нашим благородным видом, усадил нас прекрасно. Я заказал пулярку по-юсуповски, вино и для Панча паштет. Поданный счет был втрое больше того, что имелось у меня в кармане. Я позвал хозяина ресторана и показал ему паспорт. Он ахнул и выхватил у меня счет. «Я воспользовался вашим именем, князь, – сказал он. – Будьте сегодня моим гостем».

Когда я привел Панча к королю Иммануилу, тот пришел в ужас. «Знай я, что он такой урод, – воскликнул он, – ни за что б его тебе не подарил!» И правда. Панч был урод, но в душе – ангел. Огромный, свирепый, наводящий на всех страх, но добродушнее пса не бывало. И ничто не могло рассердить его, даже яростное тявканье булонских мопсов, недовольных прибытием чужака.

К мопсам у меня всегда была слабость, и в Булони я держал их целое семейство. Не поленился и прочесть о них. Это одна из самых древних собачьих пород. За семьсот лет до Р. Х. о ней уже было известно. Происхождением они из Китая, где выращивали их для императорского двора. Линии складочек у мопсов на лбу означают «князь» по-китайски. По натуре мопсы независимы, очень умны и исключительны в своих привязанностях. А есть, я слышал, поющие мопсы и даже говорящие.

В «Германской энциклопедии» 1720 года сообщается о мопсе, который звал свою хозяйку по имени.

Автор книги о частной жизни Наполеона рассказывает, что из-за мопса тот, по существу, и развелся с Жозефиной. Звали его Птит-Фортюн, и был он императрицыным фаворитом. Показав на спящего в креслах мопса, Наполеон сказал одному из генералов: «Видите, вон мсье храпит. Это мой соперник. Он спал с мадам,

когда я женился на ней. Я хотел прогнать его, но мадам сказала, что спать я буду или с ними, или один. А ведь он – хуже. Посмотрите: всё мне на ноги».

За Марией Антуанеттой мопс ее последовал и в тюрьму и не желал покинуть Консьержери после смерти хозяйки. Увезла его герцогиня де Турзель, которой королева поручила его, отправляясь на эшафот.

Когда герцога Энгиенского арестовали в Германии, мопс бросился за ним вплавь через Рейн и потом нашли его на месте расстрела полумертвым от голода.

Глава 9

1925–1927. Кериолет – Театральные представления в Булони – Эмигрантская Пасха – «Княжий ход» – Свадьба великого князя Дмитрия – Лжеанастасия – Махараджа сбит с толку – Музыкальное образование Биби – С супругами Хуби в Брюсселе – Бегство Вилли

Всю свою юность слышал я разговоры о замке Кериолет близ Конкарно, бывшем прабабкином владении. Замок этот завещала прабабка департаменту Финистер. В завещании, однако, имелись условия, при несоблюдении коих владение переходило к наследникам по прямой. Так и случилось. В результате матушка в качестве прямой бабкиной наследницы предъявила права на владение замком. Адвокат в 1924 году изучил дело и сообщил ей, что судиться поздно, так как к этому времени прямое наследование за сроком давности потеряло силу.

Мне тем не менее любопытно было взглянуть на прабабкино владение, которое купила она, выйдя за графа де Шово, и в котором прожила во времена Второй империи несколько лет свой бурной романтической жизни. Осмотр замка стал поводом для путешествия в Бретань. Поехали с нами чета Калашниковых, кузина моя Зинаида Сумарокова, в замужестве г-жа Бригер, жившая в ту пору у нас, и Каталей, мой секретарь.

Погода благоприятствовала. Живописный порт Конкарно, над которым высятся стены Вобана, предстал нам под лазурным небом, залитый ослепительным солнцем. Солнечная Бретань ничуть не походила на суровый туманный край, какой ожидал я увидеть.

Должен признаться, Кериолет разочаровал меня. Парк великолепен, но большое тяжелое здание, выстроенное в конце прошлого века на месте старой цитадели, ничем, кроме величины и уродства, не замечательно. Точно декорация из папье-маше в съемочном павильоне. Старик служитель провел нас по замку, ставшему местным музеем. Наряды, шляпы, бретонская мебель выставлены вместо прежнего декора, от которого одни остатки – деревянные панели да гобелены. Показали нам непременные «королевские покои», комнату стражи, многочисленные залы, часовню. С каким-то смутным чувством собственника осматривал я жилище, которое мне не принадлежало и о России не напоминало. Комнаты графини де Шово и мужа ее остались не тронуты. Увидел я чудесный портрет прабабки. Сходство с ней самой, насколько мог я судить, было полным. Приметил я, что

служитель попеременно переводил глаза с портрета на меня. «Вы ей часом не родственник?» – наконец спросил он. И очень обрадовался, узнав, что я – правнук прежней владелицы: он, мол, служил у ней в молодости и с тех пор, как госпожа померла, впервые видит родича ее. Поведал он, как власти продали всю мебель вопреки воле покойницы. Нарушение условий завещания, дескать, позволяло оспорить завещание. И я объяснил ему то, что и сам узнал недавно – об «истечении срока давности».

Десять дней еще мы гуляли по окрестностям Конкарно. Бретань меня совершенно покорила. Иные места напоминали Шотландию, в которой побывал я в первый мой английский, оксфордский год. О бретонской прогулке вспоминал бы я с удовольствием, не подхвати я в те дни гайморит и не претерпи потом операцию и адовы муки.

В Булони мы организовали любительскую актерскую труппу, возглавила которую знаменитая русская актриса Е. Рощина-Инсарова. Наши комедии и сценки имели огромный успех. Даром что любители, а талантом и остроумием профессионалам не уступали. Великая княгиня Мария, сестра Дмитрия, княгиня Васильчикова, чета Уваровых, многочисленные внуки и внучки Льва Толстого – из первых. Но самой блистательной оказалась г-жа Гужон, русская, замужем за французом. Обнаружилось в ней необыкновенное комическое дарование. В таком амплуа на театральном поприще сделала бы она карьеру. Была она толста, с бульдожьей физиономией, носила одну и ту же шляпу с помпончиками в виде цыпляток, давно облезлых, и траченную молью лису. Гужонша и комедии прекрасно играла, и в наряде кафешантанной певички девятисотых годов препотешно исполняла вульгарнейшие русские частушки.

И, увы, занималась еще и делами. А дела эти были крайне запутаны и чаще всего безнадежны. Едва ей удавалось что-то нажить, она мигом прокучивала все в пирушках, ночь напролет веселясь в квартире своей на улице Бассано. На жалобы соседей отвечала она неизменно: «Пошли в жопу. Мадам Гужон гуляет!»

Водили мы дружбу с одной пожилой дамой, и доброй, и очень неглупой. Была у нее, однако, мания величия. Уверяла наша дама, что знает всех на свете и что все мужчины в нее влюблены. Росту она была высокого и к старости ничуть не укоротилась – ходила прямо, с гордо поднятой головой и, что бы ни случалось, величественной осанки не утрачивала. Гусыня наша густо белилась-румянилась и одевалась вычурно, вся в вуалях, перьях, цветах. С лорнетом она не расставалась, но он не помогал ее близорукости, вернее, слепоте. Однажды сослепу она угодила в

сточную яму и вызволена была оттуда молодым секретарем английского посольства, по счастливой случайности проходившим мимо. Как ни в чем не бывало, она встряхнулась, приосанилась, навела на своего спасителя лорнетку и высокомерно оглядела его. «Благодарю вас, юноша, – сказала она. – Я принимаю по четвергам».

Это «величие», единственный, впрочем, ее недостаток, мы прощали, но постоянно над ним потешались. Как-то раз мы пригласили ее поужинать вместе с другим нашим другом, бароном Готшем, добродушным стариком, не утратившим с годами добродушия. Он согласился участвовать в задуманной мной комедии. В парике а-ля Луи-Каторз с буклями по плечам и в больших черных очках, за которыми не видно глаз, он должен был изобразить шведского профессора Андерсена, якобы близкого друга короля. Дама наша прекрасно знала Готша, да и запах нафталина от парика мог бы ее насторожить. Однако она ничего не заподозрила и весь ужин жадно лорнировала пышнокудрого лжепрофессора.

В следующий раз я увиделся с ней несколько месяцев спустя. Она сказала мне с упреком:

– Феликс, я вам этого никогда не прощу. Недавно ужинаю со шведским королем и спрашиваю, как поживает его друг, профессор Андерсен. А он: «Какой профессор Андерсен?» Я описываю, о ком говорю. «Не знаю никакого профессора Андерсена с такими пышными кудрями, – ответил король. – Вас, вероятно, кто-то разыграл».

Я уже рассказывал о булонских субботах. Но один раз в году, накануне Великого Воскресения, у вечеров наших был характер особенный.

Пасха для нас, русских, всегда была источником всяческих утех, а потому в эмиграции в пасхальные дни мы особенно остро ощущаем горечь изгнания. Так и видится Москва с иллюминированными тысячами свечей церквами, так и слышится звон кремлевских колоколов во славу Воскресения Христова! Как тоскуешь по родине!.. А в церквах пасхальная всенощная и поразительной красоты пение. И после службы перед тем, как идти разговляться, народ трижды целуется со словами: «Христос воскресе!».

Многие наши соотечественники приходили на пасхальную ночь к нам в Булонь. Один француз журналист поступился истиной ради юмора в своем очерке *«Княжий ход».* Но все же своя доля правды в шутке проглядывает:

«”Пасха, Пасха!” – поют птички в садах Люксембургском и Тюильри. “Пасха, Пасха!” – подпевают русские парижане.

Вечером в Страстную Субботу, с одиннадцати часов полковники-гвардейцы, царские кузены и прочие вельможи стекаются со всех концов, из всех пригородов ближних и дальних, из Кламара, Аньера, Версаля, Шантийи и окружают плотным кольцом церковь на улице Дарю. Пришли они к пасхальной службе, ведомой пастырями, архипастырями, попами всех мастей, и даже лично митрополитом – служителем, то есть не метро, а русской церкви, причем самым главным. После службы, трижды поцеловавшись в уста и свечи в руке задув, устремляется крестный ход разговляться на Монпарнас или на Монмартр и отмечать Воскресение Христа обильным возлиянием.

Но настоящий крестный ход – это княжий ход, то есть ужин с крашеными яйцами, пасхой, молочным поросенком, царскими детьми и русскими красавицами, не в “Корнилове”, не в “Золотой рыбке” и даже не в “Шехерезаде”, а в булонском домике средь фотографий наследников короны более-менее без короны. Меню тут самое невероятное: колбаса от какого-то актеришки и индюшка с трюфелями от их английских величеств, переданное любезной леди Детердинг, красное винишко в полоскательных стаканчиках и редчайшие “Шамбертен” и “Шато-Лаффит” в позолоченных серебряных кубках.

Хозяин дома со свитой верных кавказцев обходит гостей, беседует с одними, угощает выпивкой других. Он любезен, холоден и таинствен, но с ролью своей справляется превосходно. Изящное лицо его расплывается в счастливейшей улыбке, когда донна Вера Маццуки проливает водку на фортепьяно или Серж Лифарь подтягивается на люстре.

Молодая брюнетка поет металлическим, чуть хриплым голосом цыганскую песню, и четыре княгини, три графини и две баронессы подпевают ей хором. А Мари-Терез д’Юзес, первая герцогиня Франции, внучка князя Голицына, вспомнив вдруг о своих русских корнях, дарует трехкратный пасхальный поцелуй балалаечнику. Но вот соседи напоминают их сиятельствам, что уже пять утра, пора спать и надо бы кончить “московские церемонии”».

Простим журналисту, что сгустил краски. Описал он все остроумно и не зло. А не понял главного: что значит пасхальная ночь для русского эмигранта.

В ноябре 1926 года в православной церкви в Биаррице состоялось венчание великого князя Дмитрия с прекрасной американкой Одри Эмери. Я был рад за Дмитрия. Казалось, он нашел свою суженую. Однако в долговечность его счастья я не

верил: американский менталитет был Дмитрию совершенно чужд. Шесть лет прошло со времени нашей последней встречи. Он прожигал жизнь, а я бессилен был помочь ему. Есть люди, замкнувшиеся в самих себе и непроницаемые ни для любви, ни для дружбы. Дмитрий – из таких. Чем кончится на сей раз? Навряд ли угомонится он. Все же дай-то ему Бог.

В 1927 году разнесся слух, что не всех членов царской семьи расстреляли в Екатеринбурге. Говорили, что великая княжна Анастасия, младшая дочь царя Николая II, выжила, бежала и находится в Германии.

У нас были основания не верить слуху. Следователь Николай Соколов, по приказу адмирала Колчака изучивший материалы дела на месте в 1918 году, вскоре после трагедии, вполне определенно установил, что уничтожена была вся без исключения семья императора. Лжецесаревичи, лжецесаревны являлись неоднократно, но веры им не было.

На сей раз, видимо, самозванка оказалась ловчей: одурачила очень многих. Создались даже комитеты по сбору средств в пользу «бедняжки». Суммы собрали немалые. Правда, никто из одураченных не знал царских детей лично. Зато знали их и великая княгиня Ольга, сестра императора Николая, и принцесса Ирина Прусская, сестра императрицы, и баронесса Буксгевден, императрицына фрейлина, и, наконец, учитель царевича Пьер Жильяр с женой, да и еще кое-кто из близкого окружения императорского семейства. Они видели Лжеанастасию и говорили с ней. И все разоблачали обманщицу. Однако разоблачения их дальше родных и знакомых не пошли, и сборы помощи проходимке продолжались.

В тот год, оказавшись проездом в Берлине, я встретил русского врача, профессора Руднева, из самых горячих приверженцев самозваной Анастасии.

Меня не убедить было его пламенным речам, однако ж не без любопытства узнал я от него об организаторах дела и повидался с самой «наследницей». Сказали мне, что находится она в замке Сион, владении герцога Лейхтенбергского, близ Мюнхена. Руднев вызвался проводить меня. Между прочим, всю дорогу он усиленно объяснял, что пули и штыковые удары изменили до неузнаваемости лицо великой княжны.

В Сионе сказали нам, что «ее императорское высочество» больны и не принимают. Рудневу, однако, сделали исключение. Он ушел к ней и вскоре вернулся сообщить, что весть о моем приходе обрадовала и взволновала ее недомогавшее высочество. «Феликс пришел! – вскричала она. – Какое счастье! Скажите ему –

одеваюсь и спускаюсь немедленно! И Ирина с ним?»

Звучало это фальшиво. Радость была явно деланной, если только Руднев сам от себя ее не придумал приличия ради.

Меня просили подождать в саду. Через четверть часа показалось псевдовысочество: Руднев, еще раз поднявшись к ней, вел ее под руку.

И не будь я уверен в обмане, я бы тотчас распознал его. Лжеанастасия была просто-напросто лицедейкой, к тому ж и роль свою играла скверно. Ничем – ни лицом, ни манерами, ни осанкой – не походила она ни на одну из великих княжон. И уж вовсе в ней не было врожденной простоты и естественности – обаятельнейшего свойства, присущего всем Романовым, которого не уничтожить было ни штыкам, ни пулям. Впрочем, лицо мошенницы оказалось вполне целым и невредимым. Беседа наша была кратка и банальна. Я обратился по-русски. Она отвечала по-немецки. Великие княжны немецкий язык знали плохо. Зато они бегло говорили по-французски и по-английски, а эта по-французски и по-английски двух слов связать не могла. Картина была мне ясна.

На следующий год с помощью берлинской уголовной полиции предпринято было частное расследование. Установили, что так называемая великая княжна Анастасия – простая рабочая-полька по имени Франциска Шанцковска. Мать ее с сыном и двумя другими дочерьми проживала в деревушке в Восточной Померании. Дочь сразу ж узнали они по фотографиям, им показанным. Исчезла она еще в 1920 году и с тех пор как в воду канула. Позже официальное расследование подтвердило результаты частных розысков.

Обман затеяли, потому что считалось, что большие капиталы, личное состояние последнего царя, помещены были в иностранные банки. И требовался наследник, чтобы через него завладеть наследством.

Но никто почти не ведал, что с самого начала войны Николай II поручил министру финансов Коковцову (от кого и знаю) перевести в Россию весь свой личный капитал. Лишь самая незначительная сумма осталась на счету одного берлинского банка.

Вот так Франтишку и сделали наследницей некие проходимцы, думавшие прикарманить наследство.

Не успел я вернуться в Париж, снова возник махараджа. На сей раз я решил не откликаться. Когда он стал добиваться встречи, я велел передать ему, что уехал в Лондон. Он отправился в Лондон искать меня. Не нашел, вернулся в Париж и опять

явился в Булонь. Ему сказали, что я в Риме. Он поехал в Рим. Тогда я телеграфировал матушке, чтобы она, если один махараджа будет меня спрашивать, ответила, что я уехал на Корсику. Телеграмма моя была нелишней. Вскоре матушка написала мне. «Да что этому махарадже от тебя понадобилось?» – удивлялась она. Хотел бы я сам это знать. Знал я только, что были у него на меня какие-то виды. Он не раз мне на то намекал, но – не более. О чем в действительности речь, оставалось тайной за семью печатями. Наконец, я узнал, но случилось это много позже.

А теперь донесли мне, что он вернулся в Париж и рвет и мечет. Смертельно обидевшись, индус перестал добиваться меня и долгое время не подавал признаков жизни.

А для мадам Хуби я стал задушевным другом. Обойтись без меня она не могла. Вся жизнь толстухи была сплошным разгулом и пьянством. Окружение ее соответственно составляли люди, не знавшие ничего, кроме охоты, скачек, обжорства, питья и интрижки при случае. И никому бы и в голову не пришло, и ей в первую очередь, что в этом безобразном теле – прекрасное сердце и душа, которую она только-только начала распознавать, – так, по крайней мере, я думал. Артисты и особенно музыканты, которых я привел к ней, вскоре стали завсегдатаями в ее домах на Фридланд и за городом. Русская музыка и цыганские песни стали для нее открытием. Оказалось, у нее глубокий, волнующий до слез голос. До сих пор вижу ее глаза, когда впервые она согласилась спеть в сопровождении м-ль Петровской, замечательной пианистки и аккомпаниаторши. Притом обладала она прекрасным слухом, скоро выучила русские и цыганские песни и пела их замечательно. Я мог ее слушать часами.

Нашей Биби – так мы звали ее за глаза – вздумывалось порой делать широкие жесты, сколь чрезмерные, столь и неожиданные. Увидав ее страсть к музыке, я привел к ней своего русского друга, барона Владимира фон Дервиза, певца и пианиста-любителя, очень, однако, недурного. Мадам Хуби позвала его с женой на ужин. За столом оказался я меж хозяйкой дома и баронессой фон Дервиз. Во время трапезы Биби сняла с руки браслет с брильянтами и надела мне. «По-моему, браслет больше пойдет моей соседке», – сказал я и передал его дальше.

Все мы решили, что это шутка, но, когда баронесса хотела вернуть браслет, Биби взять его отказалась. «Не надо, – сказала она, – он ваш». А на следующий день Ирина в свой черед получила букет роз с приколотой к нему брильянтовой брошью.

Однажды, обедая у супругов Хуби, я неосторожно обронил,

что еду на несколько дней в Брюссель повидаться с генералом Врангелем и поговорить об одном деле. Биби немедленно объявила, что они с мужем поедут тоже. Хуби, кажется, не слишком обрадовался, но перечить жене не посмел.

Отъезд наш надо было видеть. На вокзале Биби посадили на багажную тележку, чтобы доставить к поезду, а в вагон помещали ее четыре носильщика, пропихивая в дверь боком. Все места в купе были заняты горами ее багажа. Открыли корзины с провизией и шампанским и до Брюсселя ели и пили без передыха.

В Брюсселе мы остановились в одной гостинице и условились сойтись вечером ужинать. Я распаковал свой чемодан и ушел по делам.

Вернувшись в гостиницу, от швейцара узнал я, что мадам Хуби потребовала к себе в номер рояль и, когда директор отказался, разгневалась и вместе с мужем покинула гостиницу. Он передал мне новый ее адрес. В записке Биби просила переехать к ним тотчас.

На новом месте Биби времени даром не теряла. В доме уже все было по ее. Сама она, как всегда в кокошнике, с супругом вместе сидела за трапезой, взявшейся, словно из скатерти-самобранки. Хуби молча пил и, видимо, был не в духе, в отличие от жены, ликовавшей, как дитя, которое обмануло отца с матерью.

– А, светлость! – вскричала она, завидев меня. – Пришел наконец! Терпеть не могу гостиницы. Все директора – говно. Я наняла этот дом на три месяца и уже вызвала русских музыкантов. Они будут с минуты на минуту. Садись. Ешь и пей... Тебе что, мало в Париже дел? Еще и сюда прикатил... Псих.

Вскоре подоспели музыканты из ночного кабаре, и ужин закончился очень приятно.

На другой день Биби вызвала меня ни свет, ни заря. Я застал ее в постели в рыданиях.

– Вилли! Нет больше Вилли! – гудела она. – Ушел ночью. А я его обожаю! Жить без него не могу... Светлость, помоги найти его!

Она протянула мне комок бумаги. Это была записка, которую оставил ей Вилли на прощание: «Дорогая Ханна, ухожу и не вернусь. Желаю счастья. Вилли».

Позвонили в Париж на Фридланд. Барон Тюрпен ответил, что Вилли не появлялся, а если появится, ей сообщат тотчас.

Тем временем Биби решила вернуться в Париж и взяться за поиски как следует.

Всю обратную дорогу она пила и рыдала, рыдала и пила, и, чем больше пила, тем больше рыдала.

Сообщили в полицию. Квартиру на Фридланд наводнили

полицейские и частные детективы. Восседая, как генерал на военном совете, мадам Хуби в кокошнике и ночной рубашке давала приказания одно нелепей другого. Вдруг она заметила молодого человека, походившего, по правде, скорей на могильщика, нежели на сыщика. Она тотчас крикнула ему:

– Эй, ты, говнюк, могильная твоя рожа! Какого черта не уходишь? Давно б уж вернулся!

Наконец Вилли нашли. Он прятался в Ницце, в маленьком семейном пансионе.

Биби села в свой автомобиль и помчалась на Ривьеру. Вернулась она спустя несколько дней вместе с супругом. Супруг ее имел вид побитой собаки.

Глава 10

1927. Строгие критики моей книги – Странная ссылка в Испанию – «Королева Ронды» – Радушие каталонцев – Тревожные вести из Булони – Нарушаю границу – Махинации и бегство моего поверенного – Разгадка испанской «ссылки» – Миссис Вандербильт приходит на выручку – Супруги Хуби переезжают в Булонь – Венский прорицатель – Фульк де Ларенти

Выход в свет книги «Конец Распутина» настроил против меня часть русских эмигрантов. Посыпались письма с оскорблениями и угрозами, почти все, как водится, анонимные.

Да в чем я, собственно, провинился? В том, что рассказал правду об одном российском деле, которое плохо знали и ошибочно представляли иностранцы, ничего в российских событиях не понимавшие. Я сказал уже, почему счел нужным вернуться в мучительное прошлое, впрочем, совсем еще недавнее, и поведать обо всем, чему сам был свидетель. «Мы не вправе оставить будущему мифы», – писал я в предисловии. Моей целью было мифы развенчать. Слишком укоренились они стараниями лживых и предвзятых книжонок, газетных статей, фильмов и театральных пьес.

Самыми суровыми критиками оказались крайне правые. Я и думать не мог, что распутинщина еще так сильна в иных умах. Люди эти устраивали сходки и голосили, заявляя, что книга моя – скандал, что оскорбил я память императора и семьи его, хотя упрек у критиков был ко мне один: что показал я истинное лицо «святого старца».

Зато в качестве компенсации получил я и похвалу от многих, в частности от митрополита Антония, главы русской православной церкви на Западе. Его замечание ничего общего не имело с бранью обвинителей моих.

«Единственное, в чем подозреваю вас, – западный конституционализм, чуждый русскому уму, – писал мне Антоний. – Не будь этого, дал бы вашей книге самую высокую оценку. И тем не менее, ваша любовь к императору и глубочайшая вера найдут в читателе горячее одобрение».

Беда не пришла одна. В один прекрасный вечер, вернее ночь, пожаловала ко мне некая женина родственница. Поздний визит объяснила она важностью и срочностью дела. В самом деле, уверила она, послана ко мне министром внутренних дел сказать, что мне следует срочно покинуть Францию, дабы не попасть в

газеты в связи с делом о фальшивых венгерских купюрах, которое обсуждала тогда печать. Министр-де не хотел бросать тень на императорскую семью, к каковой, как он знал, принадлежал я, и поспешил дать мне добрый совет через своего личного секретаря.

Я был потрясен! «Советчица», однако, торопила меня с отъездом, даже, мол, если обвинение несправедливо, в чем она, мол, не сомневается. При ней оказалось два заграничных паспорта – для меня и моего камердинера.

Ирина к известию отнеслась спокойно. По ее мнению, надо просто не обращать внимания. «Добрый совет» показался ей недобрым. То же самое показалось и мне, и поперву я отказался. Но посетительница была все ж не чужим человеком и, несомненно, желала мне только добра. Чтобы не навлекать неприятностей на Ирину и ее родных, я решил ехать.

Ноябрь – не лучший месяц для посещения средиземноморских стран. Они хороши летним теплом и солнцем. Промозглая и дождливая, Испания мне не понравилась. В Мадриде стоял собачий холод и дальше чем южнее было, тем холодней. В Гренаде, правда, красота все же согрела меня. Но я решил, что навещу сады Альгамбры когда-нибудь в более подходящее время.

По дороге из Гренады в Барселону я остановился в Ронде, дивном городке, где намерен был провести ночь и утро следующего дня. Не прошло и нескольких часов, как принесли мне приглашение на ужин от герцогини Парсентской. Имени этого я не знал. На вопрос мой, кто сия дама, гостиничный служитель отвечал, что дама – немка и в Ронде она – старожилка и благотворительница. Прозвали ее «королева Ронды». Дирекцию гостиницы обязала она сообщать ей обо всех приезжающих и приглашала к себе всякого, кто казался ей достойным внимания. «Еще одна сумасбродка», – подумал я, собираясь к ней.

Хозяйка оказалась обворожительна, к тому же приняла меня, как старого знакомого. И действительно мы скоро обнаружили много общих друзей. Ее *Casa del Rey Moro* (дом мавританского короля) был совершенно великолепен – счастливое сочетание испанского колорита с английским комфортом. Герцогиня предложила перенести мои вещи из гостиницы к ней, если я пожелаю у нее ночевать. Согласился я с великой охотой.

Пришли новые гости, так же не знавшие хозяйку, как только что не знал я. В силу своей неожиданности ужин был не чопорен и весел. А хозяйкины радушие, остроумие, юмор стали приятнейшей приправой к нему, так что вспоминаю о нем ныне охотно.

Наутро, перед тем как мне ехать, герцогиня провела меня по городу и показала школы и мастерские, ею созданные. Купил я несколько вещиц в память о времени, проведенном с милой «королевой Ронды».

Устав от второсортных гостиниц и мерзкой пищи, которую не ел, хоть и умирал с голоду, в Барселоне я остановился в «Ритце». Деньги были на исходе, но я не беспокоился. Судьба всегда вывозила, вывезет и теперь.

В Барселоне встретил я испанцев – парижских знакомых. Те познакомили меня со своими знакомыми. Иные жили за городом. В считанные дни оказался я знаком со всей Барселоной и окрестностями. Каталонцы – народ гостеприимный и приветливый. Нигде не принимали меня дружелюбней, искренней, проще.

Я находился еще в Барселоне, когда получил от Ирины отчаянные письма. Со времени моего отъезда, писала она, наш поверенный Яковлев повел себя как-то подозрительно. Постоянно подсовывал ей на подпись бумаги, которые подписывать, ей казалось, не следует. Просил, к примеру, подписать доверенность на продажу всех оставшихся у нас драгоценностей.

Будь что будет – я решил вернуться. Написал Ирине, что еду, и велел не подписывать ни бумажки. Затем послал свой паспорт особе, вручившей мне его: объяснил ей, что должен срочно вернуться, и просил достать бельгийскую визу. Из Бельгии въехать во Францию можно без проблем. Особа ответила, чтобы сидел я там, где сидел. О паспорте, стало быть, и речи нет.

Беду свою я поведал другу-барселонцу. Он предложил тайком отвезти меня на своем автомобиле к границе и помочь перейти ее. Я оставил чемоданы в гостинице на попечение камердинера, и в тот же вечер мы с моим барселонцем оказались в небольшом горном селении Пуигсерда. Ночью заснеженными тропками, по колено в снегу, мы дошли до границы, и пересек я ее преспокойно.

На рассвете я пришел в Фон-Раме. После ночной ходьбы в горах я валился с ног, однако ж забыл всякую усталость, увидав, как прекрасен снег в лучах восходящего солнца.

Первым делом позвонил я Ирине и успокоил ее. Просил немедленно прислать мне Каталея со сменой одежды и сказал, что скоро буду.

Каталей приехал мрачнее тучи. Рассказал он о том, что случилось в мое отсутствие. С Яковлевым было все ясно. Ясно было и то, что не он один в деле.

Ирина встречала меня на вокзале с давнишним нашим

другом князем Михаилом Горчаковым. На обоих лица не было. Яковлев, сообщили они, едва услышал о моем возвращении, скрылся бесследно. Особа, пославшая меня в Испанию, уехала в Америку.

Я, однако, знал, что Яковлев не прохвост, а просто безвольный человек. Потом, три года спустя, он явился с повинной, и я не удивился, узнав от него, что во всем этом деле он был только пешкой.

Ирина от всех переживаний похудела и заработала нервное истощение. Я мучился, что частично сам в том виноват, к тому ж было больно столкнуться с предательством. Случилось это не в первый раз и, понятно, не в последний, но не доверять – не в характере моем, да и не в принципах. Одних недоверием оскорбляешь, других – искушаешь. За доверие свое я уж достаточно поплатился, но правилам своим не изменил.

Требовалось срочно найти Яковлеву замену и навести порядок в делах. Знал я некоего Полунина Аркадия. Генерал Врангель говорил, что человек он на редкость порядочный и сообразительный. Ему-то я все и поручил. Перво-наперво он занялся таинственной «испанской» историей. Благодаря своим политическим связям выяснил все в два счета. Бриан провел расследование и установил, что имя мое никоим образом не было связано с делом о венгерских купюрах и никаких секретарей министр внутренних дел ко мне не посылал. Все оказалось липой. Хотели удалить меня из Парижа, чтобы легче устроить наше разорение.

Найти поверенного было только полдела. Требовались деньги – спастись от разорения и вернуть заложенные брильянты. Один богатый грек по фамилии Валиано прежде говорил мне, что я всегда могу на него рассчитывать. Полный надежд, позвонил я в дверь его особняка на авеню дю Буа. И мне, полагавшему, что я спасен уже, привратник сказал: «Господин Валиано позавчера умер».

Стараниями Полунина мы кое-как еще держались. Он костьми ложился, чтобы исправить положение. Но когда казалось, сделать уж больше ничего нельзя, все вдруг исправлялось само собой. Так получилось и с домом «Ирфе». Был конец месяца. Надо было платить по счетам, в кассе – шаром покати. Утром я пришел на улицу Дюфо без гроша, но с верой в судьбу. В одиннадцать милая моя Вандербильт, как вихрь, ворвалась в контору. Только что из Нью-Йорка – и первая мысль ее об «Ирфе». Узнав, что вот-вот разразится катастрофа, она обратилась к директрисе, мадам Бартон, и получила объяснения. «Господи, Феликс, – вскричала

она, – что же вы мне не написали? Сколько вам нужно?» Она достала чековую книжку, вырвала листок и вписала сказанную мной сумму.

Слухи о наших трудностях дошли до мадам Хуби. Она предложила купить у нас булонский дом, а нам поселиться во флигеле с театром. Перспектива была не из лучших. Мало радости иметь Биби под носом и терпеть ее деспотизм. Но выбирать теперь не приходилось. Поступили мы разумно, но лишились наших многочисленных гостей-постояльцев. Они, впрочем, поняли и не обиделись. Дом быстро опустел. Супруги Хуби поселились в большом здании, а нам оставили во флигеле квартиру над театром.

Пока мы боролись с разорением, получил я письмо от одного венского прорицателя с предложением услуг.

Не впервые получал я письма подобного рода. Колдуны и оккультисты, углядев в моем прошлом некую злую силу, похвалялись, что победят ее, и навязывались мне в охранители. До сих пор письма ни малейшего интереса не представляли, не стоило даже и отвечать. Не то с венским ясновидящим. Он очень точно описал мой характер. Даже привел подробности некоторых моих жизненных обстоятельств, известные мне одному. Это поразило меня. Я написал ясновидцу, что охотно повидаюсь с ним, когда он приедет в Париж.

Вскоре известил он меня о приезде. Придя на встречу с ним, я увидел перед собой истощенное существо с бескровным лицом и блестевшими странно глазами. Он был в черном, что усиливало зловещий вид его. В руке держал длинную эбеновую трость с серебряным набалдашником, крюком, как епископский посох. Было в нем что-то и святое, и дьявольское. Привлекал он меня мало, но любопытство внушал, так что я пригласил его к нам в Булонь на ужин.

Водка, которой я потчевал предсказателя судьбы, пришлась ему по вкусу, и он тотчас потерял всякую сдержанность. Обратясь поочередно к каждому, объявил он им вещи крайне нескромные, то, что всяк предпочел бы держать про себя. «Жена твоя спит с французским офицером. От него и ребенок твой», – сказал он одному нашему другу. А бедняга мой лакей, который и вовсе его ни о чем не спрашивал, извещен был, что подхватил сифилис. Закончив вещать, вещун разрыдался и покинул нас, на прощание, однако ж, поцеловав нам руки и благословив всех.

С его уходом тяжкое впечатление, им произведенное, не рассеялось. Долго потом было нам всем не по себе. Ирина ж и

вовсе слышать о нем не могла.

Тем временем мадам Хуби, страстно интересовавшаяся всем, что у нас происходит, узнала о нашем госте и решительно потребовала привести венского мага и к ней. Маг отказал столь же решительно. Тогда Биби попросила сводить ее к нему, и я неосторожно согласился. Остановив автомобиль у гостиницы, где проживал кудесник, Биби послала меня к нему просить выйти к машине или подойти к окну поговорить с ней. Долго я его уговаривал. Наконец уговорил. Но Биби, когда подошел он к окну, стала осыпать его такой непристойной бранью, какой он, верно, в жизни не слышал. «Сучий потрох» и «венская сосиска» было самым безобидным. Прохожие останавливались. Вскоре у гостиницы собралась толпа. Насилу угомонил и увез я Биби. А прорицатель обиделся насмерть, обвинив во всем меня. Не успев начаться, сношения наши кончились. А все ж, признаюсь, советы его оказались хороши. Думаю, он и впрямь желал мне добра. Верно, был он из тех полубезумцев, каких коллекционировал я всю жизнь. По слухам, уверял сей чудак, что он побочный сын моего отца и одной из великих княгинь.

Однажды днем, вскоре после моего возвращения из Испании, явился ко мне высокий молодой человек спортивного вида. Сказал, что он кузен мой, граф Фульк де Ларенти-толозан, офицер авиации. Я действительно помнил его малым ребенком, но с тех пор потерял из виду, да, впрочем, и не знал, что меж нами родство.

Говоря столь быстро, что я еле понимал его, Фульк стал объяснять, что женился на русской, Зинаиде Демидовой, и что она – дочь падчерицы брата моего отца, из чего и следует, что он, Фульк, – мой кузен.

По-моему, из этого не следовало ничего, но все ж его простосердечие и чудаковатость мне понравились, и я согласился считаться с ним в родстве, как ни казалось оно смехотворным. И не пожалел ни минуты. Фульк и его прелестная женушка Зизи были нам сомнительные родственники, зато несомненные друзья.

Разумеется, мадам Хуби тут же пронюхала и захотела с «кузеном» познакомиться. Знакомство их случилось совершенно неожиданно, когда ужинали мы с Биби с глазу на глаз. По внезапной прихоти, напомнившей мне махараджу, подруга моя просила меня нарядиться индусским принцем, а сама надела кокошник, который все еще обожала.

Только мы сели за стол, доложили, что пришел де Ларенти.

– Пусть войдет! – крикнула Биби. – Хочу его видеть!

Фульк как вошел, так и замер от изумления, увидав хозяйку в

кокошнике и гостя в индусском платье.

– Что уставился, людей, что ль, не видел? – сказала Биби. – Садись и рассказывай, что ты еще светлости за родня такая.

Слегка сбитый с толку, Фульк сел и пустился в объяснения. Биби слушала сперва внимательно, потом нетерпеливо. Наконец, она перебила его:

– Стало быть, Феликсов дядя – жене твоей дед?

– Не дед, а бабкин муж, – сказал Фульк, замороченный.

Биби зарычала.

– Черт! Заткни глотку, дурак! Будет молоть! Е… твою мать!

Давно мы так не смеялись.

Глава 11

1928. Новая клевета – Смерть генерала Врангеля – Замок Лак – Неудачное дело в Вене – В Дивонне с дамами Питтс – Коллективный отдых в Кальви – Дочь Распутина вчиняет иск – Я уговорил матушку переехать в Булонь – Гриша

Расхлебывая заваренную в Париже кашу, я после испанской «ссылки» не успел еще повидаться с генералом Врангелем. Улучив, наконец, свободную минуту, помчался в Брюссель. Генерал, увидев меня, ахнул и протянул газету, которую читал:

– Ну, Феликс, вы в Париже даром времени не теряете! Прочтите-ка, что пишут о вас.

Это был номер парижских «Дней» от 10 января 1928 года. «Дни», русскую ежедневную газету, издаваемую Керенским под псевдонимом Аарон Кибрис, не признавал в русской среде ни один порядочный и разумный человек.

В газете говорилось, что замешан я в безнравственной истории, история осложнена финансовым скандалом. Всем этим заслужил я каторгу, но получил всего-навсего ссылку. На следующий день та же газета доложила подробности, самые оскорбительные, назвала сумму, которую заплатил я, чтобы не угодить за решетку, уверила, что место моей ссылки – Баль, и в заключение объявила, что дом «Ирфе» разорен и большое число людей осталось без работы.

Вернувшись в Париж, я кинулся к известному адвокату, мэтру де Моро-Джаффери, которому поручил все дело. На другой день десяток газет получили и напечатали следующее сообщение:

> «Уже в течение некоторого времени чудовищная клевета распространяется на счет князя Юсупова. Русская социалистическая газета „Дни“, издаваемая в Париже г-ном Керенским, бывшим председателем Временного правительства России 1917 года, опубликовав эти грязные измышления, обязана дать немедленное опровержение в силу полной несостоятельности приводимых ею фактов».

Мавр, тем не менее, сделал свое дело. В русской колонии разразился скандал. Пошли молоть вздор. Сочинялись небылицы одна другой хлеще и сцены в балаганном духе: послушать болтунов, выходило, что я даже съел свою жертву, разделав и сварив ее!

Были голоса и за меня. Брешко-Брешковский в «Последних новостях» защищал меня пылко, резко и не без юмора. Но клевету напечатали газеты повсюду – и во Франции, и за границей, даже в Японии. Я вчинил иски и выиграл. Торжествовал я вполне: газету «Дни» запретили. Торжество мое, правда, было только моральным. Материально враги мои меня разорили. Напуганные газетными россказнями, кредиторы стали преследовать меня, а банки отказали в кредите. Но хуже всего то, что клевета и газетная шумиха причинили боль Ирине и моим родителям. И так никогда и не узнал я, кто автор мерзких статей. Какие-то фамилии назывались, но дальше предположений дело не пошло. Профессиональная тайна. Проверить невозможно.

И так бедам я раскрыл ворота. По городу ходили векселя с моей подписью: я сохранил кое-что и признаю – подпись подделана превосходно. Или же в префектуру полиции вызывали: американка подала на меня жалобу, что-де, украл я у нее браслет с брильянтами. Где-то на балу она познакомилась с субъектом, выдавшим себя за князя Юсупова. Они танцевали, понравились другу другу, переспали, расстались. Обнаружив, что «князь» унес «на память» браслет, американка явилась в полицию. Полиция нашла гостиницу, в которой проживал псевдокнязь Юсупов, но сам субчик давно уже был таков.

Мари-Терез д'Юзес позвала меня однажды, чтобы познакомить с писателем, уверявшим, что встретил меня в клубе с весьма сомнительной репутацией, куда для очерка своего ходил изучать парижские нравы. Сказали ему, что здесь князь Юсупов. Он спросил, который, ему показали первого попавшегося. Пришлось предстать мне пред ним самолично, чтоб он удостоверился, что я – не я.

Историям подобного рода не было конца. В те годы что ни день, то новый казус. Но, как известно, один в поле не воин. Я отправился к мэтру де Моро-Джаффери. Он посоветовал написать министру внутренних дел и помог составить письмо. Я перечислил случаи, когда именем моим прикрывали различные непотребства, и заявил, что могу приравнять это к клевете и подать в суд. Как и следовало ожидать, ответа я не получил. У французского правительства были дела поважней.

В эти трудные для нас дни выяснилось, кто наши настоящие друзья. Д'Юзес, как всегда, явила прямоту и независимость характера, пригласив нас пообедать с ней в «Ритце» на глазах удивлявшейся и насмехавшейся публики. Опровержение в «Днях» и последовавший их арест мало что изменили. Людям подавай скандал, а не истину.

22 апреля 1928 года умер генерал Врангель. Смерть его была для нас огромным горем. Россия потеряла великого человека и патриота, я – замечательного друга. Сколько говорено было нами о будущем нашей несчастной родины! Сколько надежд, разочарований и снова надежд было у нас! Я верил в прямоту его суждений и правильность оценок. Привык я говорить с ним и о личных делах. И в самые трудные минуты неизменно находил в нем поддержку.

В ту весну Ирина уехала в Англию навестить мать. Во время ее отсутствия я отравился мидиями и заболел довольно серьезно. Фульк переполошился. Он вбил себе в голову, что виной всему не тухлые ракушки, а мой русский камердинер Педан. Педан, по заверениям Фулька, решил меня отравить. Напрасно я доказывал, что это абсурд. Фульк стоял на своем. Впервые тогда я увидел в этом милом, но неуравновешенном молодом человеке признаки болезненного воображения. Впоследствии дело оказалось гораздо серьезней.

Супруги Ларенти собирались в имение свое, замок Лак близ Нарбонна, и позвали меня на поправку. С удовольствием принял я приглашение, тем более что Ирина после Фрогмор-коттеджа собиралась погостить несколько недель в Дании у бабки.

Я взял с собой старуху Трофимову, а также, вопреки предостережениям Фулька, своего камердинера Педана.

Лакское имение принадлежало семье Фульков со времен Карла Великого. От древней крепости не осталось и следа. Нынешний замок, построенный при Людовике XIII, был перлом гармонии и вкуса. Впоследствии, впрочем, в приступе безумия Фульк всю красоту разрушил.

Жил я в просторной комнате в северной части здания. Окна выходили на бескрайние луга и сотни гектар соленого озера, давшего название замку. В комнате был шифоньер с потайной лестницей внутри, спускавшейся в хозяйские покои. Проведя меня по замку, Фульк показал в подземелье клетушки наподобие тюремной камеры, где порой запирался он на несколько дней, веля передавать себе пищу в отдушину.

В замке Лак познакомился я с сестрой хозяйки, графиней Аликс Депре-Биксио, красивой, как и Зизи, но, в отличие от нее, блондинкой. По вечерам старуха Трофимова музицировала. Мы слушали ее, раскинувшись на диванах в китайской гостиной под загадочным взором золоченого бронзового Будды. Как-то я в шутку сказал Фульку, что, по-моему, у Будды дурной глаз. На другой день Фульк унес его и вышвырнул в озеро. Позднее та же

участь постигла и Хуан-Инь, дивную, белой китайской эмали статуэтку, которой он особенно дорожил. Рыбаки выловили ее сетью и принесли ему, он выкинул ее снова, они снова выловили. После второго чудесного спасения он поместил ее в ящик, обложил цветами, усыпал розовыми лепестками, крепко заколотил крышкой и в третий раз погрузил в озерные воды. На сей раз навек.

В очередном бредовом порыве он собственноручно уничтожил чудный свой замок: заложил динамит и взорвал. Из каменных обломков построил два домика, для себя и детей. Жизнь его, безумная и трагическая, плачевным образом оборвалась под пулями партизан в 1944 году. «Через десять минут меня расстреляют», – писал он в патетическом прощальном письме, полученном мной после его смерти.

Зизи нелегко жилось с полупомешанным мужем, но она была ангел терпения и Фулька обожала. И то сказать: псих психом, а шарма не занимать.

Не провел я в Лаке и несколько дней, как письмо из Вены прекратило мой отдых. Приятель сообщал, что некий венский банкир готов ссудить мне крупную сумму для поддержки парижских моих предприятий, но за деньгами в Вену должен я прибыть самолично.

Покидая супругов Ларенти, я взял с них слово увидеть их месяцем позже в Кальви, куда собирался поехать с Ириной. На прощание Фульк опять уговаривал меня прогнать Педана. Он по-прежнему считал его отравителем!

Увиденная мной Вена ничего общего не имела с довоенной. В 1928 году город, прежде восхитительный, элегантный, веселый, где жизнь казалась вечным праздником, опереттой Оффенбаха и вальсом Штрауса, более не существовал. Все потонуло в вихре суеты.

Я познакомился с банкиром. Он, казалось, полон самых лучших намерений. По вопросам, какие банкир задал мне касательно обстоятельств наших, было видно, что человек он серьезный и в деле смыслящий. Договор заключили легко и почти без споров. Подписи и передачу суммы перенесли на следующий день. Стало быть, вечером того же дня уеду в Париж. Я вернулся в гостиницу окрыленный удачей – первой после долгого невезения. Радовался я, однако, рано. На другой день, незадолго до нашей встречи, известили меня, что банкир передумал. Друг, сосватавший меня с ним, смущенно объяснил, что парижские россказни на мой счет настроили благодетеля против меня.

Настроили, так настроили. Оправдываться мне претило. Но

от всех этих врагов и невзгод сил моих более не стало. Ирина была еще в Дании, и в Париже до Кальви делать мне было нечего. Я решил отправиться на несколько дней в Дивонну – лучшего места для отдыха не сыскать. К тому ж я знал, что будет мне там добрая подруга.

Елена Питтс вместе с матерью своей находилась в Дивонне на лечении. Была она русской, замужем за англичанином. Оба они умели поддержать меня в трудную минуту. Елена – высокая, стройная, всегда очень элегантная и прекрасная собеседница. Я ценил ее ум, разносторонний и тонкий. Наши вечерние беседы на террасе отеля, часто затягиваясь за полночь, стали приятнейшим моментом моей дивоннской жизни.

Мать Елены, вторым браком вышедшая за дядю своего зятя, также звалась миссис Питтс. Дама была самых строгих правил и обращения. Сдружиться с ней я не стремился, но, дружа с дочерью, обязан был, вежливости ради, ей представиться. Решил я, что конец обеда – лучшее для представления время. Закончив обедать, я встал и направился к столику, за которым дочь и мать Питтс пили кофе. Но, как только я подошел к ним, миссис Питтс-старшая вскочила столь резко, что опрокинула на скатерть и на собственное платье чашку. Дама бросила на меня испепеляющий взгляд, повернулась спиной и вышла, сказав: «Я не подаю руки убийце».

В принципе я был с ней согласен, однако ж теперь смутился и расстроился. Попробовал я задобрить старушку, послав ей букет роз со своей карточкой, на которой написал стишки. Привожу их не без стыда:

Увы, я не привечен вами!
Глазами, полными огня,
Взглянувши, бранными словами
Вы удостоили меня.
Но буду очень благодарен,
Коль сей поведает венок,
Что титулованный татарин,
О миссис Питтс, – у ваших ног!

Мадригалом я достиг обратного. Миссис Питтс возненавидела меня окончательно.

Впрочем, мои нелады с Питтс-старшей никак не отразились на дружбе с Питтс-младшей. У Елены хватило ума понять все правильно. По вечерам мы по-прежнему беседовали на террасе, и радость наших встреч ни одно облачко не омрачило.

Как только мать и дочь Питтс уехали из Дивонны, отбыл и я. Написал Ирине, что буду ждать ее в Кальви, и поехал домой. В Париже встретил старого друга, кавказца Таухана Керефова. Его и старуху Трофимову позвал с собой на Корсику. До Марселя отправились мы на автомобиле. Был у меня знакомый марселец-антиквар, у которого мог я купить недорого старинную мебель и утварь для нашего дома в Кальви. Обедая в Старом порту в бистро, услыхали мы двух отличных музыкантов, гитариста и флейтиста. Я подумал, что неплохо бы заполучить их для наших будущих вечеров в Кальви, и тотчас нанял обоих. Мы поместили их с собой в автомобиль и поехали в Ниццу, где назначил я встречу супругам Ларенти и Калашниковым, званным мной в Кальви также.

В Ницце проживала старая наша приятельница, которую знакомили мы с «профессором Андерсеном». Я и ее пригласил, сказав, что выдадим ее за королеву, путешествующую инкогнито. Обещал, что Трофимова будет ее фрейлиной, а мы все – свитой!

В день отплытия устроили ей музыку. На музыкантов, вдобавок, собралась толпа. Королева взошла на борт принародно, под звуки гитары и флейты. Я телефонировал друзьям в Кальви и просил встретить достойно, ибо везу государыню. К несчастью, плыли мы в сильную качку, и все величие с нашей государыни слетело. И тем не менее приняли ее в Кальви по-королевски. Два следующих дня осматривали мы этот дивный остров. Автомобильчик у меня был крошечный, «Розенгарт». А нас было много. Я нанял автомобиль с открытым кузовом, где разместили мы стулья и кресло для «королевы». В сем импровизированном шарабане мы ездили по Корсике. Иногда заглядывали в портовые кабачки, танцевали с рыбаками. Флейтист с гитаристом находились при нас постоянно. Порою задавал я серенады под окнами «ее величества». Она выходила на балкон и в знак благодарности махала платком.

У антиквара попалась мне прелестная безделка, из тех, о каких грезят собиратели механических игрушек: в клетке птичка-невеличка приводилась в движение механизмом и издавала соловьиные трели – в точности соловей! «Королева» наша дивилась, что соловей поет днем и ночью. «Видите, – говорил я ей, – даже и соловей признается вам в любви и ради ваших чар изменяет привычкам».

Игрушку я брал с собой на прогулки и, пользуясь «государыниной» слепотой, заводил механизм. И «государыня» вздыхала, заслышав пение: «Мой верный соловушка прилетел за мной!»

Время летело незаметно. Ирина запоздала и приехала в день, когда уезжали все наши гости, кроме Калашниковых. В дороге она простудилась и, приехав, сразу слегла. Несколько дней спустя моя мать телеграммой вызвала нас в Рим, так как состояние здоровья отца внезапно ухудшилось. Ирина лежала с высокой температурой и переживала, что не может ехать со мной. Я оставил ее на Нону и в тот же вечер отбыл в Рим.

Матушку я нашел спокойной, как всегда в трудные минуты, но по глазам понял, как страдает она. Узнав о моем приезде, отец тотчас потребовал меня к себе. Жить ему оставалось считанные часы, но он еще был в полном сознании. В последнее это свидание неожиданная его нежность потрясла меня. Нежным мой отец не был никогда. Напротив, с детьми своими держался холодно, даже черство. В последних словах, глубоко меня взволновавших, сожалел о суровости своей, которой на самом деле никогда не было в его сердце.

Умер отец в ночь на 11 июня, без мучений, до последней минуты сохранив ясность ума. После похорон я рассчитывал побыть некоторое время с матушкой. Была она сама твердость, но боялся я, что самое тяжкое – впереди. Да и к тому ж требовалось улаживать денежные дела. Средства родительские были ограниченны, а с болезнью отца и вовсе истощились.

Но человек предполагает, а Бог располагает. Не успели отца похоронить, телеграмма от Полунина вызвала меня в Париж: сославшись на опубликованную мной книгу, дочь Распутина Мария Соловьева вчинила мне и великому князю Дмитрию иск с требованием компенсации в двадцать пять миллионов «за нанесенный ей убийством моральный ущерб». Пришлось все бросить и мчаться в Париж.

Интересы Соловьевой защищал адвокат Морис Гарсон. Наши я поручил мэтру де Моро-Джаффери.

Но за давностью событий и в виду некомпетентности суда окончилось все постановлением о прекращении дела. Да и личность истицы суду доверия не внушала. Муж ее был тот самый двойной большевистско-германский агент Соловьев, который парализовал все попытки устроить бегство царской семьи из тобольского плена.

Помогал дочери Распутина еврей Аарон Симанович, давнишний распутинский секретарь. Он и затеял тяжбу, и дал на нее деньги.

Узнав о прекращении дела, я поспешил к Ирине в Кальви. Она рассказала мне, что кальвийцы, узнав о соловьевском иске, подали протест депутату от Корсики. В то время депутатствовал

г-н Ландри.

Вскоре мы уехали в Рим. Как и опасался я, матушка оказалась в ужасном состоянии. Тетя Козочка не скрывала беспокойства за ее здоровье. Вся эта газетная клевета в мой адрес, сказала она мне, суды, письма, и добрые, и злые, полученные родителями в последние месяцы, вызвали в матушке нервное истощение и ускорили кончину отца. Глубоко страдал я, слыша все это, тем более что бессилен был поправить зло, которое сам же невольно и причинил.

Я стал упрашивать матушку переехать к нам в Булонь. Перемена обстановки, любимая внучка, жившие в Париже старые подруги, с которыми она не виделась долгие годы, – такая жизнь, казалось мне, будет ей намного полезней, нежели одинокое житье в Риме.

Наконец она согласилась. Условлено было, что через несколько месяцев она переедет.

Я искал управляющего для корсиканского имения – замка и фермы. Педан мне показался вполне подходящ. К тому ж я хотел отдалить его. Не потому, что не доверял, напротив, доверял как никому. И до Фульковых наветов дела не было. Но слуга мой не терпел приказов ни от кого, кроме меня. Дерзил людям сверх всякой меры.

Теперь на смену ему нужен был камердинер. Одна приятельница порекомендовала мне русского юношу, искавшего места. Хвалила она своего протеже очень горячо, так что я просил прислать его. Гриша Столяров тотчас понравился и мне. Было во всем его облике что-то чистое и честное, вызывавшее в вас симпатию и доверие. Стоило мне на него взглянуть, увидеть внешность, манеры, прелестную детскую улыбку, я нанял его, ни минуты не колеблясь.

Он рассказал свою горькую историю. Семья его жила на Украине. Сам он сражался в белой армии и был одним из тех кавалеристов, которым в 1919 году удалось соединиться с сибирским, высланным на разведку, отрядом. Оказавшись с остатками врангелевской армии в Галлиполи, он услышал, что Бразилии требуются хлебопашцы, и вместе с шестьюстами товарищами отбыл в Рио-де-Жанейро. Оказалось, нужны только сборщики кофе, притом условия работы ужасны. Большинство плюнуло и отпыло с тем же кораблем, на котором прибыло. Капитану не терпелось отделаться от беспокойных пассажиров. Когда вошли в Средиземное море, им объявлено было, что, хотят они – не хотят, высадят их на Кавказе. Они возмутились и взбунтовались. Капитан, не имея средств одолеть несколько сот

человек, не желавших идти к большевикам, по телеграфу запросил из Аяччо французское правительство. Ответ был такой: или Кавказ, или Турция. Почти все выбрали Турцию. Их высадили в Константинополе и предоставили собственной судьбе. Был в их числе и Гриша. В Константинополе он прожил три года. Но судьба ему не улыбнулась. Жил он один, от семьи с Украины известий не имел. Решил поехать в Париж к соотечественникам, где надеялся найти атмосферу спокойную и семейственную.

Насчет спокойствия – не знаю. В доме у нас были постоянные приезды-отъезды, да и сами мы сегодня не ведали, где будем завтра. Все же Гриша мало-помалу привык, привязался к нам, как и мы к нему, и стал почти что членом семьи.

Никогда я не встречал существа более бескорыстного. Да, думаю, такого и на свете нет. Узнав о наших денежных трудностях, Гриша отказался от жалования. В наше время эгоизма и алчности немного, верно, найдется примеров подобного бессребреничества и преданности.

Гриша и теперь с нами, но, однако, уж не один. В 1935 году он женился на красавице гасконке, веселой, живой, черноглазой, чистой и честной, как и супруг ее. Мужа она обожает и обожаема в ответ. Гриша с Денизой – чета необычная, русско-гасконская. Две природы, две натуры в одном едином целом. И мы уважаем и любим их.

Глава 12

1928–1931. Смерть императрицы Марии Федоровны – Наши краденые вещи проданы в Берлине – Смерть великого князя Николая – Потеря нью-йоркских денег – Кальви – Рисую чудовищ – Матушкин переезд в Булонь – Племянница Биби – Письмо князя Козловского – Двуглавый орел – Смерть Анны Павловой – Похищение генерала Кутепова – В Шотландии с махараджей – Разгадка тайны и мой поспешный отъезд – Смерть махараджи – О его жестокостях

13 ноября 1928 года в Дании в возрасте 81-го года умерла императрица Мария Федоровна. С ней закончилось прошлое. Влияние этой замечательной женщины было всегда благотворно для второй ее родины. Жаль, что в последние годы империи к голосу ее не слишком прислушивались. Зато слушали ее в семье. Лично я никогда не забуду, как в два счета уладила она историю с помолвкою любимой внучки Ирины.

Последние дни провела она на вилле Гвидоэр, которой владела на пару с сестрой Александрой. Сестры обожали этот свой простой деревенский дом, с которым связаны у них были чудесные воспоминания.

Когда мы приехали в Копенгаген, гроб уже находился в копенгагенской православной церкви. Покрыт он был Андреевским и королевским датским флагами и утопал в цветах. Русские кавалергарды, последовавшие за государыней в ссылку, стояли вместе с датскими гвардейцами в почетном карауле.

На похороны последней императрицы из династии Романовых съехались все августейшие европейские фамилии. После отпевания митрополит Евлогий дал отпущение грехов и произнес длиннейшую речь по-русски, которая была для европейцев настоящей пыткой. После панихиды специальный поезд отвез нас в Роскильде, где императрицу захоронили в соборе, в усыпальнице датских королей.

Ирине хотелось побыть с родными. Я оставил ее в Копенгагене, а сам отправился в Берлин наведаться в наш берлинский «Ирфе».

А в Берлине, в галерее Лемке, Советы организовали продажу произведений искусства. В иллюстрированном каталоге я узнал некоторые наши вещи. Обратился я к адвокату мэтру Вангеманну и просил его предупредить судебные власти и приостановить продажу до разбирательства дела в суде. Другие русские эмигранты, оказавшиеся в подобном положении, приехали также

в Берлин и присоединились ко мне. Со мной случился буквально шок, когда увидал я мебель, картины и редкостные вещицы из матушкиной гостиной нашего дома в Санкт-Петербурге.

В день торгов полиция вошла в зал и конфисковала все указанные нами предметы, что вызвало некоторую панику и у покупателей, и у продавцов. Мы не сомневались, что собственность нашу нам возвратят. Мэтр Вангеманн не сомневался также, ибо по немецким законам всякая собственность, краденая или взятая насильно и продаваемая в Германии, подлежит возвращению владельцу вне зависимости от политической ситуации в стране. Но, со своей стороны, большевики заявляли, что декретом от 22 ноября 1919 года советское правительство силой своих полномочий конфисковало все имущество эмигрировавших и немецкие власти не вправе вмешиваться. Увы, большевики выиграли дело. Из Берлина уехал я в сильнейшем расстройстве.

В Париже в «Ирфе» ждал меня Буль. Он протянул мне листок с объявлением, которое якобы собирался дать в газете «Фру-Фру».

> «Я, нижеподписавшийся г-н Андрэ Буль, русско-англо-датских кровей, нежный сердцем и крепкий телом, ищу жену.
>
> *Подписал: Андрэ Буль,*
>
> *слуга светлейшего князя.*
>
> *27, улица Гутенберга, Булонь-сюр-Сен».*

Что-что, а насмешить Буль умел.

В январе 1929 года русская эмиграция была снова в трауре. Скончался великий князь Николай, в 1919 году покинувший вместе с нами Россию. Поначалу великий князь поселился в Италии в Санта-Маргарите с женой, сестрой королевы Елены. Потом переехал во Францию, в Шуаньи (департамент Сена-и-Марна), где жил уединенно, в стороне от политики, и принимал у себя лишь самых близких.

Зимой я узнал, что деньги, вырученные от продаж у Картье и вложенные мной в трест, занимавшийся недвижимостью, пропали в разразившемся в Нью-Йорке финансовом кризисе. Матушка, таким образом, осталась без копейки. Я послал ей все, что имел наличного, просил поспешить с переездом и занялся обустройством ее жилья. Хотелось сделать все возможное, чтобы жилось ей у нас хорошо и удобно. Комнату я устроил ей в соответствии с ее вкусами и привычками. Большая кровать,

шезлонг у камина, столики под рукой, кресла со светлой кретоновой обивкой, английские гравюры и вазы для любимых ее цветов. Эта простая и веселая комната стеклянной дверью сообщалась с террасой, которая летом бывала настоящим цветником. Я уже видел матушку сидящей тут в плетеном кресле с книгой иль рукоделием.

Когда все было готово, мы поехали в Кальви. Со времени последнего нашего отдыха случились тут большие перемены. Друг мой Керефов купил в Кальви бывший архиепископский дом и завел у себя ресторан и бар. Заведение его скоро стало лучшим в округе, и от посетителей отбоя не было даже и за полночь. По ночам частенько просыпались мы, разбуженные приезжавшими и уезжавшими автомобилями. В порту стояли роскошные яхты, на пляже яблоку негде было упасть. Кальви заполонили туристы, и он уж не был тем райским уголком, который покорил нас впервые.

В те годы мне вдруг неудержимо захотелось рисовать. До сих пор рисовала у нас Ирина: изображала всякие фантастические образы – лица с огромными глазами и странными взорами, казалось, каких-то нездешних существ.

Под впечатлением, видимо, Ирининых рисунков затеял я свои. Отдался рисованию с жаром. Приковало к столу, точно колдовской силой. Но получались у меня не ангельские создания, а кошмарные видения. Это я-то, любитель красоты во всех видах, стал создателем монстров! Словно злая сила, поселившись во мне, владела моей рукой. Словно кто-то рисовал за меня. Я сам в точности и не знал, что сейчас нарисую, и рисовал чертей и чудовищ, родичей химер, мучивших воображение средневековых скульпторов и художников.

Кончил я рисовать так же внезапно, как и начал. Последний мой персонаж вполне мог бы сойти за самого сатану. Профессиональные художники, которым я показал своих уродцев, удивлены были технике моей, которой, по их словам, добивались обычно годами занятий. А ведь я в жизни не держал ни карандаша, ни кисти, пока не заболел своими монстрами, да и потом, когда потерял охоту к рисованию и бросил, не смог бы повторить их никакими стараниями.

Почти с каждым пароходом прибывали друзья и поселялись у нас на несколько недель. В конце концов в доме стало тесно, и мы оставили замок в полное распоряжение гостей, а сами перебрались на ферму. Во всем этом многолюдии ни минуты покоя. Что ни день, то походы или морские прогулки. Однажды, этак прогуливаясь, наш Калашников чуть не утонул. Мой шурин

Никита бросился в воду и спас его. Но это был какой-то проклятый день. Причалив в Кальви, домой мы поехали на автомобиле. Стояла ясная лунная ночь, фары я не включал и на повороте, не разглядев, угодил в ров, в самые заросли терновника. Обилие и подлость терновых колючек всем известны. Никита был весь в занозах, то же и Панч. Врач, вызванный к человеку, врачевал заодно и пса.

Депеша из Рима, в которой матушка сообщала о своем приезде, положила конец кальвийским каникулам. С первым пароходом уплыли мы, чтобы принять ее у себя в Булони.

Я радовался, что матушка будет наконец-то с нами, но побаивался за соседку нашу, мадам Хуби. Как-то две столь различные женщины смогут ужиться мирно? Думал я об этом не без дрожи. Биби сильно интересовалась познакомиться с матушкой и уж заранее в наших разговорах звала ее просто Зиной. Что, понятно, меня не успокаивало!

Матушка приехала бодрой и жизнерадостной и, судя по всему, была счастлива соединиться с нами. Вместе с собой привезла она м-ль Медведеву, сиделку, ходившую за моим отцом, горничную Пелагею (переменившую имя на более, по ее мнению, изящное, – Полина) и померанского шпица Дролли.

Домик матушке понравился, но, войдя, она воскликнула невольно: «Как здесь тесно!». Увы, да, было тесно. Доказательство тому явилось вскоре, когда прибыл матушкин скарб – короба, чемоданы, ящики. Пришлось нанять сарай по соседству, чтобы все уместить. И все ж полюбила она свою комнату, которую называла «своей келейкой».

Настал страшный час встречи с мадам Хуби. С двумя лакеями по бокам и третьим, несшим большой букет роз сзади, вступила Биби в гостиную, где дожидалась ее матушка.

– Цветы для малышки Зины, – объявила Биби. – Я обожаю ваше имя, голубушка княгиня, мне нравится его повторять. Не сердитесь. Такая уж я есть. Светлость, скажи своей матушке, что я страх как застенчива. Я вашего сына «светлость» зову, потому что люблю его, прохвоста, подлеца этакого... И с кем только он не якшается! Не повезло вам, милочка, с сыном!

Я думал, будет хуже. Матушка, в жизни подобного не встречавшая, удивилась, разумеется, даже слегка обиделась, но, к счастью, развеселилась. У нее достало ума и проницательности понять, с кем она имеет дело. И даже, на удивление, обе понравились друг другу. Объединившись в своей привязанности ко мне, они любили посудачить и, любя, перемыть мне косточки.

У мадам Хуби имелась племянница Валери, тоже оригиналка, но в другом роде. Она ходила в мужском платье, курила трубку, коротко стригла волосы и носила кепочку. Низенькая, толстенькая черноглазая брюнетка, Валери похожа была на мальчика-араба. Жила она одна, на барже, с двумя старыми слугами – мужем и женой и сворой животных. Людей не любила, а зверей обожала и находила с ними общий язык.

Мы познакомились с ней случайно, прежде даже, чем с Биби, и стали теми редкими двуногими, кого удостаивала она общения.

Всего вероятней, ее нелюдимость и странность манер вызваны были, главным образом, комплексом собственной неполноценности. Впрочем, все это не мешало ей оставаться умной и доброй. Потому и любили мы ее вопреки всей ее эксцентричности. А еще Валери брала призы в автомобильных гонках. Однажды она согласилась поужинать с нами в обществе нескольких наших друзей и за ужином поведала, что удалила себе груди, чтоб-де, не мешали управлять автомобилем. С этими словами она расстегнула блузу и явила нам ужасные шрамы!

Мадам Хуби, не любившая, кроме своей, ничью эксцентричность, а тем более племянницыно безумие, отказывалась принимать ее, а узнав, что принимаем ее мы, впала в бешенство. Устроив сцену и перебив вазы, Биби вдруг успокоилась и сказала:

– Слышь, светлость, хочу ее видеть. Приведи к ужину.

Племянницу она приняла, еще лежа в постели. Смерила взглядом и сказала с отвращением:

– Ежели кто гермафродит, пусть к людям не суется. Пошла прочь, и чтоб больше я тебя не видела!

Бедняга племянница ушла несолоно хлебавши. Некоторое время тетушка ее лежала в задумчивости. Потом заговорила.

– Слышь, светлость, – сказала она, – будь добр, пошей для уродины платья у себя в «Ирфе»: три дневных, три вечерних, и мантильки в пандан. Посмотрим, что получится.

На другой день я привез Валери на улицу Дюфо. Можно представить: впечатление она произвела. Пока все, разиня рты, смотрели на нее, она выбрала фасоны, и заказ отправлен был в мастерскую.

Биби лихорадочно дожидалась племянницына преображения. Не терпелось ей устроить семейный ужин и помирить Валери с другими ее дядьями и тетками, также давно уж порвавшими с мужеподобной родственницей.

В назначенный день Биби расположилась у себя в гостиной в окружении всей родни против двери, откуда племянница ожидалась. А, когда вошла ожидаемая, все вскрикнули от ужаса: в

мужском платье Валери еще могла сойти за женщину, но в женском она была совершенный мужчина!

Биби закрыла лицо руками и сказала глухим от гнева голосом: «Мать твою!.. Верните ей штаны!» Бедняжка ушла, покрытая позором. С ужином ей решительно не везло.

С тех пор как матушка поселилась у нас в Булони, ангел мира, казалось, воцарился у нас. Но, верно, наскучили мы ему скоро, и он улетел.

Некий князь Юрий Козловский объявил мне о себе совершенно оскорбительным письмом. Двумя годами ранее совершив своей книгой одну подлость, писал он, совершил я и другую, в недавнем номере «Детектива» обвинив государей наших в желании заключить сепаратный мир! А ведь клевета сия опровергнута даже таким предвзятым и злобным сборищем, как следственная комиссия Керенского!

Я попросил купить мне этот номер. До сих пор и не ведал я, что существует такая газета. Действительно в ней была помещена гнуснейшая статья о частной жизни императорской семьи за подписью князя Юсупова.

Новый поклеп и, возможно, новый суд.

В отсутствие мэтра де Моро-Джаффери я обратился к адвокату Шарлю-Эмилю Ришу. Мэтр Риш был знаком нам и нами уважаем как человек и юрист. Стараниями его тотчас направили протест главному редактору «Детектива» и дважды прислали с предупреждением судебного исполнителя. После чего сей «Детектив» соизволил напечатать опровержение, добавив извинение за опоздание. Остальные газеты, из профессиональной солидарности доселе молчавшие, разразились опровержением также.

Редакция «Детектива» объясняла, что получила информацию от агентства «Опера-Мунди-Пресс», которое за подлинность ее ручалось. Со своей стороны, «Опера-Мунди» валило вину на венскую газету «Нойес Винер Тагеблатт», а та уверяла, что во всем виноват репортер ее, некий еврей Тасин. Путем бесконечной переписки удалось наконец добиться письма от Тасина, в котором признал он, что статья – его собственная выдумка. И, тем не менее, Козловский, хоть и знал подноготную аферы, все же купил и разослал несколько номеров пресловутого «Детектива», приложив к каждому копию своего письма ко мне, в разные гражданские и военные круги русской эмиграции. Судите, каково было впечатление. Председатель «Высшего монархического совета» Александр Крупенский, знавший, как и Козловский, все дело, поручил члену совета графу Гендрикову напечатать в газете

монархической партии «Двуглавый орел» статью против меня злее даже, чем письмо Козловского. Статья была зачитана на их партийном собрании и единодушно одобрена сим ареопагом. Никто и пикнуть не посмел против, даже давнишний друг, с которым дружил я тридцать лет, также член совета. Глубоко меня удручила трусость его.

Теперь я вчинил иск главному редактору «Орла» г-ну Вигуре, Крупенскому и автору статьи.

Монархисты выслали ко мне парламентером друга-предателя. Но визит его ничего не изменил. Суд состоялся, я выиграл.

Матушка была оскорблена статьей не менее моего. Она позвала к себе Крупенского и, когда тот явился, сказала ему, не подав руки и не предложив сесть: «Я пригласила вас, господин председатель, с тем, чтобы сообщить вам, что я выхожу из монархической партии и надеюсь никогда более вас не встречать».

Посетитель убрался с позором.

Мой шурин Никита, жена его и еще несколько человек последовали матушкиному примеру и также вышли из партии. Вскоре «Двуглавый орел» прекратил свое существование.

1931 год был для меня годом огромной утраты. Дорогая моя подруга Анна Павлова, величайшая балерина, изяществом и талантом покорившая мир, 29 января умерла в Брюсселе от пневмонии. Было ей 49 лет. Она навсегда останется самым волнующим и поэтическим воспоминанием молодости моей.

В тот же год, почти в то же время, узнали мы о похищении генерала Кутепова. Известие это опечалило всю русскую эмиграцию. Председатель «Русского общевоинского союза», сорокавосьмилетний генерал был человеком энергичным, мужественным и смертельно ненавидел большевиков. Возвращаясь к себе пешком, он был похищен средь бела дня, в двух шагах от своего дома, тремя субъектами, один из которых был в форме полицейского. Этот «ажан» прохаживался по улице, а двое в штатском выскочили из автомобиля, стоявшего неподалеку, схватили генерала и затолкали в автомобиль силой. Псевдополицейский сел в машину также, и только их и видели.

Весть о похищении появилась в газетах лишь несколько дней спустя. Поднялся шум, но похитителей уже и след простыл. Следствие тянуло-тянуло, а вытянуть не смогло. Судя по всему, генерал был увезен в Москву. Впоследствии ходили какие-то слухи о даме в бежевом пальто, якобы сидевшей в машине в момент похищения.

Я хорошо знал Кутепова. Он частенько заглядывал к нам в ресторанчик «Мезонет» на улице Мон-Табор. Директриса, г-жа

Токарева, принимала его заискивающе-любезно, что генералу было явно лестно. После похищения, однако, Токарева ликвидировала все дела и уехала в Соединенные Штаты.

Махараджи я не видел с тех пор, как водил его за нос, прячась в Париже. Я уж решил было, что поссорились мы навсегда, как вдруг махараджа позвонил мне по телефону. Сообщил, что приехал в Париж, и пригласил поужинать в один из ближайших дней.

Встретил он меня как ни в чем не бывало, ни разу не вспомнив о прошлом, и снова позвал ехать с ним в Индию. Что маньяку было от меня нужно? Зачем он прицеплялся ко мне с этой Индией? Не затем ведь, что искал себе попутчика! Постоянные мои отказы не обескуражили его. У него явно было что-то на уме. Он приехал с визитом к матушке в Булонь и стал уговаривать ее и Ирину, чтобы те, в свой черед, уговорили меня ехать с ним в Индию. Обе отвечали, что я давно совершеннолетний и сам в состоянии принимать решения. Он не стал настаивать и пригласил меня съездить с ним на несколько дней в Шотландию, в замок, который арендовал он на рыболовный сезон.

Тут я задумался. Матушка и Ирина отговаривали, и рассудком я понимал, что они правы, но, как всегда, любопытство и жажда неизвестности оказались сильней.

Шотландия, где побывал я, учась в Оксфорде, в те поры предстала мне смесью Финляндии и Крыма. Смешение показалось мне удачнейшим. На сей раз увидел я совсем иной край: суровый и дикий. Сам замок, затерянный в горах, вдали от людского жилья, был зловещ и мрачен. Высокие стены из серого гранита и зубчатые башни скорее напоминали тюрьму. В замке сводчатые залы были темны, холодны и сыры. Покои верхних этажей сообщались между собой лабиринтом лесенок, коридоров и галерей, где ничего не стоило заблудиться.

Хозяин мой расположился на втором этаже. Я поселился на третьем, а рядом со мной – молодой махараджев адъютант, единственный, кто за время нашего с махараджей знакомства не был господином сменен. Однажды я по неосторожности заметил махарадже, что он весьма часто меняет челядь, и спросил почему. Махараджа промолчал, давая понять, что замечание и вопрос бестактны, и, помнится, я встревожился. В данной ситуации я тем более рад был увидеть старого слугу, которого считал уже почти другом.

Махараджа принимал меня с распростертыми объятиями и не отпускал от себя ни на шаг. Ели мы в его комнатах. После

полудня вместе удили лососей. В голубой сетке, которой от комаров он окутывал лицо, как вуалью, выглядел он комично, но и пугающе. По вечерам долго беседовали у камина, притом об Индии более не было и помину.

Вскоре, однако, на сцену вышло новое лицо. Некто в монашеской рясе, прибывший из Индии. Человек он был молодой, образованный весьма широко и в совершенстве владел английским и французским. Необычайно поразили меня его глаза. От них, сверлящих и властных, тотчас становилось не по себе. Руки у монаха были длинны, тонки и ухожены, как у женщины.

Взял он привычку по вечерам приходить ко мне и часами беседовать о вере и философии. А уходил он – приходил мой сосед, желавший знать, о чем говорил со мной странный монах. В результате я перестал спать и нервы мои расстроились. Наконец в один прекрасный вечер после ухода монаха опять пришел милый друг-сосед и огорошил меня.

– Уезжай скорей из этого чертова логова, – сказал он. – Махараджа заманил тебя в ловушку. Беги, пока не поздно.

Я стал спорить, но он продолжал:

– Еще чуть-чуть – и ты у них в руках. Сам не заметишь, как покоришься и лишишься воли. Они сделают с тобой все, что хотят. А хотят они увезти тебя в Индию.

– Но какого черта я им сдался в Индии?

Сосед не ответил.

Слова его мне показали, что и впрямь уже попал я под чужое влияние. Сосед прав: я теряю контроль над собой и собственным разумом. Взгляды махараджи и монаха преследуют меня. И напоминают другие взгляды... Бежать отсюда, чтобы не поддаться гипнозу, бежать как можно скорей.

Друг-сосед не скрыл, что рискует жизнью, предупреждая меня. Но, когда ушел он, мелькнуло подозрение: а ну как это враг в личине друга и приставлен шпионить за мной? И перепугался я не на шутку, ведь мог в любой миг очутиться беззащитным пленником. Я подумал о всех, кто мне дорог: о матери, жене, дочке, друзьях, которых бросил я, чтобы попасться так глупо, угодить в мышеловку. И единственным желанием стало вернуться и увидеть родных и близких. Я упал на колени и простыми, но из самого сердца словами стал молить Господа прийти на помощь.

Верно, так и заснул я в молитве, ибо на другой день пробудился одетый, на полу у собственной кровати. Проспал я всего несколько часов, но встал твердым, сильным и решившимся. Не хотелось, однако, уехать, не выведя махараджу на чистую воду. Все ж интересно было узнать, на что я

понадобился ему в Индии. В тот же вечер после ужина я взял быка за рога – прямо спросил хозяина, какие у него на меня виды.

Махараджа таинственно улыбнулся.

– Какие виды, мой дорогой? Для начала скажу, что вы созданы не для той жизни, какую ведете. Я уж сколько раз намекал на то. Вам потребны уединение и медитация. В тиши и вдали от людей вы сосредоточитесь и будете расти духовно. В вас есть способности, о которых вы и не знаете даже, зато знаю я. Вы – избранный. Хочу представить вас своему гуру. Он живет в горах. Просил он привезти вас, чтобы учить десять лет и сделать из вас йога.

– Да нет во мне ничего такого, – возразил я. – И вовсе не создан я медитировать десять лет при вашем гуру. Я люблю жизнь, семью и друзей. И по натуре я кочевник и терпеть не могу сидеть в одиночестве.

Пропустив мои слова мимо ушей, махараджа продолжал:

– Когда в 1921 году я поехал в Европу, учитель сказал мне: «Ты встретишь человека, который поедет за тобой и станет моим учеником, а после йогом». И описал приметы его – в точности ваши. Когда я увидел ваш портрет у англичанки, то через нее познакомился с вами и вас узнал тотчас. Для такого, как вы, ничто земное существовать не должно. Вы должны поехать и поедете.

Я помолчал и внезапно спросил:

– Вы верите в Бога?

Глаза его сверкнули.

– Да, – сказал он сухо.

– Ну, а коли так, положимся на Господа и да будет все по воле Его.

С этими словами я вышел и отправился к другу-соседу пересказать ему разговор и проститься, ибо решил я ехать на другой день.

Друг пожал плечами.

– Ты не знаешь махараджи, – сказал он. – Если вбил он что себе в голову, не остановится ни перед чем. И уехать тебе не даст.

«Посмотрим», – подумал я.

Утром я уложил чемоданы и заказал автомобиль, чтобы ехать на вокзал. Махараджа, узнав о том, заказ отменил.

Но претило мне бежать тайком, как вор, не простясь с хозяином. Я перекрестился и спустился к нему. Он сидел в халате и читал газету.

– Я пришел проститься и поблагодарить за гостеприимство, – сказал я. – И буду вам очень признателен, если вы отвезете меня на вокзал. Потому что иначе я опоздаю на поезд.

Не говоря, не глядя, махараджа встал и позвонил. Вошедшему слуге он велел подогнать к замку автомобиль. На глазах изумленных монаха и друга-соседа, стоявших у двери, я сел в автомобиль и укатил. На вокзал я прибыл благополучно, но в безопасности почувствовал себя, только сев в поезд.

Махараджи я более никогда не встречал. Спустя несколько лет узнал я, что, будучи в Европе, он сломал позвоночник, упав с лестницы. Его отнесли в автомобиль, и двое адъютантов в качестве лежака легли под него. Таким образом отвезли его в больницу, где умер он спустя несколько суток. Призадумался я, узнав стороной некоторые подробности о жизни махараджи. К примеру, он, осердясь на своего пони для игры в поло, велел забить его до смерти и сжечь у себя на глазах. Или тоже, бывая недоволен очередной женой либо адъютантом, заставлял их глотать толченое стекло. Еще говорили, в подвалах дворцов его были пыточные застенки, устроенные, впрочем, по последнему слову техники...

Глава 13

1931. Колье Екатерины II – Предательство и смерть Полунина – Ликвидация наших предприятий – Бесцеремонная мадам Хуби – Женитьба шурина Дмитрия – Как встречают судебных исполнителей – Робер и Мари делле Донне – Тира Сейер

Средства, которые Полунину удалось достать нам, кончались. Наше финансовое положение ухудшалось день ото дня. Американец, снимавший у нас виллу на Женевском озере, пожелал купить ее, матушка согласилась. Но дом был давно уж заложен, так что получили мы за него всего ничего. Остатки драгоценностей находились у ростовщиков или в Мон-де-Пьете, а квитанции от них – у кредиторов в качестве гарантии. В наличии одни долги да угроза потерять последние заложенные украшения, а заодно и жемчужину «Перегрину», единственную, которую матушка любила и носила. Она считала ее талисманом и о том, чтобы продать ее, и слышать не хотела. Уже и сдача ее в залог вызвала скандал.

До сих пор я не имел дела с процентщиками. Не знал, что за фрукт, и с чем его едят. По правде, ростовщики помогли мне выпутаться из дел довольно трудных, но зато и страдал я, бывало, по их милости. Однажды, просрочив с уплатой процентов, я потерял значительную часть брильянтов. А в другой раз еле выручил бесценное колье, принадлежавшее Екатерине II: ожерелье из розового жемчуга в несколько нитей, перехваченных большим рубином в брильянтовой осыпи. Ростовщик любезно предупредил меня, что, не заплати я такого-то числа до полудня процентов, он тотчас распорядится колье по своему усмотрению. Полунин взялся добыть деньги и принести их утром в последний день срока. Все утро я прождал его, глядя на часы. В половине двенадцатого его еще не было. Я решил бежать к ростовщику – умолять подождать. Черкнул записку Полунину, прося также немедля приехать к ростовщику, и бегу на улицу. Новая беда: нет моего автомобиля. И ни одного такси. Останавливаю автомобиль с элегантным испанцем за рулем. Кричу, что, если не буду через десять минут на улице Шатодэн, потеряю фамильную драгоценность, которой нет цены. Идальго мой рыцарски учтив и к тому ж азартен. Без двух минут двенадцать он подвозит меня к ростовщичьему дому. Взлетаю на шестой этаж и узнаю, что тип мой ушел только что и унес колье. Слетев вниз, не знаю, куда бежать. Была не была. Направо. Бегу. На бегу вспоминаю, что не узнаю его со спины. Хоть смейся, хоть плачь. Впереди идет

человек со свертком под мышкой. Последнее усилие – я нагнал его... Он! Объясняемся. Он согласен вернуться и подождать Полунина...

Время идет. Полунина нет. Звоню в «Ирфе» – тоже ни слуху ни духу. Ростовщик нервничает, уже и сомневается. Наконец, предлагаю ему в залог свой автомобиль. Колье Екатерины спасено.

Полунин появился лишь спустя несколько дней. Доверие мое к нему с той истории пошатнулось, а скоро и вовсе пропало. С некоторых пор, оправдываясь, городил он невесть что. Перемена в нем казалась необъяснима. Прежде он по любому пустяку был сама точность, а теперь опаздывал на важнейшие дела. Если я упрекал его, он хватался за голову и говорил, что болен. Впечатление, что помешался. Наконец я посоветовал ему отдохнуть и предложил взять отпуск (бессрочный – подумалось мне). Больше я его ни разу не видел. Позже узнал я, что труп Полунина обнаружили в поезде, но тайна смерти его так никогда и не объяснилась.

* * *

По счастью, в самое трудное для нас время познакомился я с англичанином сэром Полом Дьюксом, жившим долгие годы в России и бегло говорившим по-русски. Заговорив со мной, он напомнил мне махараджу в том смысле, что тоже считал для меня великим благом пребывание в Индии. А тем временем занялся он поправкою наших дел, да так ловко, что на время действительно их поправил. Увы, матушка, от своей болезни и наших неудач ставшая раздражительной, обидела Дьюкса необдуманными словами, и помощника мы лишились. Судьба, однако, и в другой раз улыбнулась мне, послав русского адвоката Сергея Карганова. Человек он был умный, знающий, да вдобавок и честный. Одному Богу известно, от чего он спас меня! Скорее всего, от тюрьмы. Ибо, привыкнув тратить деньги не считая, не слишком годился я для ведения крупных дел, какими занялся, и, разумеется, угодил во все ловушки, какие ожидают неопытных энтузиастов. Карганов был небогат, однако, чтобы помочь мне выпутаться, не колеблясь заложил свое имение, а жена его – драгоценности. Супругам Каргановым я признательный друг на веки вечные.

И все-таки даже самая умелая помощь могла лишь отсрочить катастрофу. Полунина более не было. И вскоре стало ясно, что предприятия придется ликвидировать. Удар был тяжел. Рушилось

то, что в течение десяти лет мы строили, спасали, поддерживали. А от матушки, сдававшей не по дням, а по часам, приходилось все скрывать, и это не облегчало дела. Но выхода не было. Ирина считала так же.

Банки тем временем по-прежнему отказывали нам в ссуде. Пришлось просить клиенток «Ирфе» оплачивать заказ сразу же при получении, к чему дамы наши не привыкли. Деликатную миссию – предъявить счет – поручил я Булю. Когда заказчица отказывалась заплатить тотчас, Буль вставал на колени со счетом в руке, принимал простодушный вид и молил: «Фирма гибнет, помогите батюшке-князю!» Тон и поза действовали безотказно. Клиентки, развеселившись и расчувствовавшись, платили, и Буль всякий раз возвращался с добычей.

Ранее несколько раз я видел вещие сны. То же случилось и теперь. Мне приснился мой друг Таухан Керефов, и будто бы сидим мы с ним в казино Монте-Карло за игрой в баккара. Проснувшись, я под впечатлением тотчас решил ехать. Телефонировал Таухану на Корсику и сказал, что жду его в Монте-Карло в «Отель де Пари».

Трое суток мы играли запоем, притом все время удачно. Удивительно, что поехал я после сновидения играть, несмотря на то что игру как таковую ненавидел и никогда в казино не бывал.

Но, пока мне везло в Монте-Карло, газеты писали, что я прибыл в Бухарест, где король Кароль, дескать, намерен доверить мне управление всем своим имуществом. Пришлось звонить в Булонь и успокаивать матушку и Ирину, которые стали готовиться к очередному скандалу.

Началась ликвидация наших предприятий. Один друг наш, корсиканец Хосе-Жан Пелегрини, предложил содействие. И действительно, занялся он этим сложным и неблагодарным делом умно и совершенно бескорыстно. Главным и самым трудным было найти работу тем, кто по нашей милости ее потерял. Устраивать их пришлось несколько месяцев. Ликвидировали все предприятия, кроме парфюмерного – оно продержалось еще несколько месяцев. Вывод был один: для коммерции я не создан.

Матушке мы наконец во всем признались, и подавленность ее добавилась к нашей. Переживали мы и за отношение к нам мадам Хуби, огорчившее нас. Биби терпеть не могла тонкостей. Ее реакции были часто непредсказуемы, но всегда прямолинейны. Увидав, что мы разорены совершенно, она письменно уведомила нас, что нуждается во флигеле и дает нам неделю на сборы. Я отвечал ей также сухим письмом, что желание ее совпало с

нашим, что флигель нам тесен и, кроме того, намерены мы переехать на житье в Англию. Я рассчитывал, что она не захочет выпустить нас из Франции и опомнится. Расчет оказался верен. Но Биби постыдилась просто переменить решение и сделала вид, что что-то не поняла и желает уладить недоразумение. Она призвала меня и держала такую речь:

– Слышь, светлость, хочу флигель подлатать и тебе, чтоб не теснился, дать спальню и ванную в доме на втором этаже. Зиночка пусть остается у себя. Она болеет, нечего ее дергать. А ты с Ириной и девчонкой, пока работать будут, поживи в гостинице. А еще хочу во дворе бассейн устроить с крокодилами.

Я согласился на переустройство, поставив условия ничего более не переменять до свадьбы моего шурина Дмитрия и праздничной по этому случаю пирушки у нас дома.

Дмитрий по натуре самый независимый из Ирининых братьев. Он всегда знал, что хотел, и делал, что хотел, ни у кого не прося ни совета, ни помощи.

Невеста его была восхитительна, и брак их, по общему мнению, обещал быть удачным. Вышло, однако, иначе. Родилась у них дочь Надежда, и, тем не менее, супруги разошлись несколько лет спустя.

Как только начались работы в булонском доме, Ирина уехала с дочкой во Фрогмор-коттедж. Что до меня, я устроился в «Отель Вуймон» на улице Буасси-д'Англас с Гришей и Панчем. Из Парижа я уехать еще не мог, так как ликвидационные дела не были закончены. Да и от матушки не хотелось уезжать. Она уж и так удивлялась, с чего вдруг мы все разъехались, бросив ее в Булони одну. «Одну» – сказала она для красного словца, потому что оставались с ней сиделка, две горничных и повар. К тому ж у нее что ни день были гости, да и я к ней захаживал, когда мог улучить минуту между дел, отнимавших еще довольно времени.

Однажды, придя к ней обедать, узнал я, что судебные исполнители явились наложить арест на наше имущество. Два субъекта с мрачными физиономиями и черными портфелями действительно ждали меня в гостиной. Вот так новость! Этого я никак не ожидал. Что ж, придется сделать хорошую мину при плохой игре. Напустив на себя беззаботный вид, я обратился к черным вуронам непринужденно и приветливо:

– Господа, – сказал я им, – вы тут у русских людей. Уважьте же наш обычай, выпейте со мной рюмку водки.

Вуроны переглянулись, слегка сбитые с толку. Не дав им время опомниться, я велел принести водки. Первая рюмка пришлась им по вкусу. Повторили раз, еще раз, еще много-много

раз... Я решил, что созрели они послушать музыку. Добил я их цыганским романсом. Еще бы немного, и они сплясали бы казачок. У себя в комнате матушка сидела как на иголках. То и дело она посылала за мной и понять не могла, почему в ответ я завел граммофон. Наконец, незваные мои гости отбыли, унося с собой ордер на арест. Расстались мы лучшими друзьями.

– А вы, русские, – ничего! – кричали они, фамильярно хлопая меня по плечу. – Чертовски славные ребята!

Свиделись мы с ними и снова, но тогда уж дело отчасти поправилось: составили лишь опись имущества. Ареста так никогда и не наложили.

«Отель Вуймон» принадлежал родителям добрых моих друзей Робера и Мари делле Донне. Мари, замужем за бароном Васмером, была самобытна и обаятельна. В отеле она занимала небольшой номер. У нее всегда было жарко натоплено, притом вещи всюду валялись как попало. Но и беспорядок этот имел свой шарм. Здоровья Мари была слабого и почти все время лежала в окружении друзей и поклонников, как правило, писателей и людей искусства. У нее познакомился я и сдружился с секретарем ее отца, Алексеем Суковкиным, милым юношей, застенчивым и мягким, жившим в собственном мире мечтаний и грез. Он тянулся ко мне всей душой, но и корил меня за беспорядочную жизнь. В конце концов он увлекся буддизмом и уехал на Тибет, где постригся в монахи.

По вечерам, после хлопотного дня, хотелось мне отвлечься и развлечься, и я с радостью уходил куда-нибудь и брал с собой весельчаков-кавказцев Таухана с Русланом, старого друга Альдо Бруши и одного из племянников своих, Марселя де ля Арпа. Иногда составляли нам компанию и Робер с Мари. Пришла весна, и чаще всего мы отправлялись за город. Излюбленным местом стало Коломбье, имение баронессы Тиры Сейер в Сель-Сен-Клу, розовый дом, чудесно вписавшийся в зеленый ландшафт. Розовым дом был и внутри, и веяло от всего непередаваемым очарованием. С Тирой Сейер мы познакомились еще накануне войны 14-го года. Потеряла она поочередно троих мужей: Анри Менье, русского Елисеева и, наконец, Ришара-Пьера Бодена, журналиста, кинокритика из «Фигаро». Овдовев в третий раз, она взяла свою девичью фамилию. Подругой она была отличной, хозяйкой утонченной, а еще замечательной музыкантшей. Прекрасный голос добавлял чар к ней, и без того чарующей греческой своей красотой. С годами не убывала ни красота, ни обожатели. И нрав Тиры оставался мягок вопреки выпавшим на ее долю испытаниям. Глубокая вера помогла ей принять и смиренно вынести все. Ныне

Тира живет в Люксембурге, ни с кем не видясь, в доме, который устроила по своему вкусу. Живет наедине со своими воспоминаниями, написала две книги мемуаров: «Да, любила» и «Ум сердца».

Однажды, проведя вечер в Коломбье, возвращались восвояси очень поздно. По дороге мне захотелось пить. Предложил я остановиться у сен-жерменской гостиницы и зайти пропустить стаканчик. Вся гостиница спала, включая портье. Тот храпел у настежь распахнутой двери. Мы, гуманно не будя его, спустились в кухню. Ряд холодильников: ешь-пей – не хочу. И мы угостились на славу, да еще соснули в пустом номере на втором этаже. А потом, сытые-пьяные-нос-в-табаке, оставив с лихвой на стойке деньги за ужин, вышли, как вошли, под храп портье у двери, все так же раскрытой настежь.

В ту пору хаживал я в мастерскую Клео Беклемишевой, талантливой скульпторши, жившей с сестрой на Монмартре. Средства у сестер были очень скромные, но принять они умели. Сколько гостей соберется, сестры в точности никогда не знали, однако ж тепла и радушия хватало на всех. В доме у них встречал я многих художников и всю монмартрскую богему.

Работы в Булони закончились, и не без сожаления покинул я мирный приют «Вуймона» и дорогих своих делле Донне, подаривших меня дружбой и лаской, столь нужными мне в те дни.

Глава 14

1931–1934. Второе бегство Вилли – Развод и новый брак мадам Хуби – Смерть вел. князя Александра – Фильм о Распутине – Квартирка на улице Турель – Тяжба с «Метро-Голдвин-Майер»

Нововведения мадам Хуби в булонском доме я одобрил, за исключением окон в своей новой комнате, выходивших на двор. Биби велела покрыть стекла охрой и разрисовать верблюдами. Не видел я больше ни цветов, ни неба, ни птиц. Одни верблюды. Местами я немедленно соскреб краску, чтобы хоть чуть-чуть видеть, что делается на свете.

Разбуженный как-то рано утром воплями хозяйки, я подскочил к окну и поглядел в дырочку между верблюдов. Биби в ночной рубашке стояла на балконе и вопила:

– Светлость, светлость, иди скорей, Вилли ушел!

Я тотчас прибежал и узнал, что Вилли устроил то же самое, что в Брюсселе, написав ей ту же, слово в слово, записку: «Дорогая Ханна, ухожу и не вернусь. Желаю счастья. Вилли».

Биби задыхалась от гнева и возмущения.

– Светлость, сейчас же найди мне этого негодяя. Хватит с меня этих сраных сыщиков. Давай – иди, живо!

Я заметил ей, что нельзя идти туда, не знаю куда: надо же иметь хоть какой-то след. Тогда она согласилась позвонить в полицию. Три дня мы с тревогою ждали. Три дня Биби не давала мне вздохнуть спокойно. Наконец пришло известие, что Вилли обнаружен в Ницце в том же пансионе, что и в первый побег. Решительно никакой у человека фантазии!

Но на сей раз Вилли наотрез отказался вернуться в лоно семьи. И поехал я на хозяйском автомобиле в Ниццу с наказом привезти его живого или мертвого. Едучи, думал я, что скажу ему, и считал себя совершенно не способным его вразумить.

Вилли был подавлен и не в духе. В общем-то я питал к нему симпатию. Он напоминал дитя, которое напроказило и боится порки. Наконец, я вырвал у него обещание вернуться со мной в Париж и телеграфировал Биби: «Везу непослушную овцу. Выезд завтра. Приветом. Феликс».

За миг до отъезда пришел ответ: «Волк овцу ждет. Светлость, обожаю тебя. Ханна».

Телеграмму я Вилли – от греха подальше – не показал.

На обратном пути Вилли поведал мне кое-что, о чем я уж и сам догадывался. Был он, безусловно, много умней, чем казался, и о супруге своей судил верно. Признался, что она из садистского

удовольствия расхваливает меня ему и сравнениями со мной, не в его пользу, доводит его до отчаяния.

Уже у самой Булони он несколько раз просил остановиться и заходил в бары принять для храбрости перед встречей с ненаглядной.

Волк ждал овечку в гостиной угрожающе молча. Я оставил их с глазу на глаз и ушел по своим делам, смутно предчувствуя неладное. Вернувшись, узнал от Гриши, что супруги расстались с большим скандалом. «Мадам прогнала мужа после ужасной сцены. Она выругала его на все лады и покидала в окно все его вещи, и одежду, и чемоданы, и граммофон с пластинками. Потом вызвала такси, и, когда мсье сел в него, она крикнула: “Счастливого пути, мсье Хуби, скатертью дорога!”»

Подобную сцену я мог себе представить, но не представлял, что кончится она разрывом. Я притих, ожидая, что Биби объявится сама. Объявилась она через несколько дней.

– Светлость, – начала она, призвав меня, – хочу тебе сказать, что между мною и Вилли все кончено. Человек он незлой, но дурак и пьяница. А пьяниц я терпеть не могу. Выйду скоро за хорошего американца. Только не говори никому. Ты первый об этом узнал.

Сперва я подумал, что она шутит, ан нет. Она действительно вскоре вышла за своего американца. На бракосочетание нас не позвали. Никого не было, кроме свидетелей.

Здоровье моего тестя уже долгие месяцы вызывало опасения у близких. Ирина отвезла его в Ментону, на виллу Сент-Терез к нашим добрым знакомым Чириковым. Ольга Чирикова жила с нами в Кореизе в последние месяцы перед нашим отъездом из России. Ольга была главным редактором и душой газеты, выпуском которой мы все тогда увлеклись.

С редкой самоотверженностью Ольга до приезда тещи ухаживала за тестем моим и постоянно сменяла Ирину. С Ириной великий князь был по-настоящему дружен. Она приходила в отчаяние от одной только мысли потерять отца и до последней минуты не покидала его. Великий князь умер 26 февраля 1933 года. Получив телеграмму о его кончине, я выехал в Ментону с шурьями Андреем, Федором и Дмитрием. Похоронен он был на Рокбрюнском кладбище.

Вскоре после возвращения в Булонь мы узнали, что в Америке кинокомпанией «Метро-Голдвин-Майер» выпущен фильм «Распутин и императрица» и что в фильме этом задета честь моей жены. Американка Фанни Хольцманн, адвокат, Иринина знакомая

по Ментону, посоветовала ей подать на «Метро» в суд за клевету. Ирина сказала, что прежде посмотрит фильм, который вот-вот должен был появиться в Европе.

Как только фильм пошел в Париже, мы отправились смотреть. Главные роли играли трое Барриморов. Я фигурировал под именем князя Чегодаева, Ирина названа была княжной Наташей, моей невестой, на которой женился я после скандальных перипетий: в одной сцене Ирина явно уступала домогательствам Распутина, а в другой признавалась жениху, что, потеряв честь, она его недостойна.

Как ни противно мне было возвращаться к тем событиям, заткнуть людям рот я не мог. Об исторических фактах я рассказал и сам. Но оскорбление – дело другое. К тому же ложь была вопиющей. Ирина не смогла добиться запрета картины и решила возбудить против «Метро-Голдвин-Майер» иск.

Иск означал риск. Более того, знакомые говорили, что чистейшее безумие – затевать дело такого масштаба, не имея средств даже на судебные издержки. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, думали мы. Средства, однако, и впрямь надо было искать. К Гульбенкяну после неудачи с Виденером обращаться я не мог. Все остальные отказывали. Но тут помог Никита. Он свел нас с бароном Эрлангером, и тот ссудил необходимую сумму. Решено было, что суд состоится в Лондоне. Хольцманн взялась найти нам защитников среди лучших лондонских адвокатов. На подготовку требовалось несколько месяцев.

А в Булони дела осложнялись. Без сиделки матушку не оставить. Мы наняли двух, дежуривших при ней попеременно. Их приходилось где-то поселить. Дочь мы отдали в женскую школу-пансион княгини Мещерской. Но просторней в доме не стало. Попросту сидели друг у друга на голове. Долее терпеть невозможно. Я отправился подыскать что-нибудь скромное для нас с Ириной. Нашел в двух шагах, в доме на улице Турель, две комнаты на первом этаже, квартирка с большими светлыми окнами. С улицы Гутенберга я перенес туда кое-что из мебели, ковры и портьеры, и случайный этот угол стал гостеприимным домом, в котором прожили мы долгие годы до самой войны.

Подготовка к суду с «Метро» закончилась в начале 1934 года. Адвокатами у нас были сэр Патрик Хейстингс и Г. Брукс, а у «Метро» сэр Уильям Джоуит. Судья – Хорэйс Эвори.

Когда объявлено было о предстоящем суде, пошли толки и в Париже, и в Лондоне. «Черт-те что! – говорили одни. – Опять скандал. Юсупова хлебом не корми, дай о себе напомнить.

Проиграет – младенцу ясно».

«Правильно! – говорили другие. – Княгиня Ирина не побоялась судиться с сильными жидами. И поделом им. Нечего соваться в чужую личную жизнь и трепать честное имя».

Обвинение заключалось в следующем: жена моя считала, что изображена в фильме под именем княжны Наташи и что сцена, в которой героиня уступает домогательствам Распутина, – явная клевета.

В защиту свою кинокомпания, признав, что Чегодаев и я – одно лицо, заявляла, что княжна, тем не менее, – персонаж вымышленный. Суть спора была именно в этом.

Суд начинался 28 февраля. Адвокаты просили Ирину приехать в Лондон за две недели до начала слушаний. Чуть позже ехал и я.

Биби, Бог ее знает почему, процесса не одобряла. Объявила она, что, ежели проиграем, нас выселит.

В Лондон из экономии времени я летел самолетом. Прежде, боясь высоты, избегал я сей транспорт, так что теперь на крыльях перемещался впервые. В воздухе, к своему удивлению, не почувствовал я ни головокружения, ни страха. Только странно-пьянящее ощущение оторванности от земли. Буль, летевший со мной, сидел смирно и сосредоточенно. Уже у английского берега в машине что-то разладилось, и стали мы снижаться с пугающей быстротой. Буль поклонился мне и сказал: «По-моему, ваше сиятельство, мы с вами летим в царство небесное». Но, к счастью, берег был рядом, и самолет с грехом пополам приземлился, верней, приводнился. Нас вынули мокрых, как губки. Что ни говори, а посуху и по морю добираться вернее.

Из Виндзора приехала Ирина, и мы поселились в Лондоне – поближе к адвокатам. Кроме того, предупредили, что присутствие наше на суде необходимо на все время слушания дела.

За Ирину я не беспокоился. Молчаливая и застенчивая по природе, она могла, когда надо было, и настоять на своем, и заставить себя уважать. Правда, при виде битком набитого зала стало нам все же не по себе.

Когда сэр Патрик Хейстингс изложил суть иска, заседание прервали для просмотра фильма.

Затем вызвали Ирину на дачу показаний. Умелыми вопросами сэр Патрик выявил сходство между княжной Наташей и моей женой. Далее доказал он, что Ирина никогда не была знакома с Распутиным.

Слово дали адвокату противной стороны, сэру Уильяму Джоуиту. Тот обратился к Ирине с отменной любезностью.

– А я и не считаю, – заявил он, – что вы были знакомы с

Распутиным. Более того, я считаю, что все в вашей жизни и в вас самой настолько чуждо Распутину, что всякий мало-мальски о вас знающий, хоть даже по рассказам, поймет, что лично вы тут ни при чем.

На другой день сэр Уильям продолжил начатое: задавал Ирине вопросы вежливо, но кратко – пять часов кряду. Силясь показать, что сходства Ирины с героиней нет, он добавил, что постановщики и с прочими персонажами не стремились к исторической точности и что, мол, даже Юсупов-Чегодаев исполнителем Джоном Барримором трактуется иначе. Джоуит хотел, чтоб Ирина сама признала несходство.

– Вам, я полагаю, известен французский посол в России Морис Палеолог. Он в своих «Мемуарах» говорит о Юсупове. И описывает его «утонченным и женственным». Описание верно?

– Нет, не верно. На мой взгляд.

– Он груб?

– Нет, не груб.

– Умен, эстет?

– Да.

– Любит искусство?

– Да.

Однако в фильме, заметил сэр Уильям, Чегодаев – офицер-солдафон, властный и неотесанный. Он в родстве с царской семьей и после убийства Распутина сослан. Не великий ли это князь Дмитрий? В доказательство Джоуит приводит другие сцены фильма. Короче, по его выходит, что просто постановщики вольно обошлись с историей. Так что никто не на кого не похож. Под конец он спросил, как на самом деле был убит Распутин. И услышал в ответ:

– Спросите у мужа. Ему лучше знать.

Иринин допрос окончился.

– Когда говорит красавица, смолкает мудрец, – назидательно сказал судья Эвори. – Но не сэр Уильям Джоуит, – добавил он лукаво.

На другой день настал мой черед. Меня не пощадили. Пришлось с перебивками рассказывать от начала до конца ту кошмарную ночь. Джоуит, по-прежнему силившийся показать несходство характеров персонажей фильма и реальных лиц, спросил меня, не испытывал ли я нервозность в момент убийства.

– Разумеется, испытывал, – подтвердил я, – я же не профессиональный убийца.

Еще два дня ушло на допросы прочих свидетелей. После чего суд вынес решение в нашу пользу. Фильм в теперешнем его виде был запрещен, и «Метро» принуждалось выплатить Ирине

возмещение за клевету достаточно крупное, чтобы в другой раз клеветать неповадно было.

Наши адвокаты горячо поздравили нас, прибавив, что дела нашего никогда на забудут: не каждый день защищаешь великую княгиню и слышишь, как князь во всеуслышание рассказывает, как сам убивал.

Глава 15

1934–1938. Баржа Валери – Выставка русских ювелирных изделий в Лондоне – Магазин на Давер-стрит – Помолвка моей дочери и болезнь жениха – В деревне с Биби – Последний семейный сбор во Фрогмор-коттедже – Похищение генерала Миллера – Биби сердится – Переезд матушки в Севр – Свадьба дочери – Смерть Биби – Сарсель

Не успели приехать в Париж, как были атакованы кредиторами. Они, видно, решили, что у выигравших суд денег куры не клюют. Дудки. «Метро» подала на апелляцию. Окончательное решение через несколько месяцев. Тогда же, соответственно, и выплата кинокомпанией компенсации. Тщетно Карганов взывал к разуму кредиторов. Они живо раздобыли наш адрес и устроили нам осаду. Часами, а то и сутками не могли мы из дома и носу высунуть. Наконец удалось улизнуть от сторожей, перебравшись на баржу к Валери, стоявшую у Нейиского моста.

Нет жизни покойней и сладостней, чем на барже. Валери к тому ж устроилась со вкусом и комфортом. Жила она уединенно: людей боялась и избегала. Будили нас утром птицы, а после приходили в гости попеременно собаки, кошки, кролики. Хочешь – сиди весь день в пижаме. Гости не возражают. Со зверьми без людей – уединение и свобода!

Вечерами музицировали. У Валери, как и у тетки, был голос густой, волнующий. Я звал ее выступить на публике, но вечные ее дикость и комплекс неполноценности мешали ей. Позже, правда, набралась она духу и выступала в «Пуляйе» на Монмартре – пела в голубом смокинге с алмазными пуговицами и черных брюках. Напомаженные иссиня-черные волосы и смуглая кожа делали из Валери настоящее дитя Востока. Успех был большой и рос с каждым днем. Это испугало ее, она не захотела упрочить славу и сбежала обратно в свой зверинец-ковчег.

Лето мы просидели на барже. Между тем апелляция «Метро» была отклонена. Мы получили компенсацию и смогли наконец расплатиться с долгами и взять из заклада часть драгоценностей. Остаток денег Ирина вложила в ценные бумаги и правильно сделала.

Вернулись к себе на улицу Турель. Однажды меня вызвал к телефону председатель русской масонской ложи в Париже: у него-де ко мне предложение, и поговорить он со мной желает у меня дома с глазу на глаз, ночью. Я из любопытства согласился. При встрече показался он мне человеком умным, властным,

уверенным. Хотел вовлечь меня в их общество. Согласись я – стану богат, как Крез. Получу кучу денег и отправлюсь в Америку с тайной миссией. Рай, а не жизнь. Я спросил, что за миссия. Гость отвечал, что скажет только в случае моего согласия. Но тогда, сказал я, согласия не будет. Иначе потеряю независимость, а она мне дороже всего. Впоследствии я не раз встречал его, и он повторял свое предложение.

В мае 1935 года в Лондоне должна была открыться выставка русских ювелирных изделий. Устроители ее попросили нас предоставить им «Перегрину», и мы самолично повезли ее.

В Лондон мы прибыли в самый разгар туристского сезона. В гостиницах битком. Без толку убили мы на поиски день. Во Фрогмор-коттедж ехать так поздно не могли, потому на Джермин-стрит пошли мы на освещенные окна и позвонили наобум в дом, с виду семейный пансион. Нас приняла седовласая дама в строгом черном платье с золотым медальоном. Гостиная была увешана фотографиями знаменитых людей, в их числе – король Эдуард VII. Без всякой надежды спросив, нет ли комнаты, с удивлением услышали мы, что – есть. Привели нас в покои с ванной, преудобные, почитай, роскошные. Но падали мы с ног от усталости, мечтали лишь о ванной и постели и вопросом, откуда такое счастье, не задавались. Среди ночи нас разбудили крики в коридоре, потом стук в нашу дверь. В сем мирном жилище, подумали мы, верно, шумит какой-то жилец, вернувшись под мухой. Вставать сил не было. Шум прекратился, и мы снова уснули.

На другой день пришла к нам обедать теща с сыновьями Дмитрием и Никитой. Вечером заглянул приятель, Тони Гандарильяс, атташе чилийского посольства, и рассказал, что наша строгая хозяйка – Роза Льюис, известная на весь Лондон стряпуха, что раньше Эдуард VII ценил ее стряпню не меньше, чем ее прелести. Но однажды кастрюли она оставила и открыла пансион. И теперь сюда сходятся лондонские кутилы, как прежде в Вене хаживала золотая столичная австрийская молодежь к фрау Захер. Роза пьет запоем, но только шампанское, и ничего другого пить в своем заведении не дает.

Гандарильяс пригласил нас переехать к нему в чейнуокский особняк, где гостили уже мы не раз.

Тони, вечно молодой и любимый лондонским обществом, был из самых остроумных и веселых людей, каких я знал. Написал он книгу «Мое королевское прошлое» – вещь пресмешная.

В каталоге выставки наша «Перегрина» значилась как

жемчужина историческая, принадлежавшая в XIV веке к сокровищам испанской короны. Упоминалось даже о Клеопатре как первой ее владелице.

Между тем у герцога Эберкорна имелась жемчужина, которую он считал подлинной «Перегриной», и подлинность нашей оспаривал. Мы сравнили обе. Оказалось, они рознятся формой, весом, величиной. Для очистки совести я сходил в библиотеку Британского музея посмотреть ювелирные справочники. В описании, мной найденном, приметы и вес «Перегрины» Филиппа соответствовали именно нашей, а не герцоговой.

Народ на выставку валил валом. Княгиня Фафка Лобанова-Ростовская, которую знал я с детства, сестра леди Эджертон и бывшая фрейлина великой герцогини Елизаветы, в галерее дневала и ночевала, вызвавшись быть добровольным гидом. Фантазия у нее была большая, речь бойкая. Хлебом княгиню не корми, дай надуть в уши несусветицу доверчивым посетителям. Однажды я застал ее в окружении внимательных слушателей перед нашей «Перегриной». Подхожу послушать княгинины байки. Слышу, рассказывает, как Клеопатра растворила жемчужину в уксусе, чтобы сумасбродством роскоши покорить Антония. Потом помолчала для пущего эффекту и заявила: «Эта самая жемчужина – перед вами!»

Между делом она сообщала, что залы в ее петербургском дворце были столь велики, что от стены до стены было неделю пути, а еще что купалась однажды в севастопольской гавани и спасла тонувший броненосец, ухватив якорную цепь и вплавь дотянув линкор за цепь до причала.

В тот наш приезд в Лондон миссис Лисгоу Смит, русская дама замужем за англичанином, предложила мне открыть магазин парфюмерии «Ирфе». Я тотчас загорелся. Вскоре на Давер-стрит, 45, появился бутик в стиле Директории. Салон был светло-серый с кретоновыми в серо-розовую полоску занавесями, а соседнюю комнату обустроили мы с Ириной для себя. Комнатка напоминала шатер. Это нравилось посетителям и добавило успеха делу.

Когда мы вернулись во Францию, дочь объявила нам, что собирается замуж за графа Николая Шереметева. Родителям трудно понять, что дети выросли. Мы не исключение. Дочка – барышня уже, невеста! Не верилось. Николай, однако, нам нравился, и выбор дочери мы одобрили. Мы уж радовались ее счастию, а оно чуть было не расстроилось. Николай заболел туберкулезом и вынужден был уехать в Швейцарию. Брак в

данный момент исключался, и мы, не внемля мольбам и слезам нашей барышни, за женихом ее не пустили. Несколько месяцев спустя положение дел стало более обнадеживающим, и мы позволили ей ехать с условием, что согласимся на брак лишь по заключении врачей о полном выздоровлении Николая.

Биби на лето уехала в деревню. Однажды утром она позвонила сообщить, что арендовала нам дом по соседству и зовет приехать как можно скорей. Побаивался я ее блажей. Она могла нанять и дворец, и хлев. Поехал я сам на разведку. По счастью, дом на берегу Эны на опушке компьеньского леса оказался приятным и удобным. И мы переехали, захватив друзей, в том числе Калашниковых и красавицу графиню Елизавету Граббе, работавшую моделью у Мулине. В этом качестве, как и в прочих, она всеми была любима за красоту и шарм.

Дни мы проводили в лесу или на реке. А вечером у Биби непременно было увеселение. Чаще всего она вызывала скрипача Гулеско, других музыкантов или певцов. Не было музыки – крутили фильмы. Биби усаживалась посреди гостиной в кресле-качалке перед столиком на колесах, уставленным бутылками. Рядом непременно – серебряная ночная ваза. У кресел для гостей – геридоны с пепельницами, сигаретами, рюмками. Все жившие в доме, в том числе прислуга, обязаны были присутствовать на просмотрах. Биби, усевшись, покачается, стукнет три раза тростью, и представление начинается. Если, что бывало часто, актер ей не нравился, осыпает его бранью и швыряет в экран бутылки.

Купила она целое семейство газелей. Временно их поместили в гараж, и напрасно. По близости стояла клетка с огромным и очень злым медведем. Однажды за нами прибежали по срочному делу: кто-то случайно не запер гаражную дверь, и газели, напуганные медвежьим рыком, убежали. И мы, стало быть, их лови. Биби сидела на террасе в окружении слуг и что-то бессвязно приказывала.

– Приведите собак! – крикнула она, тыча палкой во все стороны.

Горничная убежала и тотчас вернулась с двумя фокстерьерчиками на поводке.

– Дура набитая! – зарычала Биби. – Не с такими шмокодявками газелей ловить! Охотничьи собаки нужны! Свора нужна! Иди проси у соседей.

К счастью, газелей поймали без своры.

Ловля закончилась чудесным ужином с тончайшими, как всегда, винами. Вот и случай наконец познакомиться с новым

мужем Биби, которого прежде мы видели лишь мельком. Глядел он молодецки: высок, элегантен, с седеющей гривой. Был флегматичен и женины выходки терпел преспокойно. Впрочем, не долго терпел: скончался несколько месяцев спустя.

Биби безумно вдруг захотелось построить нам дом рядом с собой. Призвала она своего архитектора и часами обсуждала с ним планы нашего будущего жилья. В то же время объявила, что намерена завещать нашей дочери один из своих парижских домов. Даже и у нотариуса побывала, и сделала все необходимые распоряжения.

В конце лета мы поехали во Фрогмор-коттедж. Теща собирала в этот год всех своих детей – случай редкий, особенно для Ростислава и Василия, давно живших в Америке и женившихся там же. Оба женились на княжнах Голицыных. Жен их я почти не знал. Впрочем, видел, что они совершенно разные, но равно обворожительны и милы.

Семейный сбор этот был на радость и теще, и всем нам, но оказался последним в Виндзоре. В ту зиму умер король Георг V, и великую княгиню уведомили, что надлежит ей переехать из Фрогмора в Хэмптон-Корт.

Вернувшись в Париж, узнали мы, что похищен генерал Миллер, военачальник в белой армии, а впоследствии, вместо Кутепова, председатель «Русского общевоинского союза». Прежнее похищение Кутепова научило, что преемника генерала следует охранять. Меры безопасности были приняты. К Миллеру от союза приставили несколько телохранителей из числа бывших белых офицеров. Генерал знал, что офицеры разными способами пытались заработать на жизнь, и скрепя сердце согласился занять их еще и этим сверхурочным занятием. Потому часто он ходил один, вопреки протестам окружающих. Долгое время все было тихо-спокойно, и генерал отменил охрану, оставив на всякий случай лишь двух шоферов, работавших на добровольных началах. С ними он обыкновенно и ездил.

23 сентября 1936 года Миллер заехал в свой рабочий кабинет на рю дю Колизе и оставил записку другу и сотруднику, генералу Кусонскому, что едет по вызову генерала Скоблина, одного из членов РОВСа, на встречу с антибольшевистским агентом, прибывшим из Москвы. Удалось установить, что далее генерал Миллер поехал к агенту на метро, доехал до станции Жасмен, вышел и скрылся в неком доме на рю Раффе. Из дома он появился вместе с генералом Скоблиным и сел в автомобиль. Скоблин был за рулем. Далее след Миллера утерян.

Приехав в конце дня на рю дю Колизе, генерал Кусонский нашел на столе шефа записку. Тогда же г-жа Миллер, беспокоясь, что мужа слишком долго нет, позвонила по телефону в РОВС. В свой черед встревоженные, сотрудники телефонировали всем, кто мог в течение дня видеть Миллера. Тут явился Скоблин как ни в чем не бывало. Ему показали записку и спросили, где Миллер. Он пробормотал что-то невразумительное и вышел, сказав, что сейчас придет. Но не пришел ни сейчас, ни вообще никогда. Жену его, известную певицу, исполнительницу русских песен Надежду Плевицкую, арестовали, судили и приговорили к двадцати годам тюрьмы, так как в ходе следствия выяснилось, что она вместе с мужем была причастна к похищению. По-видимому, она умерла в заключении.

Дело взволновало нас потому еще, что чету Скоблиных мы знали. Плевицкая вдобавок часто пела у нас. И всегда неприятно удивляла, театрально становясь на колени и рыдая у портрета нашего императора.

В последнее время здоровье моей матери поправилось. Пользовал ее доктор С., особой своей методой исцелявший больных самых безнадежных. Новое лечение совершило с матушкой чудеса. Она гуляла почти всякий день и часто захаживала к нам на Турель пообедать. Изредка я бывал с ней в кино. Кинематограф матушка сильно полюбила и следила за новыми фильмами. Казалось, она скинула десяток лет. Меня приятно волновало и радовало, что снова она причесана и надушена, что взгляд ее снова проницателен и нежен, улыбка прекрасна, походка изящна. В ее семьдесят пять цвет лица у нее был как у барышни. Матушка никогда не румянилась, не пудрилась, и только всю жизнь горничная ее Полина готовила ей один и тот же лосьон – омовение, так сказать, историческое, почерпнутое в дневнике Екатерины II, известной своей девически-юной кожей, причем рецепт проще простого: лимонный сок, яичный белок и водка.

Матушкина поправка оказалась, увы, кратковременной. Вскоре стало ей еще хуже, чем прежде. Она уже не вставала и от пищи отказывалась. Врачи махнули рукой. Доктор С. тоже ничего более не мог. Она звала меня днем и ночью, так что я переселился на Гутенберга.

Все лето 37-го года я не отходил от больной. Биби взвыла, что ее бросили.

Как-то она позвонила по телефону сказать, что ждет меня в тот вечер к ужину, и просила привести с собой Гулеско и музыкантов. Я отказался, объяснив, что не могу отойти от

больной матери. Но для взбалмошной Биби причина была неуважительна. Она разъярилась, понеслась к нотариусу и аннулировала завещание, каким оставила нашей дочери парижский дом. Затем написала мне бешеное письмо, в котором заявила, что ежели нам разонравилось ее соседство, так и незачем нам строиться рядом, и вообще флигель, где живет моя мать, она забирает. Не вступая с ней в переписку, я скорее принялся подыскивать матушке угол.

Жена князя Гаврилы предложила мне меблированную и прекрасно расположенную квартиру в опекаемом ею доме для престарелых эмигрантов в пригороде Севр. Лучшего нельзя было пожелать, оставалось уговорить матушку. А та и слышать не хотела о переезде и сдалась только, когда сказали мы ей об ультиматуме Биби. Я заказал перевозку ее мебели и вещей и отправился с Гришей в Севр готовить помещение. Все устроив, я поехал за ней в Булонь. Никогда не забуду боль, какую испытал, увидев матушку одетую и готовую, сидящую на стуле посреди пустой комнаты. В дороге она не сказала ни слова, а увидев новую солнечную комнату всю в любимых цветах, зарыдала. Я оставался с ней несколько дней, пока она не привыкла. Увидев, что она немного успокоилась, я вернулся в Булонь.

И узнал, что Биби заболела. Умерла она вскоре после того, и повидать ее мы не успели.

Прошло почти два года, как Николай Шереметев находился в Лозанне. Наконец, лечивший его доктор Шеллер написал нам, что больной поправился окончательно и что браку ничего более не препятствует. Вести были радостные. Осталось назначить время и место свадьбы.

Родители будущего зятя жили в Риме, там же собирались обосноваться и молодые. По их просьбе венчание состоялось в римской православной церкви в июне 1938 года.

Матушка мало-помалу освоилась в новом жилище. Теперь она чувствовала себя лучше, и необходимость в моем ежечасном присутствии отпала. Мы стали подумывать оставить квартирку на Турель и переехать за город. Долго ездили мы по окрестностям Парижа, наконец нашли подходящий дом внаймы в Сарселе, на дороге к Шантийи. Дом этот, построенный в XVIII веке, странно напоминал иные русские деревенские усадьбы. День переезда уже назначили. Вдруг является к нам повидаться дочь из Рима. Пришлось ей жить у бабушки в Севре все время, пока гостила. И не думали мы, что после этого не увидимся с ней долгих восемь лет.

Начало сарсельской жизни стало самым счастливым временем за все годы нашего житья в эмиграции. Впервые со дня нашей с Ириной свадьбы мы наконец остались вдвоем! От Сарселя до Парижа рукой подать, и в то же время живешь, словно на краю света. После булонского многолюдия наступила тишь и благодать. Жизнь мы вели крестьянскую, вставали чуть свет, работали с Гришей и Денизой в саду и на огороде. Остальное время Ирина рисовала, а я читал вслух. Не виделись ни с кем. Приходила только премилая супружеская пара – мсье и мадам Бернекс, он – талантливый писатель, она – сестра актрисы Жермены Дермоз. Ударами судьбы занесло их в Сарсель, где жили они в богадельне. Однако ничуть от того не страдали, ибо из всякой беды и невзгоды могли извлечь полезный уму и сердцу урок.

Но недолго мы прожили в нашей полупустыни. Скоро к нам в Сарсель наведались друзья и зачастили. Опять пошли посиделки, особенно по воскресеньям. Но в это лето 39-го веселья прежнего не было. Грозила война, и все понимали неизбежность ее.

Глава 16

1939–1940. Разочарование эмигрантов советско-германским договором – Отголоски войны в русской эмигрантской среде – Войска на постое в Сарселе – Газоубежище – Смерть матери – Первое военное Рождество – Бегство населения от немцев – Немцы в Париже – Сарсельское лето 1940 года – «Услуга за услугу» – Печальный конец Валери – Возвращение в Париж – Посланец фюрера – Отношение русских эмигрантов к захвату немцами российской территории

С тех пор как Гитлер официально объявил себя врагом коммунизма, большинство русских эмигрантов посчитали было его своим союзником, однако договор, заключенный в 1939 году Германией и Советской Россией, все иллюзии развеял. Эмигрантская печать политику нацистов резко осудила.

Мобилизация повлекла за собой закрытие многих предприятий, где работали русские. Полку безработных в русской колонии прибыло. Русская молодежь со статусом «апатридов» была – по закону от 1928 года – призвана во французскую армию. Сарсель оказался на пути следования войск, и мы предложили наш дом для размещения французских офицеров. Первыми нашими жильцами стали пехотинцы – из частей колониальной пехоты. Они прожили у нас неделю. Все свободные комнаты в доме превратились в спальни. По вечерам сидели мы вместе с постояльцами нашими на кухне. Люди они были по большей части симпатичные и приветливые. Накануне отбытия офицеры принесли шампанское и распили его с нами.

Г-жа Рощина-Инсарова, устроительница наших булонских спектаклей, в начале войны жила с нами в Сарселе. В те дни ожидали газовую атаку. Имевшиеся средства защиты показались нам недостаточными. В одной из мансард мы решили устроить газоубежище. И, не обращая внимания на Иринины насмешки, целый день усердно затыкали в помещении щели и дыры, герметизируя его. Загерметизировали так хорошо, что воздух вообще не поступал, и через три минуты здесь уже нечем было дышать.

В начале ноября у матушки разыгрался гайморит и очень скоро принял острую форму. Нужна была операция. Ее сделали, но организму в таком возрасте перенести ее оказалось слишком трудно. Сердце не справлялось. Матушка слабела на глазах и вскоре впала в беспамятство. Утром 24 ноября она умерла, держа

мою руку в своей. Ныне покоится она среди своих соотечественников-эмигрантов на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Место поэтическое: березы и вокруг – бескрайние пшеничные поля. Почти как в России.

С тех пор как помню себя, мать была в моей жизни главным человеком. С тех пор же, как умер отец, – главной заботой. Считал я ее своим другом, наперсницей, вечной поддержкой и с болью видел, как постепенно роли наши меняются. В последние годы матушка стала словно больной ребенок, от которого скрывают неприятности. Но это все забылось, а осталось в памяти о ней лишь нежность и свет, которые сохраняла матушка и в старости. Чувствовал их всякий, кто приближался к ней. Редкую женщину любили так, как ее, и крепость этих чувств – лучшая ей похвала.

В письмах ее я нашел стихи, написанные незнакомым почерком:

Вы говорите, вам – седьмой десяток лет?
Конечно, с вашей я уверую подачи,
Сударыня, в сие известие, иначе
Подумал бы, что вам и трех десятков нет.
Итак, вам шестьдесят, вы говорите, лет.
На том благодарю. А думай я, что тридцать,
В вас, разумеется, не смог бы не влюбиться!
И, с вами коротко не будучи знаком,
Не насладился бы любовью целиком!
Итак, сударыня, вам нынче шестьдесят,
И в вас влюбленности не прячут стар и млад.
Вам шестьдесят. И что? Для любящего взгляда
Не только шестьдесят – и сотня не преграда.
И к лучшему – когда уже за шестьдесят!
Тускнее лепестки – сильнее аромат.
Когда в цвету душа, над ней не властны зимы.
И прелести ее вовек неотразимы.
Незрелая краса немного и поймет.
А с вами разговор – и острота, и мед.
И только вы одна поймете и простите.
И в вас, как ниточки в одной единой нити,
И ум, и доброта. И я, по правде, рад,
Что вам исполнилось сегодня шестьдесят!

Прошла в Сарселе первая военная зима. Друзья приезжали повидаться и оставались на несколько дней. Часто гостила у нас элегантная красавица Екатерина Старова, у которой сын был на

фронте. Ненавязчиво-добрая и самоотверженная, она стала ангелом-хранителем многих несчастных. Когда умерла моя мать, Катерина приняла во мне такое участие, что меня потянуло к ней. Мы стали друзьями. Дружба упрочилась со временем. В тот год Катя и еще несколько приятелей приехали к нам в Сарсель на Рождество. Гости привезли с собой снедь к рождественскому обеду, а мы нарядили елку.

Рождественская служба, которую слушали мы по радио в первое военное Рождество, передавалась и в окопах, где находился Катин сын. Служба закончилась, а мы все сидели у зажженной елки. Душой мы были далеко, улетев сквозь пространство и время в наше детское Рождество, в Россию... Вдруг елка загорелась. Никто не заметил. Все вспоминали... Так елка и догорела.

Ударили морозы. Гололедица часто мешала сообщению с Парижем. Весной вышла из зимней спячки война. Появились беженцы с беженским своим горем. Сначала из Бельгии, потом с севера Франции. Телефон не действовал, связи с Парижем не было. Вести доходили редко и скудно. Люди говорили одно, радио – другое. Беженцев прибавлялось. Вскоре они пришли из Люзарша. Люзарш от Сарселя в двадцати километрах. В Сарселе поднялась паника. Лавки закрылись, в том числе съестные. В сутки город опустел. Пришлось уехать и нам, чтобы не околеть с голоду. Бензина хватило дотянуть до Парижа. Париж тоже вымер. Гостиницы закрыты, друзья разъехались. Приютила нас Нона Калашникова. Занимала она комнатку в доме на улице Буало. В этой каморке и ночевали мы впятером, включая ее пса и нашу кошку. На другой день барон Готш поселил нас у себя на Мишель-Анж. Неподалеку, на бульваре Эксельманс, жила подруга наша графиня Мария Черникова. Мы пошли навестить Машу, но застали ее на улице перед собственной дверью за кормежкой беженцев. О, эта вечная жалкая картина всеобщего исхода: перепуганное стадо женщин, детей, стариков, кто в силах – на своих двоих, кто нет – на повозках и тачках, куча-мала с собаками, кошками, шкафами и перинами. Лица растеряны или безумны. Большинство, снятое пропагандой с места, не знало даже, куда идет. С одной измученной беженкой я заговорил. При ней было четверо детей мал мала меньше и грудной младенец. Я сказал ей, что безопасней сидеть дома, чем идти куда глаза глядят. «Разве вы не знаете, – ответила она, – что немцы насилуют женщин и режут детей на мелкие кусочки?»

Мы предложили помочь Маше, но магазины, оказалось, были закрыты. Еле-еле удалось достать хлеб и сахар.

Страдали люди – страдали, стало быть, и звери. Боже, как выли и плакали брошенные собаки и кошки. Тут и там вспархивали то попугай, то канарейка. Они сами шли в руки. Так мы поймали нескольких и раздали их на житье по знакомым.

Парижане бедствовали невероятно. Среди них немало было русских. Иные, печась об охране своего жилища, устраивались жить в пустой привратницкой.

Сдадут столицу или нет? Неизвестность мучила.

14 июня немцы вошли в Париж. Мы видели, как шли они Сен-Клускими воротами. Рядом многие прохожие плакали, да и у нас текли слезы. За двадцать лет Франция стала нам второй родиной.

Как только объявлено было о перемирии, оккупационные власти закрыли все русские предприятия. Безработных прибавилось. Эмигрантам без средств пришлось просить работу. А работодатель был один – немец. И русские тем самым нажили себе новых врагов: французов.

Но жизнь, хорошо ли, плохо ли, налаживалась. Разбежавшееся население возвращалось по домам. Собрались и мы восвояси и в конце июля вернулись в Сарсель. Вскоре к нам пожаловали немецкие офицеры. Арестовать, решили мы. Ан нет, наоборот, проявить заботу! Спросили, не надо ли чего. Предложили бензин, уголь, продукты. Мы сказали – спасибо, у нас все есть. Странная забота удивила нас. Позже, однако, поняли мы, в чем дело.

Во времена самого крайнего нашего безденежья мы, опасаясь, что кредиторы доберутся до «Перегрины», вверили ее директору английского Вестминстерского банка, просив положить ее в его личный сейф в Париже. Сложности возникли, когда в 1940 году немцы устроили ревизию сейфов, принадлежавших английским подданным. Меня как вкладчика администрация банка вызвала присутствовать. Я подумал: заберу свое добро, да и все. Но управляющий сказал, что правят бал немцы, а немцы – что банк. Обе стороны уперлись. Ни тпру ни ну. Волнуясь за «Перегрину», я пошел к самому ревизору. Принял меня молодой, вежливый, щеголеватый чиновник. Я изложил дело, чиновник обещал все устроить. Провел меня в соседнюю с кабинетом комнату-приемную. Через несколько минут вошел офицер. Его слащавая любезность и кошачий взгляд сразу мне не понравились.

– Мы счастливы служить вам, – осклабился он. – Жемчужину свою вы получите. Но услуга за услугу. Про вас нам все известно. Согласитесь стать нашим, так сказать, светским агентом – получите один из лучших парижских особняков. Будете жить там с княгиней и давать приемы. Счет в банке вас ждет. Кого

приглашать, мы скажем.

Каков вопрос, таков ответ. Дал я понять молодцу, что обратился он не по адресу.

– Ни жена моя, ни я ни за что не пойдем мы на это. Уж лучше потерять «Перегрину».

Я встал и пошел было к двери, но тут офицер подскочил и с жаром пожал мне руку!

Но и только. Жемчужину мне вернули лишь три с половиной года спустя, уже после ухода немцев.

В годы оккупации нас не раз приглашали на званые вечера немецкие высокопоставленные лица, но принимали мы приглашения с большим скрипом. Немцы, однако ж, нам доверяли. И потому смогли мы спасти некоторых людей от тюрьмы и концлагеря.

Однажды я повстречал Валери, которую не видал уже вечность. Жила она по-прежнему на барже. Пригласила нас ужинать. К своему удивлению, в гостях у нее застали мы немцев. Немцы, должен сказать, были все прекрасно воспитаны, даже симпатичны, а те, кого знал лично я в годы оккупации, ненавидели Гитлера. Все же не след было француженке звать их к себе. Но повадилась Валери по воду ходить, там и голову сложила.

Летом жить в Сарселе было еще туда-сюда. Овощи свои, а в саду небывалый урожай абрикосов. У местного Феликс-Потэна мы выменивали их на хлеб, соль, сахар. Но с первыми холодами в деревне без отопления стало невмочь. В ноябре мы вернулись в Париж.

Прожили несколько месяцев в меблированных комнатах на улице Агар, одной из немногих, где топили. Была у нас даже неслыханная роскошь – горячая ванна дважды в неделю. В эти «банные» дни приходили к нам на помывку «безводные» друзья. Сидели в гостиной с узелками и терпеливо ждали очереди. Потом обедали в складчину.

Позже я нанял помещение на улице Лафонтен, и там прожили мы год. Помещение было огромно, напоминало ангар. К счастью, водил я дружбу с парижскими антикварами. Все – евреи, все жаждут отдать сокровища на хранение в надежный дом, подальше от немцев. Так что пожили мы с год как в музее.

Однажды некий итальянский художник, с которым знаком я был шапочно, пришел сосватать меня с немцем, прибывшим от Гитлера. Этот желал поговорить со мной о будущем моей родины. Отчего ж не поговорить? Но посланца фюрера к себе не позову и к

нему не пойду. На нейтральной территории – это пожалуй. Условились пообедать втроем в отдельном кабинете в ресторане на бульваре Мадлен.

Через немца, стало быть, фюрер сообщал мне, что намерен уничтожить большевиков и восстановить в России монархию. Посланец спросил, заинтересован ли я в том лично? Я посоветовал обратиться к Романовым. Они проживали в Париже, я дал адреса и фамилии. Посланец спросил, что я думаю о евреях. Я признался, что евреев не люблю. Сказал, что и стране моей, и мне сослужили они плохую службу и что, уверен, революции и войны случились по их милости. Но осуждать огулом, сказал я, – абсурд.

– И уж во всяком случае, – добавил я под конец, – нельзя обращаться с ними так, как вы. А еще цивилизованная нация!

– Но ведь фюрер это делает для всеобщего блага! – вскричал немец. – Вот увидите, скоро он очистит мир от жидовской чумы!

Спорить было бессмысленно. «Чистокровному арийцу» хоть кол на голове теши. Обед был кончен, и я откланялся.

Нападение Германии на советскую Россию оживило надежды многих эмигрантов. Первой их мыслью было: коммунистам конец.

Понятно, что немало русских встало на сторону наци. Решили, что можно возобновить борьбу с большевизмом, и завербовались в немецкую армию кто бойцом, кто – переводчиком.

Такое ж отношение к немцам было поначалу и в России. Стали приводить в исполнение секретный план: армию за армией сдавали почти без боя. И оккупационные войска население встречало хлебом-солью. Люди проклинали Коминтерн и в оккупантах видели освободителей.

Через несколько месяцев все изменилось. Немцы, как всегда, совершили психологическую ошибку: были по отношению к русским жестоки. И в России их возненавидели еще пуще, чем большевиков.

Ужасна была участь пленных красноармейцев. Совдепия считала их предателями, Германия – врагами. Гибли они поголовно от голода, болезней, зверского обращения. Из тех, кто выжил, составилась армия под командованием генерала Власова. Власовцы били красных, а потом освободили от немцев Прагу. В конце войны генерал сдался американцам, американцы сдали его большевикам, большевики – судили и повесили.

Как только стало ясно, что Гитлер просто хочет уничтожить славян да прибрать к рукам юг России, сделав из Германии нового гегемона, отношение к немцам изменилось в корне. Население стало враждебно, в армии саботаж прекратился. Кто из

эмигрантов уходил на фронт, поняли, что одурачены, вернулись во Францию и на немецкую мельницу воду уж не лили. А в России на немца поднялись все как один и выгнали к такой-то матери.

Советское правительство ну кричать про торжество коммунистических идей! Победа, которую на патриотическом порыве одержал русский народ, укрепила позиции коммунистов не только в России, но и в большей части Европы.

Вот уж этого русский народ совсем не хотел. Не за коммунизм он сражался, а за родину. Но, сберегая ребенка, не выплеснул воду.

Удивительна порою у страны судьба. Дружит с врагами, враждует с друзьями. В конце прошлого века России с Германией вроде и незачем было воевать. Связаны через династии, породнились; народы не ссорятся; и русские, и немцы, хоть и разного вероисповедания, – люди глубоко верующие. Но союз русско-французский и немцев озлобил, и французов не спас. Останься независимой, Россия скорее Франции помогла бы, на Германию цыкнув, как бывалочи.

Россия с Германией попали под власть двух монстров, ублюдков гордыни и ненависти – большевизма и нацизма. Но большевизм – не вся Россия, нацизм – не вся Германия. Теперь-то мы знаем от тех, кому можно верить, что русские в большинстве своем настроены антисоветски, а многие и вовсе остались православными. Народ жаждет избавления и завтра же станет помогать избавителю. Счастье было возможно уже дважды: в 19-м году, когда союзники были рядом, и после 45-го, когда советскому правительству пришлось доверить армию генералам, мягко говоря, не очень партийным. А поддержка армии борцам с властью ох как пригодилась бы. Возможность упущена, и сегодня коммунистов шапками не закидать. Шапками – нет... Но в любом случае ясно: Россия проглотила самую горькую пилюлю, и тем верней теперь очистится и окрепнет. Русское сопротивление мужеством и верой уже доказало, на что способно. Возрождение не за горами.

Глава 17

1940–1941. Св. Терезия Лизьесская и шофер такси – Новости от тещи и шурьев – Мы стали дедом и бабкой – Фатима – Феерия на авеню Фош – Рудольф Хольцапфель-Вард – Обеды у миссис Кори – Вселение на Пьер-Герен – Приезд моего шурина Дмитрия

Мы жили на улице Лафонтен в районе Отейль близ сиротского приюта и церкви св. Терезии Лизьесской. Однажды мне приснилась молодая монахиня. Она шла ко мне с розами в руках по цветущему саду. После этого я всегда молился святой угоднице из Лизье. И всегда не напрасно. Даже нашел ей еще молельцев. Помнится, ехал в такси, и шофер, тоже русский, пустился рассказывать мне о своих несчастьях. Несчастья были такие ж, как у всех. Старики отец с матерью в России, вестей от них нет, жена больна, дети без присмотру, в делах не везет, под конец нищета и претензии к Господу Богу. Я эти жалкие песни слышал-переслышал. Рознились они лишь манерой исполнения да последним куплетом. Мой шофер Господом был недоволен. Чем дальше рассказывал, тем больше возмущался несправедливостью провидения, да еще и меня приглашал в свидетели. Закончил полным бунтом. Коли есть Сатана, то нет Бога. Что тут скажешь? Увещаниями только масла в огонь подольешь. Я просил подвезти к св. Терезии на Лафонтен. В церковь такого субъекта калачом не заманить. Но страдальцам я почему-то вечная няня. Втащил в храм, усадил на скамью, сказал, чтоб попробовал от сердца помолиться святой Терезии и отсел в сторонку. Шли минуты. Он встал на колени. Закончив молитву, подошел ко мне, и молча мы вышли.

Потом историю эту я забыл. Прошел год. Иду по Елисейским полям. Собираюсь перейти на другую сторону. Подлетает такси. Из такси выскакивает шофер и бросается ко мне. Улыбка до ушей. Я еле узнал его, так он изменился. Жизнь наладилась, сказал он. Живет не тужит. Когда бывает в Отейле, непременно заходит поставить свечку святой Терезии, которая-то и наладила ему все.

Сообщение с Англией вследствие перемирия 1940 года прервалось, и долгое время от Ирининых родных известий не было. Лондон бомбили, и тревожились мы ужасно. Первая весточка пришла только в ноябре. Великая княгиня и дети живы и здоровы. У шурина Андрея после долгой болезни умерла жена. Теща переехала из Хэмптон-Корта в Шотландию и поселилась во флигеле замка Балморал. А еще, оказалось, в бомбардировке

погиб Буль. Письма, наконец, стали приходить, но шли очень долго. Из последнего узнали мы, что Федор заболел туберкулезом и лечится в шотландском санатории.

Из Италии вести были утешительней. Почта работала без перебоев. Дочь с мужем и шурин Никита с семьей писали регулярно. Так, сообщили нам, что мы скоро станем дедом и бабкой! Крошка Ксения родилась в Риме в 1942 году, но увидели мы внучку только четыре года спустя.

В прошлом я не раз уже страдал от Юсуповых-самозванцев. На сей раз вышла не трагедия, но комедия. Началась она давно, до войны, когда жили мы еще в Булони. Назвавшись князем Феликсом Юсуповым, проходимец соблазнил венгерскую девицу Фатиму. Дело было в Будапеште. На прощание он еще и адрес оставил. Мой. Стал я получать письма, страстные и отчаянные. О былых ночах любви. Судя по всему, двойник был большой мастер. Напомнила мне девица, как сидела со мной в будапештском ночном ресторане, как плясал я на столе в черкеске, меча кинжалы над головами соседей. Я послал ей письмо, в котором объяснил ошибку. Не помогло. Сначала писала по-немецки. Теперь стала писать по-французски. По-французски – относительно. Сообщила, что начала учить его и собирается приехать с матушкой во Францию и выйти за меня. А пока ждет в консульстве свою «визо». Прислала фотокарточку – на снимке немолодая пышка с кудряшками. Написала: *«Покупите лошка-вилька, посуда, касрюля, горшок и етот новый штюка – колодилник».*

Еще хотела улей, чтобы *«пчельки жюжжяль».* Под конец самое главное: «*Ви и я спать балшой кровать, матрас толстый, покрывала кружывная испанская».* Испанская еще и шаль, *«шал с бакрамой, а ишшо красивый золотой серги с балшой-балшой брылянт».* В заключительном письме приезд был делом решенным и давалось последнее распоряжение: *«Каждая день мне служить мажардомм».*

Я посмеивался себе, как вдруг вызван был в венгерское консульство. Консул спрашивал, действительно ли я ожидаю двух дам и должен ли он подписать им визу. «Боже сохрани! – воскликнул я. – Это полоумная. Она годами засыпает меня письмами, принимая меня за кого-то другого!»

С паршивой овцы хоть шерсти клок: вторая мировая война освободила меня от Фатимы с матушкой.

В войну единственным средством передвижения было метро. Потому стало оно местом встреч самых неожиданных. Так, в

давке я нос к носу столкнулся с давнишним другом, которого не видел сто лет, аргентинцем Марсело Фернандесом Анчореной. Анчорена познакомил с женой и пригласил на обед в новую их квартиру на авеню Фош.

Стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой, как супруги Анчорена. Хортенсия – солнечный зайчик, живчик, хохотушка, говорит звучно, выразительно. Марсело – полутона. Говорит глухо, нерешительно, словно с трудом подыскивая слова для деликатной мысли. Молчит многозначительно. Она ясна как Божий день, он таинствен. «Хочу жить на сцене, с декорациями», – говорит она. И живет. Разве что занавеса недостало. Представление начинается. Три грации на дверях посторонятся и впустят актеров. Или те с большого балкона войдут. Или спустятся по лестнице с белыми балясинами и обтянутыми черным бархатом перилами. На кристьян-бераровской ширме оживут Пьеро с Коломбиной и разыграют под музыку «Лунной ночи» грустный скетч.

Авторы и постановщики спектакля: Андрэ Барсак, Жан Кокто, Брак, Тушаг, Матисс, Дюфи, Кристьян Берар, Джорджо Кирико, Жан Ануй, Леонор Финн, Люсьен Кутар... Хватит, наверно. Андрэ Барсак, нынешний директор «Ателье», сделал план и декор квартиры, а также настенные эскизы с непременным, по причине войны, голубем мира.

В будуаре Хортенситы на двери – декорация из балета «Ночные красавицы» по ануйлевскому либретто. Художник – Финн, его же и «кошачьи платья». Ануй от руки нацарапал краткое содержание, Жан Франсэ приписал дюжину нот. Словно страничка старой рукописи. Весь вам балет на венецианском дверном стекле. Диковинное жилище, а самая диковина – рояль. Жан Кокто раскрасил его, а внутри спрятал радио. Рояль – чистое чудо-юдо. «Мой отпрыск», – говорит Кокто. Внутри на фоне звездного неба надпись-посвящение и приписка: *«Ночная бабочка витийствует одна».*

Все военные зимы с перебоями в отоплении супруги Анчорена принимали друзей в маленькой красной гостиной на самом верху. Я сидел под картинкой Пикассо и играл на гитаре. Там-то я и познакомился почти со всеми знаменитостями, кто оформлял в ту пору квартиру.

Но главным ее оформлением Анчорена считали талант, ум и культуру и собирали у себя замечательных людей самых разных идей, кругов, национальностей, устраивая меж ними интеллектуальное общение.

Не скучно на авеню Фош! Но веселье здесь высшего порядка. И хозяин – маг-волшебник. А гости – за круглыми столиками.

Человек по восемь. Яства изысканные. Что едим – непонятно. Вкусно, но странно. То ли мясо, то ли рыба. То ли овощ, то ли фрукт. Главное – удивить и создать впечатление, что вы вне времени и пространства, в царстве феерии.

С продуктами было плохо. Часто приходилось питаться не дома. Чаще всего – в забегаловке неподалеку. Кормежка сносная, цены божеские. Однажды, пообедав с одной нашей приятельницей, мы пошли было к выходу, но тут хозяйка заведения отвела нашу подругу в сторону и спросила, не знает ли та, кто мы такие.

– Знаю, разумеется, – отвечала подруга.

– Да, да, понятно... Нет, но знаете, о нем тут у нас такое рассказывают! Говорят, он зарезал какого-то Марата прямо в ванной! Что хотите, ему скажите, а только передайте, чтоб ко мне в ватерклозет не ходил!

С тех пор подруга звала меня Шарлоттой Корде.

В те дни захаживал я в бар гостиницы «Ритц», встречал там знакомых. Там же познакомился с Рудольфом Хольцапфель-Вардом, американцем, известным в Париже экспертом-искусствоведом. Понравились взаимно и сблизились. Жил он в Отейле с женой и двумя малыми ребятами. Потом я часто навещал его.

Рудольф был человеком из ряда вон. Жил искусством, религией, философией, о повседневном не думал. Но мне нравился склад ума его. Правда, он обожал Руссо. В отличие от меня. С Рудольфом мы исходили весь Париж в поисках предметов искусства. У него был нюх на шедевры. Он находил сокровища там, где их в принципе быть не могло. Владельцы и не подозревали, чем владеют.

Когда Америка вступила в войну, американцев арестовали. Рудольфа в том числе. С трудом удалось освободить его. Спасибо, помогли его австрийские и немецкие коллеги, с которыми сносился он до войны.

В ту зиму жена стального магната миссис Кори давала обеды в «Ритце». Постоянные застольцы: графиня Греффюль, герцоги Аренбергские Шарль и Пьер, виконт-острослов Ален де Леше, Станислас де Кастеллан с женой-«газелья парочка», и графиня Бенуа д'Ази, шившая себе платья из гардин.

Миссис Кори была худа как щепка и бледна как мертвец. Ходила в треугольной фетровой шляпе и носила ее на темени, как Наполеон треуголку. Уверяли, что в рыбный день она перед приходом гостей съедает бифштекс. Спиртного не подавалось.

Приходили со своим. Графиня Греффюль вынимала редчайшее «Папское» 1883 года из черной тряпичной кошелки.

Коли жить не в Америке, а во Франции, то для миссис Кори самое место, думаю, было в зоопарке!

Однажды на ритцевский обед графиня Греффюль привела Жана Дюфура с женой, будущих наших друзей. Жан в то время уже пошел в гору в «Лионском кредите». В наши дни он – его директор. Работоспособность и энергия у Дюфура небывалые. И еще одно редкое умение: после бессонной ночи выспаться за пятнадцать минут. К тому ж человек Дюфур общительный, с ним приятно и интересно, а как друг готов он для вас на все. Жену его Сюзанну мы зовем Марией Антуанеттой за сходство с королевой. Потому, верно, наша Мария Антуанетта, талантливая художница, частенько вдохновляется версальскими пейзажами. Выйдя замуж, для мужа она поступилась многим, что любила, к примеру, спокойствием. Жизнь ее при муже шумная, на людях, а хочется порой тишины, уединения, писания на природе. В данный момент приходится довольствоваться пейзажем за окном квартиры на набережной Вольтера. Из окна, по ее словам, «ей вся Франция видна». Причем в исторической ретроспективе. Ибо до нее в это окно глядел Бонапарт. Бог его знает, что он там высмотрел... Позже сходились тут на бурные свидания Жорж Санд с Мюссе.

Временное жилье на Лафонтен нам не нравилось. Хотелось найти что-нибудь основательней. На окраине Отейля в конце улицы Пьер-Герен, в тупичке, мы обнаружили бывшую конюшню, превращенную в жилой дом. Дом был ветхий и без удобств, но место замечательно. Деревья и мощенный булыжником дворик. Взять внаймы оказалось мало. Пришлось все починять и перелицовывать. Рабочих я призвал русских.

Была весна 1943 года. Зиму отсидели в Париже, с первым теплом перебрались в Сарсель. Гриша с Денизой занимались садом и огородом. С продуктами было все трудней, а у нас тут был подножный корм. Из Сарселя я то и дело ездил в Отейль присмотреть за работами. А им, казалось, конца нет.

К осени дело продвинулось не слишком. В декабре мы все еще торчали в Сарселе. Стала сильно болеть левая нога. Врач сказал – артрит и посоветовал съездить в Париж к хирургу. Вызвали такси, и на старом драндулете, как в карете скорой помощи, перевезли меня на Пьер-Герен в дом без крыши и отопления. Никогда не забуду первые ночи в новом доме. Гриша раздобыл печку, но чадила она так, что окна и дверь держали мы настежь днем и ночью. Вдобавок шел дождь. Мы тряслись от холода и спали под зонтиком.

Хирург объявил, что ходить я не смогу, по-видимому, долгие месяцы. Друзья, увидав, как мы живем, стали уговаривать лечь в клинику, но особого лечения мне не требовалось, а Ирина была отменной сиделкой. Я остался дома. Мое вынужденное сидение и домашний разор, впрочем, не помешали рождественскому веселью. В новогоднюю ночь мы пили и пели под гитару с русскими друзьями. На Пьер-Герен, я думаю, никогда такого не слыхивали!

Пьер-Гереновский тупичок наш – мир особый. Тишина полнейшая. Правда, рядом школа, и днем в переменку – шум и гам. Орут чада ни за чем или с целью свести с ума местных жителей. Поначалу мы из-за этого чуть не сбежали. Потом привыкли и даже приспособились к детскому визгу, как к часам. Утром в тупичке сходятся четвероногие парочки, вечером – двуногие. Соседей у нас немного, люди все скромные. Ревматичная старушка. По утрам, сгорбившись, еле тащит ведро. И не подумаешь, что есть луч света в темном царстве. Раз в неделю к ней приходит друг. Она поджидает его у окна. Всякую субботу он появляется у нас в тупичке, напевая: «А вот и я, а вот и я». Бывший музыкант из Руана. Приносит гостинчика, винца и покушать. Разложится, обед сготовит, сыграет на корнет-а-пистоне. Потом уйдет. На углу обернется, помашет ей, мол, до свидания. Она ему из окна улыбается и глазами провожает... а потом опять ждет.

А еще есть дворничиха Луиза Дюсимтьер. Могла бы на театре с большим успехом играть Полин Картон. Не жить Пьер-Герену без этой семидесятилетней молодушки, краснощекой и востроглазой. День-деньской хлопочет. Все дворы переметет, все лестницы перемоет. С огоньком, да еще с выдумкой. Мало что чистит-начищает, еще и белье моет-намывает, надо не надо и цветы пересаживает из сада в сад, из сада в сад. Когда моих нет, обед мне состряпает, непременно что-нибудь вкусненькое. Пойдет в магазин – вернется с новостями: то правительство постановило Эйфелеву башню снести к бесу, то машина врезалась в витрину Бель-Жардиньерки на скорости сто в час и народ подавила...

Меня Луиза зовет «мсье князь», жену – «мадам графиня», а мою замужнюю дочь – «барышня принцесса». Один мой знакомый доминиканец у нее – «мсье монах», когда в рясе придет, и «мсье профессор». когда без. Если иду куда-нибудь, прошу хлопотунью записать, кто звонил. Один раз говорит – посол звонил.

– Какой посол?

– Почем я знаю.

– Откуда ж знаешь, что посол?

– А голос у него такой.

Коронный ее номер – байка, как клала она вместе с президентом цветы «племяшу своему Франсуа» на могилу «Неизвестного солдата» у Триумфальной арки.

Ни Пьер-Герену, ни мне без Луизы не бывать.

Пока я был «сидячий», гость валил валом. Рудольф Хольцапфель, живший по соседству на вилле Монморанси, приходил всякий день в шесть. Я был тронут тем более, что знал, как он занят. Но развлекать он меня вздумал чтением «Исповеди» Руссо, притом по-английски! Домашние звали его «господин Шесть-Часов».

Заглядывала Жермена Лефран, тоже соседка. Ее ум, остроумие, чувство юмора были для меня отличным лекарством.

В марте мне разрешили встать. Понемногу я стал выходить. Ремонтные работы почти уж закончились, у дома появилась физиономия. Внизу была гостиная и столовая, между ними – кухонька. Стены комнат обтянуты холстинкой, мебель прежняя, лондонской поры, побывавшая до Пьер-Герен и в Булони, и в Сарселе. В столовой я развесил своих кальвийских «монстров», а в застекленном шкафчике расставил забавные тряпочные куколки, сделанные Ириной.

Крутая лестница наверх. Наверху – спальня, бывший сеновал, теперь большая, очень светлая, солнечная комната. Я выкрасил ее аквамарином и обставил мебелью из матушкиной булонской комнаты. На стенах – портреты и гравюры, навевавшие самые дорогие воспоминания.

Жизнь становилась все трудней. Есть было нечего. Да и сидели в постоянном страхе. Боялись воров, переодетых ажанами. На женщин порой нападали в темноте на улице, срывали пальто, серьги, а то и платье и туфли. Наши некоторые приятельницы уже пострадали. Люди не открывали на звонок, дамы не выходили по вечерам.

Друг Рудольф, решив, что в Париже не житье, уговаривал даже нанять парусник и тайком уплыть в Ирландию. Чтобы подкормить нас, Гриша с Денизой ездили на велосипеде в Сарсель на брошенный наш огород добрать случайный овощ. Возвращались, везя урожай на прицепе в старом, трухлявом кузове.

В 1944 году, к нашему огорчению, прямо напротив засел генерал Роммель со своим штабом. На Пьер-Герен появились немецкие часовые. С ними поздно вечером приходилось пререкаться, чтобы пройти к себе домой. По-немецки мы не знали и с трудом могли убедить их, что хотим всего-навсего спать в

своей постели.

Июнь 44-го... Союзники высадились во Франции. Чем ближе они к Парижу, тем в Париже напряженней. Чувство, что сидишь на пороховой бочке.

Шведский консул рассказал нам, как уговорил генерала фон Шольтица не послушаться приказа и пожалеть Париж. Париж пожалели. Немцы ушли, в столицу вошел генерал Леклерк с войсками, за ним союзники. Но к бочке меда примешалась ложка дегтя. Как только первая радость поугасла, начались сцены, какие уж видели мы прежде немало. Толпа везде толпа. Бессмысленна и беспощадна. И во все века так было: вознесет, потом растопчет... Не забуду замечание одного торговца. «Между прочим, – сказал он, – от Вербного Воскресения до Страстной Пятницы всего пять дней».

Начались массовые аресты, в основном по указке самочинных судей, сводивших личные счеты. Арестовали многих наших друзей, и освободить их было очень трудно. Немцев ненавидели так, что предателем называли и того, кто предал, и того, кто просто работал по профессии и зарабатывал на хлеб.

Вскоре встретились мы с новым английским послом Даффом Купером, теперь лордом Норвиком, и его супругой Дайаной. Дружили мы с ними уже с давних пор. Как только они приехали, я навестил их в отеле «Беркли», где они временно остановились, пока готовилась им посольская квартира.

Как снег на голову свалился на Пьер-Герен шурин Дмитрий в форме офицера британского флота, посланный с миссией от адмиралтейства. От него узнали новости о теще и компании. Андрей женился вторым браком на шотландке. Федор болел и жил с матерью в Шотландии. Дмитрию, с тех пор как мы не виделись, тоже не поздоровилось, особенно в дюнкеркские дни, когда вместе с английскими моряками участвовал он в эвакуации войск.

Успехи союзников позволяли надеяться, что конец войны близок, и люди строили планы. Лично у нас был план один: поехать скорее в Англию, повидать великую княгиню.

Глава 18

1944–1946. Последняя военная зима – Париж возрождается – Жалость к советским военнопленным в конце войны – Сняли дом в Биаррице – У великой княгини в Хэмптон-Корте – Везем Федора в По – Лето в Лу-Прадо – Калаутса – Сен-Савен

Зима 44–45-го была особенно злой. Отопления не имелось почти ни у кого. Машин тоже. Такси и автобусы не ходили, подземка работала до двенадцати. Гриша придумал положить доску в прицеп, с которым ездил за сарсельскими овощами, и в этом экипаже приезжал за нами по вечерам, если мы опаздывали на метро.

Париж постепенно возвращался к жизни. После четырех лет оккупации хотелось встряхнуться, перевести дух. Среди близких друзей устраивались обеды, по домам или в ресторанах. В светскую жизнь даже Рудольф втянулся. Несмотря на бесхлебицу, звал к себе обедать и ужинать. Кто только не бывал у него: леди Дайана Купер, Луиза де Вильморен, князь с княгиней Андрониковы, Люсьен Тесье с женой, художник А. Дриан, Гордон Крэг и поразительный иллюзионист перс Резвани. И непременно офицеры-союзники. Офицер иностранного легиона русский Тарасов пел со мной по очереди под гитару цыганские песни. Приятельница наша Казимира Стулжинска первая придумала открыть у себя на рю Массне столовую с кормежкой в духе семейного обеда. Безденежных кормила задаром. Милая русская чета Олиферы устроили такую ж столовую у себя на Камоэнса с уютными лампами и ловкими подавальщицами. Однажды, зайдя к ним на ужин, мы застали Олиферов в слезах среди разора: квартиру обокрали типы в масках с автоматами. Унесли все, что нашли. Деньги, ценности, серебро и продукты. Оставили только ужин. И мы поужинали.

У Старовой познакомился я с Софьей Зерновой, работавшей в русском детском доме. Ныне она заведует им. Дело существует в основном на частные пожертвования.

Однажды к Зерновой пришел русский старик в лохмотьях и принес пятитысячную купюру. Зернова, изумясь, спросила, на что он живет. Старик сказал: получает пособие по безработице, три тысячи франков ежемесячно, но смог подкопить на детский дом, как выразился, «на помойках». Зернова не хотела было брать, но все ж взяла, чтоб не обидеть. Нашлись еще благотворители: спустя время старик вернулся опять с пятью тысячами – «подкопили» на зерновский детский дом другие помоечники.

В апреле 1945 года, когда окончилась война, более двух миллионов советских военнопленных, так сказать «освобожденных», узнали на практике, что плен – значит самоубийство.

Нам было безумно жаль их – нам, но не миру. Мир долго оставался в неведении. Вопрос о пленных замалчивался. Только в 1952 году рассказал обо всем «Ю.С. Ньюс энд Уорлд Рипорт», независимый вашингтонский еженедельник. Объясняя отказ США отослать на родину корейских военнопленных, напомнил он об «одном из самых мрачных эпизодов самой кровавой в истории войны». Дам слово автору статьи:

«По окончании войны союзники обнаружили, что в плену или на службе у немцев было более двух миллионов русских. Так, на стороне нацистов сражалась целая армия под командованием генерала Андрея Власова, бывшего защитника Москвы. Взяты были союзниками сотни тысяч, многие отправлены в Англию, даже в Штаты. Вернуться на родину не желал почти никто.

Тем не менее участь «освобожденных» была решена по указке свыше вскоре после Ялтинской конференции. Согласно этой указке, «все русские военнопленные, освобожденные в контролируемой союзным командованием зоне, подлежали передаче советским властям в возможно кратчайшие сроки».

Таким образом, массовое возвращение пленных началось в мае 1945 года. Длилось оно год. За это время сотни тысяч русских пытались уклониться, десятки тысяч кончали с собой в пути. Американцам, ведавшим отправкой, пришлось силой загонять людей на трап. Одного офицера за отказ судили.

Русские, взятые в плен на юге Европы, были отправлены в австрийский город Линц, откуда репатриированы. По дороге почти тысяча выбросилась из окон вагонов в Альпах на мосту над ущельем близ австрийской границы. Погибли все. Многие покончили с собой уже в Линце. Утонуть в Драве было лучше, чем вернуться в Совдепию.

Семь следующих пунктов передачи военнопленных были: Дахау, Пассау, Кемптен, Платтлинг, Бад-Айблинг, Санкт-Вейдель и Марбург. Массовые самоубийства во всех семи. В основном вешались. Иногда от советских властей прятались в местных церквях. По рассказам очевидцев-американцев, советские солдаты всякий раз вытаскивали их оттуда и, перед тем как посадить на грузовики, били дубинками.

Других бывших военнопленных перевезли в Англию и разместили в трех специальных лагерях. Затем погрузили на

английские суда и отправили на юг России в Одессу. За время плавания случились новые самоубийства.

По прибытии, рассказывают, ссаживали их три дня, вылавливая и выводя силой из самых темных и дальних углов и из трюмов судна.

Некоторых, освобожденных в день-икс в Нормандии, увезли в Штаты в лагеря Айдахо. Возвращаться не хотел почти никто. Их посадили на советские суда в Сиэтле и Портленде. Сто восемнадцать человек отказывались упорно. Упрямых отправили в лагерь Нью-Джерси до решения их участи. В конце концов их сдали также. Когда их выгоняли из бараков, пришлось применить слезоточивый газ. Многие кончили с собой и тут.

Когда два миллиона были сданы, советские солдаты и агенты МВД пошли по Европе в поисках счастливчиков-беглецов. Заодно изловили русских, прежде работавших в Германии на принудработах и теперь выдававших себя за бывших немецких солдат.

Сначала репатриантов поместили в фильтрационные лагеря на востоке Германии.

Затем провели следствие. Нашли доносчиков, состряпали обвинения. Десятки тысяч обвинялись в измене, явной или предполагаемой, за службу в немецкой армии или отказ репатриироваться. Их допросили, приговорили к смерти и расстреляли.

Остальных отправили морем или погнали пешком в Россию для доследования. Вскоре многие угодили в трудовые концлагеря в Сибирь и другие места. Из числа живых эти люди, почитай, выбыли. Аресты и казни продолжались еще годы спустя.

Были и другие истории после репатриации военнопленных, когда советская армия вошла в Восточную Европу. Многие советские солдаты дезертировали. Чаще всего они сдавались американским властям и просились остаться на Западе. Но американцы не захотели испортить отношений с Советами и сдали всех. Дезертиров комиссары расстреляли перед строем!

Сдавать беглецов перестали только летом 1947 года. Но было поздно. Американцы отбили у русских всякую охоту просить помощи.

Для Америки это стало уроком. Ни на какой компромисс в вопросе о корейских военнопленных она не пошла».

Когда война кончилась, Рудольф заговорил о коллективном переезде. Хлебом не корми, дай затеять великое переселение народов. На сей раз Хольцапфель предлагал Биарриц. Ну, это куда ни шло. Хотя проблемы с перемещением и перевозкой были

немалые. Попробуй в те трудные годы поезди с детьми, собаками, кошками, багажами. Но Рудольф решил нанять всей командой грузовик!

Прежде всего меня выслали на разведку насчет жилья. После нескольких лет вынужденного сидения, мне не свойственного, я почувствовал себя как школьник на каникулах.

В Биаррице я тотчас отправился к матушкиной подруге графине де Ла Виньянце, вдове бывшего испанского посла в России. Осанкой, манерами, шармом графиня принадлежала к прошлому, ушедшему без возврата. Ее вилла «Труа-Фонтен» оставалась центром светской жизни, но жизнь эта в Биаррице, как и везде, была уж не та.

Явившись в «Труа-Фонтен» на обед, я встретил старых знакомых – Пьера Картасака с милой умницей-остроумицей женой, внучатной племянницей императрицы Евгении, графа Баккьоки с женой, фрейлиной последней французской императрицы – императрица и скончалась у нее на руках, – и г-жу Леглиз, Муху, как звали ее близкие, большую тещину приятельницу, подолгу жившую в Биаррице. Но в те поры это был баскónский Довиль, открытый город, где французов раз-два и обчелся. А ныне удалились весны его златые дни. Мои, верно, тоже, но я о том не жалел. Потерял я свои богатства, но баба с возу – телеге легче.

Подозрительно легко нашел я нам дом для житья близ аэродрома Парм. Договорившись обо всем с хозяйкой, я вернулся в Париж, довольный, что справился с поручением скоро и просто.

Грузовик отменили. Решили, что сначала поедем мы с Ириной, а потом подъедет Рудольф с семьей. Накануне отъезда хозяйка биаррицкого дома телеграфировала, что передумала. Но нас уж было не остановить. Решили: едем, на месте уладим. На месте хозяйка повторила отказ, но предложила нам дом в Ля Негрес. Потому что Биарриц забили американцы. И берите что дают.

Вилла Лу-Прадо нам понравилась, хоть в доме было черт знает что. В столовой и вовсе – кукурузный амбар. К тому ж сам дом для нашей оравы мал. Однако устроилось. Получили письмо от Рудольфа. Писал, что передумал и едет в Америку. Ладно, выносим кукурузу и выводим моль.

С соседями в Лу-Прадо нам повезло. Следующий дом – барона Шасерьо. Особняк в палладианском вкусе и хозяин под стать – милый, изящный любитель искусств. Дружил с Франсисом Жаммом и после его смерти создал общество друзей Жамма с самим собой во главе.

Другие соседи – давний мой оксфордский товарищ Жак де Бестеги с прелестной женой Кармен, знаменитая своими искусством и хорошим тоном Габриэль Дорзиа, Мабель Армайо, вдова графа Жака д'Арканга, и Иринина подруга детства Каталина де Амезага. С ней и Мабель виделись больше всего. До ночи, а то и за полночь шарады и живые картины. Костюмы моментальны, но затейливы. В подвале, устроенном как бар, поем под гитару. Сестра Мабель вышла замуж за сестрина деверя, маркиза д'Арканга. Пьер д'Арканг и по сей день, как некогда его отец, душа биаррицких вечеров. Его жена – прекрасная певица. Голос и манера исполнения – чистейшие. Слушаешь не наслушаешься! Дом Аркангов – басконская Мекка. Кто бы ни заехал – тотчас к ним. У них повидал я редкую феерию: Сесиль Сорель, сойдя со сцены, прощалась с градом и миром.

Лето и часть осени провели мы в Лу-Прадо. Приезжали друзья отдохнуть от парижских тягот. Автомобиля не было – веселиться далеко не уедешь. Передвигались на велосипедах и на своих двоих. В конце осени вернулись в Париж готовиться к поездке, казалось, близкой, в Англию. Бесконечные формальности задержали нас до весны.

Добираться до Англии в 1946 году было трудно и неприятно. На море, как на суше, сообщение восстановилось не вполне. Дьепп – Ньюхейвен. Далее не везли. Добирались тыщу лет. Наконец, на вокзале Виктория встретили нас друзья Клейнмихели. Мерика Клейнмихель – дочь графини Карловой, работавшей с нами в первые годы ссылки в мастерских на Белгрэйве. Мерика, живая, веселая, умная, ко всему обладала редким подражательным даром. Первый муж ее, князь Борис Голицын, белый офицер, был убит на Кавказе. Оставшись вдовой с двумя детьми, она вторым браком вышла за графа Клейнмихеля. Граф был и есть и друг наш, и советчик. И он, и она, как никто, помогали Ирининой матери. Впечатление, что знал их всю жизнь. Век бы не расставаться с ними.

Вечером мы сидели уже в Хэмптон-Корте, взволнованные встречей с великой княгиней после долгих лет разлуки. Теща была здорова, но переживала за тяжелобольного Федора. Разошлись поздно ночью, не успев сказать друг друг и половины. Мать Марфа, русская монахиня, и по сей день тещина сиделка, такая ж после стольких лет любящая и верная, пришла к нам в комнату, и мы проговорили до утра.

В начале лета мы уехали. По тещиной просьбе увезли с собой Федора. Во Франции климат был ему здоровей. В Париже доктора

осмотрели его и отправили в лечебницу в По. Биарриц – недалеко. Федора можно было навещать часто.

Наконец, радость: из Рима приехала дочь с внучкой Ксенией. Ей уж было четыре года, а мы видели ее впервые. С нами в Лу-Прадо они прожили все лето.

Хочу рассказать о первой, вернее, второй встрече с графиней де Кастри. До сих пор я лишь знал ее с виду, встретив прошлой осенью в поезде по дороге в Париж. Сразу посмотрел на хорошенького черного бульдожку. Но о бульдожке забыл, поглядев на хозяйку. Одета она была оригинально, но так скромно, что непонятно, в чем, собственно, оригинальность. Понятно только, что одета на редкость хорошо. Стриженые седые волосы, лукавый взгляд и легкий раскат «р», разумеется, вызвали мой интерес. Я узнал ее имя.

На следующий год весной, вернувшись в Биарриц, я встретил свою даму с собачкой в местной «таратайке» – старом автобусе, ходившим, за неимением другого транспорта, из Биаррица в Ля Негрес. Не удержался я и погладил бульдожку. На почве собаки собачникам ничего проще подружиться.

Графиня жила по соседству. Ее имение Калаутса прежде звалось Эрмитаж-Сент-Мари. Купила она его в 1918 году и с тех пор все переделывала и украшала. Попросила у меня моего друга-архитектора Белобородова. Он-то и придумал ей чудный внутренний двор полукругом. К часовне добавили пристройку, наподобие монастырька, с келейками и внутренним двором, где и по сей день бродит призрак аббата Мюнье.

В гостиной – синие и зеленые тона в прекрасном согласии и белые муслиновые занавески на окнах. Дорогие цветы собраны в романтические букеты. У всякой комнаты – свой святой. Комнаты изысканны, но строги, как кельи. Продумана каждая мелочь.

На всем жилище отпечаток утонченной личности. И вы во власти чар ее, но притом начеку, ибо не поймешь, где у нее кончается «серьез» и начинается курьез. Она и мудра, как старец, и неуемна, как балованное дитя.

У графини познакомился я с обворожительной подругой ее, княгиней Мартой Бибеско. С первых же бесед оценил я княгинины образованность и понимание – собеседнику и полезные, и приятные. И то сказать: княгиня-то и подвигла меня писать «Воспоминания».

В Калаутсе я общался с художником Дрианом, старым другом графини де Кастри. Графиня издавна с душевным интересом следила за его творчеством. Начал Дриан с модных рисунков, но за модой никогда не гнался. Сыздетства вдохновился он соседним

замком Сен-Бенуа, где жила правнучка Людовика XV м-ль де Лозен, и образам золотого века остался верен навсегда.

* * *

Летом пришло письмо от Никиты. В конце войны он жил с семьей в Германии у графини Тоуринг, сестры герцогини Кентской. Писал, что едет в Париж. Сами мы домой еще не собирались, так что предложили Никитиной семье поселиться у нас на Пьер-Герен.

Очень зазывала нас к себе в гости Катерина Старова, жившая в Сен-Савене в Верхних Пиренеях. Уверяла, что краше места нет. Мы наконец поверили и приехали. И не пожалели. Сен-Савен – деревушка над Аржелесом в высокогорной долине. Несколько старых домиков, гостиница да церковка XII века, красивейшая, с мощами святого. Угодник скитничал здесь тринадцать лет. Ныне сюда идут на поклон. Мы тоже хотели пойти. Но Катя, бывалая верхолазка, сказала, что подъем опасен. Мы стали упрашивать, она согласилась быть проводницей. Восходили аж два часа. Наконец добрались до церковки. Стоит она на месте, где старец жил и молился. Кругом тишь-благодать...

Сходили еще дольше. Не жалели, однако, ни о чем. Напротив, так довольны были, что наняли в деревушке дом на будущее лето.

В день отъезда я заглянул еще раз в церковь, и показалось мне, что пахнет лилиями. Лилии в ту пору давно отцвели, на алтаре свежих цветов не было. Я вышел из церкви и позвал своих дам зайти подтвердить чудо. Но ни Ирина, ни Катерина ничего не почувствовали. А я чувствовал.

Глава 19

1946–1953. В Париже, в отеле «Вуймон» – Снова дело о «Кериолете» – Федору хуже. Его везут в Бретань – Пишу «Мемуары» – Ирэн де Жиронд – Возвращение в Отейль – Последние судороги светской жизни – Обретение истины

Осенью, вернувшись домой, мы застали на Пьер-Герен вавилонское столпотворение: Никита с женой и двумя детьми и наша дочь с внучкой. Вернее сказать, цыганский табор. Гриша с Денизой были еще в Биаррице, хозяйством занимались обе Ирины. Вскоре хозяйки уехали: старшая в Англию, младшая в Италию. Я встал на постой в «Вуймон» к моим дорогим делле Донне.

Почти всякий день ужинали с Робером и Мари вместе, вместе часто бывали в театре. В те дни познакомился с Жаном Маре, заходившим в «Вуймон» поужинать с нами. Он был мил и прост, что редко у звезд.

Я и думать забыл о кериолетском деле, как вдруг оно само о себе напомнило. Разбирал я матушкины бумаги и нашел большой конверт с фамилией мэтра Эмбера. Эмбер – адвокат, занимавшийся делом о Кериолете и отсоветовавший матушке отстаивать права потому-де, что за сроком давности прав уже нет. Изучив письма в конверте, я решил просмотреть материалы самого дела и отправился к Эмберу, хранившему их. Оказалось, адвокат умер несколько лет назад. Немцы, по причине его еврейства, разграбили кабинет и сожгли бумаги. Рассказываю Карганову. А Карганов говорит: матушка что-то не поняла. Постановление о сроке давности в нашем случае не имеет силы. Я – в Кемпер, поднял архивы, добыл нужную бумагу, а в Париже с помощью бывшего прабабкиного нотариуса разыскал завещание ее и опись замкового имущества.

Все документы снес я к своему нотариусу, но, когда решили мы с адвокатом мэтром Селаром заняться делом вплотную, сказали нам, что документы потеряны... И все снова-здорово! Поехали в Кемпер за копиями. Тут, как по волшебству, нашлись подлинники. Иск я вчинил, но дело, по всему, отложено в долгий ящик.

Весной 1948 года Федору стало хуже. Вызванный на консультацию врач сказал, что операция необходима, и советовал везти его в Шатобриан, в клинику д-ра Берну. Я поехал за

Федором в По, оттуда повез больного в Бретань. В клинике ему сделали три операции подряд, наконец объявили, что он будет жить. На операциях и после я оставался при нем. Я и всегда любил сидеть с больными. Откуда что берется – сразу я и терпелив, и ласков. Особенно больных нервами, говорят, успокаиваю. Пропала во мне сиделка... или... батюшка, потому что люди так и норовят мне покаяться, потому, мол, что сразу видно, что нестрогий. И почти вся моя «паства» уверяла, что я и впрямь утешил и, поди ж ты, наставлением помог.

Поправлялся Федор долго. Через несколько недель, когда уезжал я, он уж окреп, но полное выздоровление наступило только через год, весной.

Летом с Катериной мы вернулись в Сен-Савен. Тогда-то и начал я писать «Воспоминания». Сидел с утра до вечера на террасе, захваченный работой и прошлым.

Писание продолжилось в Лу-Прадо, где провели мы всю зиму. В мае Федор смог уже выезжать и приехал в Аскен. Поселился в отеле «Эчола». Мы приехали к нему погостить. Однако в тамошнем шуме машин и автобусов не поработаешь. Место живописно, но с самого утра наплыв туристов. В основном старухи англичанки, вечные лягушки-путешественницы. И в горах они, и в пустынях. Все как на подбор: с плоской грудью и бульдожьей челюстью. Гуляют с бедекером и кодаком, говорят только по-английски и сами не знают, каким ветром занесло их именно сюда.

Вернувшись в Лу-Прадо, я обрел мир и покой, необходимые для писания. Ирина помогала. Работалось с ней легче, потому что память у нее лучше. Перед тем как закончить, я поехал в Париж показать друзьям и спросить их мнения. Особенно ждал совета от м-ль Лавока, первой леди французских книготорговцев. Суждению ее доверял я на все сто. Получив одобрение от нее и прочих, стал готовить книгу к печати. Графиня де Кастри свела меня с подругой своей, Ирэн де Жиронд. Ирэн занимается переводами. Согласилась помочь.

Сперва поехал к ней в Сен-Жан-де-Люс. В приюте спокойствия, трудов и вдохновения работали мы с ней месяцы и стали единомышленниками. Очень скоро я доверился ей совершенно. Чувствовал, что можно ей сказать все, и она все поймет. Суждение Ирэн было верно, замечания справедливы. Если мы спорили, я знал, что права – она, и хоть и бесился, а радовался, что ляпов не будет. Голос ее порой напоминал матушкин.

Осенью Никита сообщил, что они с семьей уезжают жить в

Америку. Путь в Отейль, стало быть, свободен, и мы полетели восвояси.

Когда из Сен-Жан-де-Люса в Париж вернулась Ирэн, литературные труды продолжились. Ирэн регулярно приходила на Пьер-Герен, усаживалась в глубокое кресло с таксой Изабель на коленях вместо столика. А мне друзья подарили щеночка-мопса, девочку Мопси. Наши четвероногие мамзели подружились. Ирэн придет – щенячьим восторгам нет конца, и страницы рукописи разлетаются во все стороны.

* * *

Нет слов, как благодарен я друзьям за помощь их в деле, которое оказалось сложней и дольше, нежели думал я. Спасибо им: Ирине, урожденной княгине Куракиной, второй жене князя Гаврилы, г-же Блак Белер, барону Дерви, барону де Витту и Ники Каткову, ходячей энциклопедии. Ники знает все: забуду я – подскажет он. Ники же и перевел мемуары на английский. И величайшей наградой трудам моим было вспомнить прошлое и вернуть на миг чувства и лица, которых уж нет...

Как и следовало ожидать, в русской колонии далеко не все обрадовались публикации первой части «Воспоминаний». Что, однако, не помешало мне написать вторую. А жена, следя за моей работой, и вовсе грозилась написать третью под названием «О чем не сказал муж». И, верно, третья часть, сказал я жене, была бы лучшей. У Ирины дар писателя-юмориста. Она затеяла сочинить «Дневник Буля», как бы от его лица. Глазами нашего старого чудака – живой рассказ обо всех событиях. Местами умора, жаль – непереводимо!

В Париже мы опять зажили светской жизнью. Ходили по театрам и по гостям. Более всего любил я бывать у Тведов. В квартире у них – художественный вкус, роскошь и легкий запах «Герлена». Мадам Твед, известная скорее как Долли Радзивилл, тети Козочкина племянница, – хрупкая, нежная, маленькая. Маленькая, да удаленькая: покорит в два счета. Мсье Твед – славный малый, доброе дитя, небесталанный художник. Дома у них дух старой Польши.

Иной дух у Люсьена Тесье в Ля Мюэт. Хозяйкой была здесь Мари, правнучка великого князя Алексея, блондинка, тонкая, как саксонский фарфор. На женихых раутах Люсьен явно чувствовал себя не в своей тарелке. Все не мог привыкнуть к славянским разгулу, водке, икре и метрдотелю с гитарой после ужина.

Здесь же непременно леди Дайана Купер, Дриан, посол Эрве Альфан с женой, Сесиль Сорель, Маргерит Морено и прочие, друзья, художники, артисты, бомонд.

Но светская жизнь все же тяготила. Пишучи «Мемуары», я привык к уединению. Стал чураться людей – это я-то! Многих баловней судьбы повидал я на своем веку, аристократов, богачей, знаменитостей. Мог бы видеть и дальше, да охоты не стало. А что до, так сказать, умников, я и половины их речей не пойму... Чересчур умны для меня. Мне дайте людей попроще, кто живет сердцем прежде ума. А что до ума – ум сердца, по мне, и есть самый ум.

У графини де Кастри в Калаутсе я познакомился с отцом Лавалем. Под аркадами тамошней обители его белая доминиканская ряса казалась счастливой находкой архитектора... С о. Лавалем рознимся мы во всем и, однако, говорить можем о чем угодно.

Порой он удивляется, как, прожив столь порочную жизнь, уцелел я:

– И как пришел к такой несокрушимой вере?

– Да пути-то Господни неисповедимы. И что объяснять необъяснимое? Высшая мудрость – слушаться Создателя. В простой, безоглядной и нерассуждающей вере я обрел подлинное счастье: мир и равновесие душевные. А ведь я не святой угодник. И даже человек не церковный, не примерный христианин. Но знаю я, что Бог есть, и того мне довольно. Просить Его ни о чем не прошу, но что дает, за то Ему благодарен. А счастье ли, горе – все к лучшему.

Порой выйду вечером на балкон пьер-гереновского домика своего и в пригородной тишине Отейля точно слышу в дальнем парижском шуме эхо прошлого...

Увижу ль когда Россию?..

Надеяться никому не заказано. Я уж в тех годах, когда не мыслишь о будущем, если из ума не выжил. А все ж еще мечтаю о времени, которое, верно, для меня не придет и которое называю: «После изгнания».

Сентябрь 1953 г.